

Яков Владимирович СТАРОСЕЛЬСКИЙ

ПРОБЛЕМЫ ЯКОБИНСКОЙ ДИКТАТУРЫ

По изданию: Л., 1930

Веб-публикация: [Eleonore](#), [Ната Мишлетистка](#), Люсиль, Э.Пашковский, А.Алексеева, И.Стешенко

ОГЛАВЛЕНИЕ

**ТРИ ЭТАПА ДИКТАТУРЫ
ВЛАСТЬ И ВОССТАНИЕ
МАССОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ВЛАСТЬ И ПАРТИЯ
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ. ТЕРРОР
ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО ЯКОБИНИЗМА**

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ТРИ ЭТАПА ДИКТАТУРЫ

1 - Недостаточность формального подхода. Политическая организация 1793-1794 как специфическое проявление перерастания формальной демократии в материальную. 2 - Отсутствие революционной доктрины до осени 1793. Диктаторские институты, как режим военного положения. Подготовка революционной доктрины с переходом меткой буржуазии к самостоятельной политике. 3 - Экономическое содержание якобинской диктатуры и экономические возможности у мелкой буржуазии для осуществления своей положительной программы. 4 - Вантозские декреты и попытка построения эгалитарной республики. 5 - Политические выводы из вантозских декретов: признание революционной диктатуры нормальной организацией "государства свободы".

1. - Законное преобладание в марксистской историографии интереса к социально-экономическим проблемам Великой французской революции не означает, конечно, отрицания важности ее политических проблем. Предмет политической истории французской революции - это прежде всего диктатура, и это Ленин считал основным в наследстве, оставленном нам прошлыми революциями¹. У нас, однако, до сих пор проблема якобинской диктатуры ставится скорее мимоходом и решается скорее формально: мелкобуржуазные революционеры, несмотря на свойственную им формально-демократическую идеологию, действовали методами голого классового насилия; это подтверждается обильным фактическим материалом, найти который, действительно, нетрудно. Решительно все буржуазные историки от реакционеров до анархистов, сходятся на том, что по крайней мере с середины 1793 до половины 1794 во Франции существовал режим, в теории государственного права известный род именем диктатуры.² В зависимости от политических симпатий автора варьирует оценка этой диктатуры, определение ее целей и характера, ее хронологических рамок, но остается основное: существовала диктатура, то есть власть не была связана правом, что проявлялось в нарушении личных свобод и получало выражение в отсутствии разделения властей³.

Что нельзя ограничиваться такой формально юридической постановкой вопроса, показывает уже то обстоятельство, что при ней из революционной классовой диктатуры выхолащивается все ее конкретно-историческое, - т.е. как раз классовое и революционное - содержание, и революционная диктатура, трактуемая чисто негативно, по противопоставлению методам правового государства, становится трудно отличима от "военного положения" или "положения об усиленной охране", с которыми Ленин рекомендовал кадетам ее не путать⁴. В самом деле, вот, например, как наиболее близкий к нам современный историк Франции, [Альбер Матье](#), аргументировал в 1920 в речи о "Робеспьере-террористе": современная реакция поносит Робеспьера за режим общественного спасения, а между тем в августе 1793 ее военный совет, не справившись у страны, не справившись у парламента, посадил всю Францию на осадное положение; военная ситуация в 1793 складывалась еще острее, чем в 1914, - не ясно ли, что реакционеры, обвиняя Робеспьера, просто лицемерят?⁵ Ограничиваться описанием нарушения личных свобод в 1793 значит вовсе не замечать проблемы революционного правительства, т.е. классического образца специфической формы власти - революционной диктатуры мелкой буржуазии. Нет сомнения, что момент голого насилия, несвязанности законами в классовой борьбе необходимо входит в понятие диктатуры. Но - в своей формально-юридической трактовке - он не является ни единственным, ни основным признаком этого понятия. Тот режим, который с полным основанием называется материальной демократией, вполне мыслим в определенных исторических условиях со скрупулезным выполнением и всех признаков формальной демократии. Если уж Ленин считал лишение избирательных прав буржуазии не основным и даже не обязательным признаком диктатуры пролетариата¹⁰, то тем более таким признаком не может быть исторически обусловленное сокращение сферы индивидуальных прав внутри класса-диктатора

Если верно, что всякое понятие полезно рассматривать в его полном и развернутом виде, и анализировать общественные формы следует с точки зрения форм более развитых и высших по типу, - в данном случае французскую революцию и якобинскую диктатуру в свете Октябрьской революции и диктатуры пролетариата, - то стоит вспомнить, что последняя определяется признаками отнюдь не формального порядка. Можно указать четыре признака пролетарской диктатуры, одинаково не вмещающиеся в рамках формально-юридических определений. Во-первых, ее обязательно и непосредственно революционное происхождение. Как бы ни толковать знаменитую формулу Ленина о власти, не связанной законом и опирающейся на голое насилие, какой бы смысл в нее ни вкладывать, одним смыслом она обладает во всяком случае диктатура пролетариата немислима без пролетарской революции, которую она политически оформляет, ей невозможно подыскать "юридический титул" в "нормальной эволюции" буржуазного права именно потому, что невозможно мирное перерастание капитализма в коммунизм

Во-вторых, - и это является признаком диктатуры, наименее понятным для формально-мыслящих историков, - она оформляет такую революцию, которая не кончается на восстании и захвате власти, но продолжается в типично революционном переустройстве общественных отношений, в строительстве социализма. Именно это продолжение восстания в революционном строительстве и подразумевал Маркс, когда пророчил победившему пролетариату затяжной характер его диктатуры. В процессе переустройства экономических отношений пролетарское государство получает черты, резко отличающие его от всех разновидностей буржуазной демократии и не позволяющие уложить его в какие бы то ни было буржуазные государственно-правовые схемы. Овладевая основными средствами производства, становясь прежде всего орудием экономического переустройства общества, государство пролетарской диктатуры перестает быть только "политической надстройкой": сращение политики с экономикой - признак, обязательный для периода, переходного к коммунизму. Не потеряв еще аппарата внеэкономического принуждения, диктатура пролетариата не перестает быть государством, но ее жизненный нерв уже перенесен в ее экономическое содержание. Третий признак диктатуры пролетариата резко выделяет это "экономическое государство" из всех буржуазных организации государственного капитализма, порожденных империалистической эпохой, это - народная организация власти, она немислима вне массового характера политического действия. Когда Маркс указывал на сосредоточение трех властей, как на ее отличительную особенность, он подразумевал не "внутреннее" преимущество, присущее "вообще" смешению властей по сравнению с их разделением, но необходимость и закономерность смешения, когда власть осуществляют сами трудящиеся, все трудящиеся и только трудящиеся. Наконец, четвертый признак диктатуры пролетариата - это временный характер ее организации, ее "оправдание", как политического насилия, в перспективе отмирания всякого насилия. В то время, как любая государственная форма буржуазии рассчитана на вечное существование, в то время, как цель буржуазной революции (и ее политической организации) состоит в смене одной государственной формы другой, более совершенной, - смысл диктатуры пролетариата в растворении государства в обществе, что и получает ясное выражение в ряде ее формальных особенностей.

Напомнить эти характеристические черты пролетарской диктатуры полезно вовсе не для того, чтобы отыскать в 1793-1794 их формальные аналогии, а для того, чтобы продемонстрировать, что понятие классовой диктатуры не ограничивается признаком нарушения личных свобод, а заключает в себе значительно большее богатство внутренних отношений и определений.

Революционное правительство 1793-1794 не было, конечно, диктатурой пролетариата¹¹. Но оно уже не было только формальной демократией. Это была политическая форма совершенно специфического, исторически-индивидуального процесса. Всякая глубокая буржуазная революция буржуазна лишь объективно или по своим целям, но субъективно, или по своим движущим силам, это - народная революция. Историческое своеобразие Франции XVIII века создало для классической буржуазной революции ту особенность, что на одном ее этапе народ, - т.е. мелкобуржуазные трудовые массы в блоке с пролетарской и полупролетарской беднотой, - оторвавшись от своего капиталистического гегемона, попытался вести самостоятельную политику, без буржуазии и против нее. Это и есть период якобинской диктатуры, без которого Великая французская революция осталась бы не больше как эпизодом, - во всех отношениях, в том числе и в отношении политической организации. Политическая организация, созданная этим периодом, - это особая разновидность перерастания формальной демократии в материальную - на мелкобуржуазной (а не пролетарской) основе. Разновидность эта, как нетрудно будет увидеть, гибридна и порочна в основе, она таит в себе необходимость собственной гибели. Но и за короткий период своего существования якобинская диктатура создает массовое движение никогда неслыханного размаха и истинно народную организацию власти. Едва ли найдется в современной Франции сколько-нибудь добросовестный и интеллигентный историк, который стал бы отрицать, что якобинская диктатура, при всей ее вынужденной непочтительности по отношению к личным свободам, была организацией более народной, чем все, что Франция видела после нее. И тут людям, у которых только и света в глазах, что парламентская система с референдумом, очень бы стоило обратить внимание, что для этой, действительно народной акции, парламентское представительство сразу же оказалось недостаточным. Якобинская диктатура оказалась в тенденции совершенно новой формой власти, к определению которой несколько приближались, когда называли ее муниципальной революцией, и при которой парламентское представительство оставалось ненужным рудиментарным привеском. Проанализировать своеобразие этих новых форм власти в свете политической организации пролетарской революции, это - основное в проблеме якобинской диктатуры.

Что же касается до второй части этой проблемы, т.е. диктаторских методов управления, то главный интерес представляют не они сами по себе, а та политическая идеология, которая их сопровождает. Нет сомнения, что все органы “власти, не связанной законом, опирающейся на голое насилие”, в буржуазной революции возникали стихийно и долго существовали в общем мнении вне связи с революцией, как случайное явление, вызванное войной. В этом своем качестве они не могут представлять для политической истории большого интереса. Проблема якобинских методов управления - это прежде всего идеологическая проблема, проблема наличия у якобинцев революционной доктрины. Элементы ее можно заметить значительно позже диктаторских институтов, главным образом, только с переходом робеспьеристов к положительной программе эгалитаризма, и проявляют они себя в двух направлениях. Во-первых, диктаторские методы непосредственно связываются с революцией: революция осмысливается, как длительный социальный процесс, политическим оформлением которого диктатура и служит. Во-вторых, представление о диктаторских методах, как о полярной противоположности демократии, уступает место пониманию их самостоятельной ценности, как методов демократии более высокого типа: вместо подчинения критерию справедливости формальной революционное управление (и прежде всего революционная репрессия) подчинено критерию материальной справедливости, интересам трудящегося большинства. Эту эволюцию революционной идеологии можно проследить на трех этапах якобинской диктатуры.

2. - Основное классовое противоречие французской революции (движение, народное по субъекту и буржуазное по объекту) в плане политическом выражается как противоречие ее формально-демократических целей и классово-диктаторских методов. Буржуазии революция нужна для установления правового государства по типу, например, конституции 1791; но необходимой для этого предпосылкой тогда являлось радикальное устранение остатков феодализма, т.е. глубокая народная революция в виде якобинской диктатуры. Народная же (или - во Франции XVIII в. - мелкобуржуазная) диктатура необходимо оказывалась на известном этапе обращенной своим острием против самой буржуазии. Это уж во всяком случае не входило в расчет либералов XVIII века. Бесспорно, что, требуя созыва Генеральных штатов, французская буржуазия не шла на революцию в собственном смысле слова: любой компромисс с феодально-полицейским государством ей был выгоднее, чем развязывание народной стихии. На превращении Генеральных штатов в Учредительное собрание и на мятеже 14 июля проявления незаконности должны кончиться, - дальше начинается правовой порядок, то есть как раз царство законности. Дальше, впрочем, обнаружилось, что с достижением царства законности дело обстоит не так-то просто. В августе 1789 человечество было осчастливлено рождением в мир прав человека и гражданина, а в октябре 1789 родившее их Учредительное собрание вводит военный закон, по которому местные власти уполномочиваются разгонять незаконные скопища вооруженной силой и свободные французские граждане расстреливаются за неповиновение¹². Вся дальнейшая история Конституанты и Легислативы оказывается сплошным мартирологом прирожденных прав человека. К середине 1792 политическая обстановка Франции уже настолько отдаленно напоминает правовой строй, что роялистские памфлеты не без ехидства. Могут вопрошать, уж не лучше ли обстояло с прирожденными правами человека даже при трижды проклятой тирании?¹³

Впрочем, назвать политическую практику 1789-1792 режимом революционной диктатуры трудно хотя бы уж потому, что по крайней мере на три четверти она носит заведомо контрреволюционный характер. Нанося разрозненные удары отдельным участкам феодальной контрреволюции, буржуазные Национальные собрания главными скорпионами государственного насилия обрушиваются на бунтующие народные массы.

Объяснить постепенное сокращение сферы личных свобод и все растущее государственное могущество “условиями времени” Им было тем легче, что формально все чрезвычайные мероприятия создавались и осуществлялись законной властью в границах, предусмотренных конституцией. Но вот 10 августа 1792 монархия рушится, новая временная исполнительная власть назначена властью законодательной, Легислативу сменяет не обычное законодательное собрание, а избранный всеобщим голосованием для переработки конституции Конвент, и народные массы, низвергнувшие монархию, оказываются, по крайней мере в Париже, хозяином положения. С 10 августа 1792 обычно и датируется историй революционного правительства, ибо “в этот день конституция получила первый урон, Законодательное собрание присвоило себе функции исполнительной власти, которые конституция поручила королю”¹⁴. Меняет ли что-нибудь это обстоятельство в характеристике политической организации французской революции? Приход к власти избранного всеобщим голосованием Конвента знаменовал собой победу жирондистов, т.е. той части деловой буржуазии, которая менее всего была хозяйственно связана с абсолютизмом и потому до середины 1792 меньше других имела основания бояться развязывания революционной стихии. Свержение монархии было делом блока (политически очень неустойчивого и неспаянного блока) этой части буржуазии с мелкобуржуазными и ремесленными массами при гегемонии буржуазии. Этот блок формально сохраняется до самой революции 31 мая 1793, покончившей с жирондистами в Конвенте. Все обостряющаяся борьба между Жирондой и Горой, наполняющая этот период, приводит к постепенному переходу центра влияния влево, к дантонистскому крылу монтаньяров, но все равно политическая суть блока остается: революция является движением последовательно-буржуазным. Символикой этого периода с сентября 1792 до сентября 1793 остается позиция Дантона. Открыв Конвент под ауспигиями августовского восстания и сентябрьской резни, министр юстиции начинает с предложения вотировать “вечное поддержание” института собственности¹⁵.

Период политики революционных мер на буржуазной основе продолжается до самого сентября 1793 и даже изгнание жирондистов 31 мая - 2 июня не вносит в него принципиальных изменений: смысл революции 31 мая для монтаньяров заключался в том, чтобы, разделавшись с политической головкой буржуазии, продолжать при мелкобуржуазном руководстве политику буржуазии¹⁶, - и характерно, что в политических учреждениях революции этот переворот не нашел почти никакого отражения (если не считать перехода руководства в Комитете общественного спасения от дантонистов кробеспьеристам 10 июля 1793). В течение этого периода под давлением экономических и военных нужд была создана главная масса диктаторских институтов, и к 10 октября 1793, к моменту провозглашения правительства Франции “временным революционным вплоть до мира”, государственная машина якобинской диктатуры в основных чертах была уже готова. Однако в течение всего этого периода не только участвовавшим в ее создании членам правой и болота, но и постоянно форсировавшим ее создание левым монтаньярам ни разу и в голову не приходило, что эта организация народной диктатуры может иметь больше, чем временное и чрезвычайное значение. В июле 1793 монтаньяры убедительно это доказали, создав конституцию, не менее безупречную по части формального демократизма, чем был жирондистский проект.

Если поставить вопрос о революционной доктрине в течение этого периода, то, пожалуй окажется, что она отсутствовала в еще большей степени, чем это на первый взгляд может показаться. Именно тяжелая обстановка на восточных фронтах и идея патриотизма, сопутствующая во французской революции демократической идее, приводили к тенденции сваливать всю вину за диктаторский режим на внешнюю войну, уже вовсе без учета социальных отношений внутри страны. Хроника военных событий давала для этого видимое основание. В июле 1792 наступает коалиция, сдался Лонгви, - в августе летит трон, в сентябре режут заключенных и отправляют в провинцию комиссаров, в октябре рождается Комитет общей безопасности и в январе Главный комитет обороны (Comite de defense generale); в марте французскую армию вытесняют из Бельгии и Голландии, - тогда же учреждается революционный трибунал и наблюдательные или революционные комитеты; в апреле изменяет Дюмуре, - появляется Комитет общественного спасения; наконец, к осени 1793 две трети территории республики оказываются наводнены врагами, разрастается роялистский бунт на западе, весь юг в федералистском пожаре, Тулон передан англичанам, - следуют террористические меры сентября, революционная армия, закон о подозрительных и так далее до победы при Флерюсе в июне 1794, когда - по утверждению либеральных историков, воспринявших это “военное” самоутешение людей революции - террор уже не находил основания в нуждах национальной обороны, почему и произошел Термидор¹⁷.

Нас здесь не интересует, насколько соответствовала действительности эта военная теория диктатуры; важно отметить, что в течение всего первого периода революционного правительства, с августа 1792 до сентября 1793, только эта теория и обосновывала практику диктатуры. В это же время появляется и “теория учредительной власти”, о которой робко заикаются, когда приходится доказывать не только необходимость, но и законность предлагаемых органов диктатуры. Увы, едва ли не первым (по крайней мере в Конвенте) заговорил об этой теории не кто иной, как Камбасерес: это он в прениях 10 марта 1793 об исполнительном комитете и чрезвычайном трибунале сказал, что “все власти вручены Конвенту и Конвент должен осуществлять все; не должно быть (впредь до конституции) никакого разделения между законодательным корпусом и исполнительным”¹⁸, и т.п. И интересно, что настоящие революционеры относились к подобного рода рассуждениям достаточно прохладно. Марат, например, в прениях в апреле 1793 о Комитете общественного спасения отводил всякие разговоры на юридические темы: “Я не стану исследовать это учреждение в отношении политических и конституционных принципов, - говорил он, - это отнюдь не конституционная власть, это власть временная, предназначенная для того, чтобы организовать национальную оборону и обрушить ее на врагов”¹⁹. Во всяком случае, эта военная теория диктатуры, даже подкрепленная ссылкой на учредительство, представляющейся Альберу Матье чуть ли не революционной доктриной, к революционной доктрине имеет отношение не больше, чем юридическая теория чрезвычайного положения к социологической теории революции.

Второй период истории революционного правительства начинается днем 5 сентября 1793, когда под давлением парижской коммуны и якобинского клуба Гора принуждена признать политику блока с буржуазией дискредитированной и стать на путь чисто-народной (мелкобуржуазной) революции. Этот период характеризуется двумя моментами. Во-первых, правящая партия, пытающаяся представить обеспеченные слои трудовой мелкой буржуазии (деревенской по преимуществу), став на путь блока с городской беднотой, окончательно должна признать, что вести “народную” политику, свободную от влияния буржуазии, означает вести политику против буржуазии. Речь Шомета в Конвенте 5 сентября, требование революционных мер выводит из утверждения, что “новые сеньоры, не менее жестокие, жадные и наглые, чем прежние, возникли на обломках феодализма; они заарендовали или скупили имущества их бывших хозяев и продолжают... спекулировать на общественной нищете”, - необходимо “разделить их от нас барьером вечности”²⁰; рассуждение Сен-Жюста 10 октября 1793 о необходимости объявления правительства революционным базируется на том, что “богачи еще больше разбогатели после такс” и что только после того, как Конвент “подрубит корень зла и лишит богатств врагов народа, они перестанут вступать с ним в соперничество”²¹.

Во-вторых, переход мелкой буржуазии к самостоятельной политике знаменуется быстрым расцветом террористического режима и завершением организации диктатуры. Под давлением городской бедноты мелкобуржуазная фракция Конвента проводит 5 сентября декреты об организации революционной армии, о превращении наблюдательных комитетов в официальные органы власти и о расширении трибунала; 17 сентября проходит закон о подозрительных, освобождающий революцию от последних правовых форм в

подавлении классовых врагов; 29 сентября городская беднота в экономической области одерживает решительную победу над своим деревенским союзником, заставив Гору вотировать закон от общем максимуме; 10 октября правительство объявляется революционным вплоть до мира и 4 декабря революционная власть получает “временную конституцию” (закон 14 фримера), которая приканчивает заодно последние остатки буржуазной децентрализации в государственной машине революции. Дальнейшее завершение здания якобинской диктатуры в течение семи месяцев 1794 года уже не представляет, особенно после ликвидации эбертистов и дантонистов, никакой трудности, и не вносит в нее ничего существенно нового; даже закон²² прериала о врагах народа не является принципиальным изменением методов классовой борьбы по сравнению с законом о подозрительных.

И все же в течение всего этого второго периода революционного правительства - до марта 1794 - обнаружить революционную доктрину едва ли возможно. Единственным дополнением, - правда, серьезным, - к прежней теории военного положения оказывается официально высказанное убеждение в необходимости и закономерности революции для установления конституции; непреходящую ценность самой конституции никто еще под сомнение не ставит. В докладе 10 октября Сен-Жюст настаивает только на том, что “при обстоятельствах, в которых республика находится, не может быть введена конституция: ее разрушили бы посредством ее самой; она превратилась бы в гарантию для посягательств на свободу, потому что ей недоставало бы насильственных средств, чтобы их подавлять”. И, наоборот, насильственные меры необходимы для ее установления. “Республика будет основана только тогда, когда воля суверена (т.е. народа) подавит монархическое меньшинство и воцарится над ним по праву победы... Свобода должна победить какой бы ни было ценой”²². В знаменитом докладе Робеспьера 25 декабря 1793 “о принципах революционного правительства”, в котором у нас иногда склонны видеть чуть не законченную теорию революционной классовой диктатуры, на самом деле фигурирует только запоздалое признание, что революция и ее учреждения явились для самих революционеров полной неожиданностью, что теории революционного правительства нигде не существовало и что заключается она в одном положении: революционное правительство так же законно, как правительство конституционное, потому что второе невозможно без первого. “Конституционный корабль построен не для того, чтобы всегда оставаться в верфи; но следует ли спускать его в море во время бури и противных ветров?” Пока что положение остается ненормальным: революционное правительство “должно приближаться к обычным принципам во всех случаях, когда они могут строго соблюдаться, не вредя общественной свободе”²³. Только и всего.

Нельзя оспаривать важности этого утверждения законности и необходимости революционного правительства в октябре-декабре 1793, особенно, если вспомнить, что еще в июле 1793 (в период резкого поправения монтаньяров и их стремление как можно скорее “завершить революцию”) Сен-Жюст называл контр-революционерами излишне горячих сторонников революционных мер. “Те, кто во время революций хотят задержать временное или анархическое (!) правительство, - говорил он в докладе 19 июля о судьбе арестованных жирондистов, - те незаметно готовят возвращение тирании; ибо, поскольку это временное правительство может держаться только зажимом (compression) народа, а не гармонией (!), общество в конце концов оказывается угнетенным; поскольку отсутствуют формы правительства устойчивого и покоящегося на законах, все вырождается” и т.д.²⁴ По сравнению с такими воззрениями, конечно, теория необходимости (законности) режима диктатуры представляет большой прогресс. Но до революционной доктрины ей настолько далеко, что приходится скорее удивляться, как почитатели Плутарха не смогли до нее додуматься раньше. В апреле 1794 Сен-Жюст уже вскользь замечал, что всем нациям, обвиняющим французский народ в склонности к анархии, следовало бы только вспомнить, каким путем достигли они сами конституционного режима, чтобы убедиться, что период “анархии” для этого необходим, а значит и законен.²⁵

Значение второго периода истории революционного правительства заключается не столько в самих его учреждениях и идеологии, сколько в подготовке элементов того сдвига, которым характеризуется третий и последний период якобинской диктатуры - с марта по июль 1794. Дело в том, что в политической истории якобинской диктатуры интерес представляет не только процесс изживания буржуазными революционерами формально-демократической идеологии, но и процесс перерастания этой идеологии в новое качество. Развернув все свои возможности, формальная демократия всегда требует своего продолжения в демократии материальной, которая - в разных своих выражениях - не стесняется обнаружения своей сущности, как классовой диктатуры. В течение XVIII и первой четверти XIX века перерастание формальной демократии в материальную получало мелкобуржуазное выражение его создавал процесс отдифференцирования политики и идеологии мелкой буржуазии от политики и идеологии буржуазной в собственном смысле. Одна и та же классовая канва обнаруживается под отличиями политического учения Руссо от энциклопедистов, политического учения Фихте от всех других представителей немецкого классического идеализма, - и под отличиями политики робеспьеристов от жирондистов и дантонистов. Отправляясь от одних и тех же посылок, оперируя совершенно тем же методом политического мышления, революционеры мелкой буржуазии приходят к существенно новым выводам, - лишь дальнейшим развитием тех же принципов.

Нет ничего характернее различий в понимании собственности между юристами Конституанты, жирондистами, дантонистами, с одной стороны, и Робеспьером, с другой. Для Робеспьера, как и для его противников, собственность священна и является необходимой основой общежития. Но в то время, как Декларация прав 1789 ее относит к естественным, не подведомственным государственному вмешательству, правам человека, в Декларации 1793 она относится к правам гражданским, т.е. социальным. В то время, как еще жирондистский проект Кондорсе в дефинициях собственности занимается только ограждением ее суверенитета, в проекте Робеспьера получившем 21 апреля 1793 одобрение якобинского клуба, “право собственности ограничено, как и все другие права”, оно “не должно причинять вреда ни свободе, ни существованию наших ближних” и “всякое владение, всякий доход, который нарушает этот принцип, в корне

незаконны и безнравственны”.²⁶ По мнению самого Кондорсе достоинство его проекта заключается в том, что развернув формальную демократию до отказа, он лишился всякой классовой окраски: “конституция Англии создана для богачей, конституция Америки для зажиточных граждан, французская конституция должна быть конституцией для всех людей”.²⁷ Именно это мнимое достоинство кажется Робеспьеру основным пороком жирондистского проекта: “Вы умножили статьи, обеспечивающие наибольшую свободу собственности, - говорит он в Конвенте 24 апреля 1793, - и не сказали ничего для определения ее природы и законных пределов; таким образом, что ваша декларация кажется созданной не для людей, а для богачей, для скупщиков, спекулянтов и тиранов”.²⁸ О свободе обращения у Кондорсе можно вычитать только, что никакой род торговли не может быть запрещен, “можно производить, продавать и перевозить любой род продукции”.²⁹ Робеспьер, бывший и оставшийся таким же фритредером и противником максимума, как и Кондорсе, возражает только против “ничем неограниченной” свободы торговли: “Свобода торговли, - утверждает он еще 2 декабря 1792, - необходима до того пункта, когда человекоубийственная жадность начинает ею злоупотреблять”.³⁰ Далее излагается та теория собственности, которая и основывает все отличие мелкобуржуазного, революционно-демократического течения политической мысли XVIII века от либерального, капиталистического: абстрактное право человеческой личности, состоящее в утверждении неограниченной свободы от государственного вмешательства, она заменяет “правом на существование”, требующим благодетельного вмешательства демократического государства. Теория “права на существование” которая русскими либералами выставлялась в XX веке, как решительное новшество, изложена в этой речи Робеспьера с исчерпывающей полнотой и ясностью. Цель общества - в обеспечении изначальных прав человека, первое из этих прав - право на существование. “Поэтому первым социальным законом является тот, который гарантирует всем членам общества средства существования. Собственность устанавливается и гарантируется только для укрепления этого закона. Неверно, что собственность может быть когда-нибудь противоположна существованию людей”. Отсюда следует, что “все необходимое для сохранения жизни является общей собственностью всего общества. Только излишки могут быть индивидуальной собственностью”. И поэтому основная проблема законодательства следующая: “обеспечить всем членам общества обладание той частью продуктов, которая необходима для их существования”.³¹ Это исходный пункт той политики эгалитаризма, к которой робеспьеристы попытались перейти с весны 1794. В приведенной обрисовке теория “права на существование” приводит к тому, что общественная помощь неимущим, в жирондистском проекте упомянутая вскользь, как дело благотворительности, в конституции 1793 объявляется “священным долгом. Общество обязано пропитанием обездоленным гражданам”.³² Отсюда же требование прогрессивного налога на богатых³³, требование уравнивания возможностей существования путем всеобщего обучения за счет богачей³⁴, и отсюда же утверждение права государственного вмешательства в отношения собственности.

Начинается оно со скромного соображения, что “дело идет больше о том, чтобы сделать бедность уважаемой, чем о проскрипции богатства”³⁵; потом выясняется, что уважаемой бедность может сделаться только при некотором нажиме на богатства. В декабре 1792 нажим представляется достаточным только в виде государственного вмешательства в хлебную торговлю, - иначе дело могло бы обстоять, только “если б все богачи, послушные голосу разума и природы, рассматривали бы себя как экономов общества или как братьев бедняка”.³⁶ Но полгода парламентской борьбы с Жирондой очень поспособствовали развитию классового самосознания мелкой буржуазии, и в заметках Робеспьера, которые Бюше считает “написанными несколько дней спустя 31 мая”, уже можно прочесть, что, вообще, “внутренние опасности происходят от буржуазии”, что народ будет просвещен, когда “интересы богачей совпадут с интересами народа”, и что такое совпадение не произойдет “никогда”.³⁷ Отсюда прямая дорога до признания, что “мирная революция воспитанием”, которую Робеспьер в том же июле пытался представить достаточным средством для устранения бедности,³⁸ для этого недостаточна, и революцию придется делать всерьез “революция привела нас к признанию того принципа, что всякий, проявивший себя врагом своей страны не может там быть собственником”, “собственность патриотов священна, но имущества заговорщиков, существуют для всех обездоленных”.³⁹ Другими словами от мелкобуржуазной теории собственности оказалась прямая дорога к политике вантозских декретов и к зачаткам мелкобуржуазной теории революционной классовой диктатуры.

Здесь стоит отметить, что в политической доктрине XVIII века имел место совершенно аналогичный процесс. **Жан-Жак Руссо**, типичный представитель мелкой буржуазии в среде собственно-буржуазного просвещения, отправляясь от тех же индивидуалистических посылок, что и все просвещение, приходил к крайне эгалитаристским выводам. Притом, однако, его всемогущее государство не только не совпадало с хорошо знакомой XVIII веку практикой политического абсолютизма, но явно находилось с ней в большей противоположности, чем пропагандировавшееся просвещением правовое государство, - вот парадокс, до сих пор бесплодно тревожащий умы буржуазных юристов! В свете марксистского анализа идеальное государство общей воли Руссо дешифруется, как одноклассовое общество мелких собственников, предполагающее предварительное устранение полярных капиталистических классов и максимально уравнившую частную собственность. Политическая надстройка носит явно выраженный классовый характер: это власть мелкой буржуазии, сохраняющей сильное руководство для постоянного пресечения ростков капиталистического разложения. Для этого интересы каждого отдельного собственника постоянно приносятся в жертву интересам всего класса собственников в целом, т.е. действия власти не подчинены закону неотчуждаемых личных прав. Несмотря на это, по утверждению Руссо, такое состояние является единственно возможным в общественной жизни государством настоящей свободы, которая, правда, оказывается “ношей не для слабых плеч”.⁴⁰ Как известно, теория Руссо, и именно в ее боевом противопоставлении рационалистической и атеистической струе философии XVIII века, стала евангелием революции в 1793 году. Все-таки не может быть и речи о прямом заимствовании в политике весны 1794. К идее построения эгалитарной республики

робеспьеристы пришли самостоятельно, под влиянием собственного политического опыта и независимо от всяких доктринальных влияний. Уже в течение первого периода революционного правительства (в частности декретами 10 июня и 17 июля о разделе общинной земли и уничтожении феодальных прав) революционная мелкая буржуазия, собственно, закончила выполнение отрицательной части своей программы или программу собственно буржуазную. На очередь стал вопрос о переходе к положительной части,⁴¹ и разрыв политического блока с буржуазией в сентябре 1793 мог только стимулировать постановку этого вопроса. Аморфный класс, в значительной степени еще не ставший классом для себя, - а такой и оставалась мелкая буржуазия всего этого времени, - может довольно долго вести революцию, не задаваясь вопросом о своей положительной программе. Конец 1793 прошел в напряженной работе по организации обороны, но он же создал предпосылку для политики эгалитаризма с марта 1794. Речь идет об "открытых" Альбером Матье вантозских декретах, по поводу которых он справедливо выражает свое "удивление, что законы такой важности не привлекли внимание историков революции".⁴²

3. - Здесь необходимо предварительно некоторое отступление. Для того, чтобы уяснить, что означал для мелкобуржуазной революции переход к положительной программе, надо ясно представить себе экономическую природу якобинской диктатуры и те возможности, которые она имела для творческого революционного вмешательства в социальные отношения. Если идеология якобинцев оформила это вмешательство в вантозские декреты, то непосредственно определила его экономическая необходимость. Одним из основных противоречий мелкобуржуазной диктатуры был тот факт, что чем дольше она существовала, тем больше соотношение классовых сил в стране изменялось не в пользу правящего класса. Для того, чтобы сохранить господство народа, явно требовалось активное вмешательство народного государства в экономические отношения. Государство, как будто, уже с 1789 обладало достаточными данными для такого вмешательства. Тут якобинская диктатура оказалась наследницей двух буржуазных легислатур, которые сразу должны были превратить государство в собственника огромной доли национального богатства, проводя "освободительную", т.е. антифеодальную, политику.

Учреждение политических свобод предварительно предполагало, в самом деле, не только освобождение крестьянских земель от феодальных повинностей, но - и это главным образом - "освобождение" огромной массы неотчуждаемых корпоративных земель. Это означало, что в собственность новорожденной нации немедленно попадали королевские земли, церковные земли, а потом и значительная часть дворянских поместий, принадлежавших эмигрантам. Национализированным оказывается огромный земельный фонд, едва ли не больше четверти всей территории Франции. Недвижимость одной только церкви составляла пятую часть этой территории и приносила "по крайней мере" 130 миллионов дохода ежегодно, - столько, сколько и упраздненная церковная десятина, - неудивительно, что уже в 1790 государство "располагало значительной частью французских земельных владений, ценность которых достигала трех миллиардов ливров".⁴³

Несмотря на распродажи, начавшиеся уже с декабря 1789, к середине 1793 этот фонд, непрерывно пополняемый эмигрантскими землями, едва ли заметно уменьшился. И все-таки в руках якобинской мелкой буржуазии он не только не стал орудием для укрепления демократии, но скорее превратился в фермент ее разложения.

Для буржуазии Учредительного собрания национализация неотчуждаемых земель означала их "освобождение", то есть, "благодетельное увеличение числа земельных собственников", что к стати способствовало и упорядочению финансов, устранению дефицита, укреплению государственного кредита. Над политикой распоряжения земельным фондом фискальные нужды господствовали постоянно. Мелкая буржуазия периода якобинской диктатуры, распоряжаясь национальными имуществами, до самой весны 1794 не могла выйти из круга той же необходимости и тех же представлений о их возможном использовании. Более того, если влияние мелкой буржуазии сказывается на ряде декретов, устанавливающих большую дробность распродаваемых участков и облегчение условий оплаты, то, с другой стороны, настолько выросли фискальные нужды государства, ведущего войну в страдающего от инфляции, что та же мелкая буржуазия, стоящая у власти, принуждена предоставить всякие выгоды рыцарям капиталистического накопления, только бы скорее реализовать находящиеся в ее руках ценности.⁴⁴ Быстрейшая распродажа национальных имуществ необходима якобинцам для борьбы с инфляцией; но пока что инфляция облегчает посредством распродаж невероятно быстрый рост новой контрреволюции - спекулятивной и ретроградной капиталистической буржуазии. Можно прямо сказать, что "буржуазия, едва не ликвидированная во II году, на инфляции основала свое могущество", потому что "посредством инфляции она скупила почти за бесценок церковные и эмигрантские земли".⁴⁵

До сих пор еще невозможно точно определить, какая часть национальных имуществ попала в руки крестьянства и какая - в руки буржуазии. Во всяком случае установлено, что в течение революции буржуазия скупала землю "очень часто столько же и даже больше, чем крестьяне", что ей попали "наиболее значительные национальные домены" и что этим было предопределено "превращение буржуазии в бесспорную владычицу Франции".⁴⁶ Да и среди крестьян такое разрешение земельного вопроса революцией не могло пойти на пользу революции: она сама отрывала от себя крестьянские интересы, "увеличивая число мелких и средних крестьян-собственников, - класса всегда консервативного уже по своей природе".⁴⁷

От экспроприации земельной собственности привилегированных народная диктатура осталась только в накладе. Буржуазное разрешение земельного вопроса не могло не пойти во вред мелкой буржуазии. Если в период Конституанты и выдвигались проекты превратить часть земельного фонда в средство обеспечения неимущих, то никакого результата они не могли иметь уже потому, что оставались домыслами чистой филантропии.⁴⁸ Если во времена Конвента и существовала "еще малоизвестная, но довольно сплоченная и активная группа", которая подумывала о том, чтобы "подготовить конфискацию земли в собственность нации", то сама малоизвестность этой группы (эбертиста Моморо) почти лишает ее исторического интереса.⁴⁹

Земельный фонд не только не сделался в руках якобинцев орудием “социальной революции”, но скорее стал средством ускорения контрреволюции. Если где якобинская диктатура и доходила до необходимости “социальной революции” и находила для нее возможности, так это в своей продовольственной политике. Политике максимума и реквизиции суждено было стать для истории синонимом революционного правительства 1793-94, и притом с полным основанием. Нужно только отметить, что в преднамеренные планы якобинцев государственное вмешательство в процессы народного хозяйства входило еще меньше, чем режим политической диктатуры. Экономическая проблема для них довольно долго ограничивалась финансовой и даже фискальной проблемой - проблемой устранения инфляции. Инфляцию, в основном порождавшую продовольственные бедствия, монтаньяры думали изжить как раз наименее “чрезвычайными” мерами изъятием из обращения ассигнатов и общим “оздоровлением” торговли возможно более либеральными путями.⁵⁰ Но потребительские массы, главным образом городская беднота, страдавшие от инфляции и помнившие, как старый режим боролся с дороговизной, требовали других мер, которые теперь принимали характер классовой революционной политики принудительного курса ассигнатов, запрещения торговли монетой, запрещения вывоза и максимальной таксации предметов потребления.

Монтаньяры никогда не верили в спасительность подобных мер, здесь они стояли едва ли не ближе к жирондистам, чем к бешеным, но политиками они были более тонкими, чем жирондисты, и, когда дело доходило до крайности, уступали массам, используя их против своего партийного врага. После замечательного исследования Альбера Матье о дороговизне и социальном движении при терроре не трудно проследить этот процесс превращения якобинской диктатуры в систему “государственного коммунизма” под влиянием продовольственной нужды и под давлением народных масс.

Еще жирондистская власть в период первого военного кризиса принуждена была декретами 9 и 16 сентября 1792 вступить на путь частичной регламентации хлебной торговли и реквизиций рабочей силы местными властями “для молотбы зерна и обработки земель”.⁵¹ При первой же возможности (в декабре, после Жемаппа) жирондисты, с полного согласия монтаньяров, забрали назад эти законы, оказавшиеся, действительно, совершенно недостаточными в силу самой своей половинчатости. В 1793 год Франция вступала снова, как страна чистого фритредерства, и сразу же началась упорная и непрерывная борьба масс против такого положения. Эта борьба по внешности не вышла из рамок конституционности, она ограничивалась, как будто, мирным давлением на власть посредством петиций, депутатий и адресов. Но депутатии часто готовы были превратиться в мятеж, петиции постоянно подкреплялись угрозой восстания, жирондистов едва ли не главным образом их сопротивление требованиям максимума привело к падению, и сами монтаньяры, даже эбертисты, в сентябре оказались уцелевшими только потому, что “согласились стать выразителями требований секционных вожаков”.⁵²

Так, еще жирондистский Конвент упираясь и лавируя, был принужден 11 апреля 1793 осуществить половину программы бешеных, запретив под страхом каторги торговлю звонкой монетой, и 4 мая - после трех повторных угроз восстанием и явного блока Горы с **Шометом** и **бешеными** - вотирует максимальные таксы на зерно. После ликвидации Жиронды монтаньяры с удовольствием отменили бы эту уступку левым попутчикам, но развитие гражданской войны все больше связывало их судьбу с теми социальными группами, для которых и закона 4 мая было недостаточно. Оторвав Шомета от бешеных и ликвидировав **Жака Ру**, робеспьеристы силою событий все дальше увлекались по его пути. Децентрализованная таксация, устанавливаемая департаментскими властями по закону 4 мая, должна быть постановлением 27 июня заменена общенациональным максимумом, притом же распространяемым на все предметы первой необходимости. Постановление это, правда, погрешают в комиссиях, и монтаньярское руководство Конвента даже думает, как будто, снова увильнуть с пути регламентации декреты: 1 и 5 июля разрешают местным властям и военным заготовителям закупать продукты у частных лиц, а не на рынках. Но в конце июля Париж, лишенный снабжения из Вандеи, испытывает новую волну голода и 27 июля Конвент вотирует закон о спекуляции (sur l'assaragement) Теперь все владельцы товаров обязаны представлять муниципальным властям списки имеющихся у них предметов первой необходимости, обширный перечень которых приведен в законе и за утайку которых закон грозит смертной казнью. Товары эти, правда, еще не подлежат таксации, но зато закон учреждает “Комиссаров по делам о спекуляции”, которые приобретут скоро такую громкую славу, и предусматривает переход управления продажами в руки этих муниципальных агентов в случае отказа владельца: закон “был уже фактически крупным шагом по направлению к системе бешеных, торговой тайны больше не существует”.⁵³

Теперь уже речи нет о возможности отмены закона 4 мая Военные опасности августа 1793 выдвигают необходимость снания развития реквизиционной системы по частным поводам, - власти боятся восстания в голодающих городах, особенно в столице, - а потом распространения твердых цен с зерна на топливо и на фураж. Наконец, вместе с объявлением “под реквизицией” всех французов (т.е. вместе с введением всеобщей воинской повинности), 23 августа учреждаются государственные зернохранилища и вводится натуральный налог, а 11 сентября объявляется под реквизицией весь урожай. Теперь закон об общем максимуме будет не только вполне логичен, но и реально осуществим. Он решается парижскими событиями 3-5 сентября, которые показали робеспьеристам, что при дальнейших оттяжках им грозит изоляция: буржуазия, как возможный союзник, все равно потеряна, а городская беднота теперь возглавлена эбертистами, которые стоят за общий максимум. Выхода уже не было. Поскольку от системы такс и реквизиции нельзя было отказаться в отношении к продуктам сельского хозяйства, приходилось идти и на общий максимум: его требовали не только городские потребители, но и “часть крестьянского класса”, которая “считала его компенсацией и коррективом”.⁵⁴

В заседании Конвента 5 сентября решена наконец организация продотрядов - санкюлотской "революционной армии" - и обещано введение в течение недели твердых цен на все продукты первой необходимости. Это обещание исполнено только 29 сентября, после новой попытки монтаньяров избежать общего максимума, укрывшись за карательным законом 17 сентября (о подозрительных), который по их уверениям "окажется действительней всех экономических законов", и после новой энергичной интервенции парижских секции. Законом 29 сентября устанавливается максимум на большинство предметов первой необходимости, исходя из средней их расценки в 1790 с надбавкой одной трети, для заработной платы надбавка к 1790 установлена в 50%.

Новый закон сразу же породил результаты, которых естественно было ожидать: массовые случаи попыток со стороны предпринимателей закрытия лавок и фабрик со ссылкой на отсутствие товаров, отказы крестьян сдавать зерно, отказы местной администрации выпускать из рук продукцию своего района, отказы от продолжения работ со стороны городских и сельскохозяйственных рабочих и, наконец, страшнейший разноречивой в экономической политике всевластных комиссаров Конвента на местах. Политика максимума теперь требовала дальнейшего проникновения государственного вмешательства в народное хозяйство и дальнейшей централизации аппарата "экономической диктатуры". В течение октября-ноября в столице, а потом и в других городах, вводится карточная система и частная торговля попадает под постоянный контроль революционных комитетов. Декретами 22-27 октября учреждается при Комитете общественного спасения Продовольственная комиссия, постепенно сосредоточившая в своих руках экономическую диктатуру центра, и через полтора месяца, по "временной конституции" 14 фримера (закон 4 декабря) комиссары Конвента окончательно превращаются в простых "агентов Комитета общественного спасения на местах".

В течение двух последних месяцев 1793 Комитет общественного спасения проделывает громадную работу, завершающую процесс государственной организации снабжения страны. Закон 29 сентября реорганизуется в сторону централизации посредством составления общей таблицы цен всех продуктов на местах их производства, - огромной работы, подготовленной к февралю 1794 Продовольственной комиссией и представлявшей "настоящий словарь всего сельскохозяйственного и промышленного производства Франции".⁵⁵ Теперь цены продуктов не будут зависеть от "мягкости местных властей, от неустойчивости их принципов или даже от их злонамеренности", как полагает Барер, докладывая 1 ноября 1793 проект этой реформы. Теперь цены будут справедливо пропорциональны для всех товаров на территории всей республики, они получают разумные накидки на транспорт, и розничный торговец не окажется обездоленным рядом с оптовиком. Теперь Продовольственная комиссия, обладающая контролем над всей внешней торговлей, правом реквизиции и даже конфискации, преимущественным правом закупок и властью распределять продукцию по своей воле по всем департаментам согласно местным нуждам, оказывается, как утверждает там же Барер, органом, "с помощью которого республика становится временным собственником всего, что произвели и принесли на территорию Франции торговля, промышленность и земледелие".⁵⁶

Разве это утверждение было, в самом деле, не верно? Разве не к тому привела на практике навязанная монтаньярам политика реквизиций и такс? Надо ли было быть охранительно-настроенным немецким профессором, чтобы через полвека обнаружить, куда вела якобинскую диктатуру эта продовольственная политика! "Так один вид насилия вызывал другие, - писал Зибель в 40-х годах; - государство стояло на пути превращения в единственного земледельца, в единственного торговца и единственного промышленника страны, оно готово было взять на себя все труды и заботы гражданского общества и наделять ежедневной порцией хлеба бездеятельные и обнищавшие массы. Так развивалась в своем ежедневном применении система реквизиций, которая имела предпосылкой понимание государства, как верховного собственника всех ценностей".⁵⁷ И в самом деле, фактически (или по крайней мере в потенции) ведь уже законы 27 июля и 29 сентября 1793 означали, что, по выражению Матье, "все земледельческие, промышленные и торговые богатства Франции находятся в распоряжении властей".⁵⁸ После этого, декрет 24 ноября отменил еще неприкосновенность "семейного хлебного запаса" на год, позволявшего реквизировать у земледельца только излишек урожая, что Продовольственная комиссия тотчас же разъяснила, как "превращение в общую собственность всех продовольственных запасов республики".⁵⁹ После этого еще декретами 12 февраля и 16 апреля 1794 право реквизиции и конфискации сохранялось исключительно за центром, так что "все сводилось теперь к Продовольственной комиссии".⁶⁰ Так же дело обстояло и с распределением продукции. Фактически "муниципалитеты и революционные комитеты стали обширными службами снабжения" и, как выражается Лефевр, "никогда хлебная торговля не была так близка к превращению в государственную монополию".⁶¹

Независимо от желания мелкобуржуазных революционеров их государство в результате забот по снабжению оказалось потенциальным обладателем чуть не всего хозяйства страны. Какая превосходная возможность для активного воздействия на социальные отношения.⁶² Неужели ни разу так и не пришло в голову ни одному современнику использовать это экономическое могущество народного государства для изменения соотношения классовых сил в пользу народа? Политика максимума явно упиралась в необходимость обобществления средств производства и сами якобинцы не могли этого не замечать. Социалистическим историкам французской революции было нетрудно обнаружить множество подобных тенденций у якобинцев, на это стоило только обратить внимание, а ведь проблема пролетарской революции с самого же начала рабочего движения ставилась, как проблема национализации производства. Проявления регламентации с самого начала означали "в зародыше всю ту классовую политику, которую с течением времени все сильнее будут навязывать Конвенту" и решающие события сентября 1793 явно для всех означали, что "отныне революция готовится к грандиозному сражению против всего имущего класса".⁶³ Целью сражения, как будто естественно, было лишение имущего класса его имуществ и переход их в руки победителя - революции, т.е. нации. Через два года бабувисты будут уже вполне уверены, что "максимум, конфискации, Продовольственная комиссия были первым актом перехода всех имуществ во владение государства" для последующей их организации на началах фактического равенства.

Продовольственная политика 1793 должна была представиться как бы конкретизацией их идеалов для тех довольно многочисленных интеллигентов, которые конечное завершение системы естественного права видели в коммунизме по “Кодексу природы” Дидро-Морелли. Вот одно из таких высказываний, недавно опубликованное Альбером Матье. Безвестный замдепутат Конвента Жак Гренюс пишет друзьям-доверителям в ноябре 1793 “Я думаю, что принципы максимума ведут нас к коммунизму (a la communaute), который является, быть может, единственным средством сохранения республиканизма, потому что он разрушает индивидуалистические притязания, постоянно борющиеся против равенства. Вы увидите: чтобы установить максимум, понадобится установить национальные хранилища для приема излишков потребления и национальные фабрики для равного распределения продукции, и таким образом косвенно достигают коммуны, куда каждый несет продукты своего производства, чтобы поделить их между всеми. Это вам покажется философическим педанством (vous paraitra tres systematiquement philosophique); но посмотрите, какое могущество приобретает республика, объединяя в себе все личные притязания. Я вам скажу больше. Это будет усовершенствованием равенства и свободы. Я иначе не мыслю себе республики. Нужен не аграрный закон, который не может просуществовать и 24 часа, как только вы предоставите действовать свободной игре личных стремлений. Коммунизм, - вот великий принцип республиканского строя” и т.п.⁶⁴

И в 1793 дело не ограничивалось подобными интеллигентскими размышлениями, которые все-таки были “systematiquement philosophiques”. Бешеные достаточно ясно видели, что их стремления направлены против всего “класса богачей” и не могли не замечать, что полное осуществление их политики предполагает экспроприацию богачей, или по крайней мере “порочных богачей”. В моменты острого продовольственного кризиса и роста влияния бешеных, такие стремления получали отклик далеко за пределами приверженцев Жака Ру, - грозил же дантонист Шабо 3 июня в якобинском клубе экспроприацией богачам вслед за эмигрантами!⁶⁵

После введения общего максимума санкюлоты встревожены массовыми случаями прекращения торговли предпринимателями, и Шомет в коммуне 14 октября произносит речь, которую Жорес называет “бесспорно первым официальным предложением национализации промышленности, которое только делалось”.⁶⁶ Шомет не только грозит, что “если фабриканты покинут свои предприятия, республика овладеет мастерскими и сырьем”; Шомет проводит даже резолюцию о петиции Конвенту, в которой будет поставлен вопрос, не следует ли “отдать фабрики в распоряжение республики, у которой хватит рук, чтобы пустить их”.⁶⁷ В течение этого же периода в Париже Камбон “проводит то, что можно назвать национализацией банков”. Официозная газета “Антифедералист” проповедует национализацию урожаев и всего снабжения, как “необходимое дополнение к реквизициям и таксам”. Другой официоз из преимущественного права покупок делает вывод, что “вся Франция это магазин, зернохранилище, арсенал республики, - ей принадлежат запасы спекулянтов и их магазины”. И в речи Барера 22 октября подытоживаются все эти тенденции, “все продукты нашей территории суть национальная собственность, всякая вещная или недвижимая собственность принадлежит государству”.⁶⁸

В провинции эти тенденции должны были получить еще более ясное проявление. Там, с одной стороны, существовали центры значительно более развитые в капиталистическом отношении, чем Париж, и классовые противоречия якобинизма с буржуазией должны были там сказываться гораздо раньше и острее; так было в Лионе, Марселе, Бордо, Кастре, Тулоне. С другой стороны, якобинские руководители на местах, особенно комиссары центра, даже самые по существу умеренные, в атмосфере более напряженной борьбы и более непосредственной контрреволюционной опасности вдали от центра, легче поддавались “революционной необходимости” и “увлекались подъемом огромных сил”, связывая свою судьбу с пролетариями, “которые обычно были монтаньярами”.⁶⁹ Так, в том же заседании парижской коммуны, где призывал к национализации Шомет, выступила депутация из Ниевры, описавшая богатства своего департамента и указавшая “насколько большую пользу их необъятные леса и рудники имели бы для республики, если бы она сама взялась за их эксплуатацию”. Еще в августе 1793 якобинский клуб Монтобана, “в котором преобладали рабочие”, выносит резолюцию, что “если бы нация смогла сама занять все рабочие руки, она разом уничтожила бы аристократию во всех ее проявлениях и навсегда предупредила бы возможность ее возвращения”.⁷⁰ В ноябре якобинцы Гренобля потребовали, чтобы “хозяева фабрик или мастерских, которые прервут работу своих предприятия, были немедленно лишены их; эти предприятия нужно национализировать, а их бывших собственников заставить работать в качестве рабочих (!) в пользу нации”.⁷¹

В Лионе, городе с крупной промышленностью и давними традициями классовой борьбы, должны были раньше проявиться и классовый смысл политики максимума, и тенденции ее роста. Там местные якобинцы, все очень радикальные в социальном вопросе, завладели большинством в муниципалитете на декабрьских выборах 1792, откровенно натравливая “бедных” на “богатых”. Они еще в сентябре незаконно ввели на три дня таксы на предметы питания. В декабре 1792 якобинские руководители лионского дистрикта сочинили проект целого декрета, который “отменял частную торговлю зерном, учреждал государственный контроль над снабжением, национализировал водяные и ветряные мельницы и строго регламентировал выпечку и торговлю хлебом”.⁷² “Роду человеческому почет и братство”, - так начинался этот проект. “Торговля зерном во всех отношениях вредна для нации и для граждан. Она бесполезна. Торговля предметами питания и их вывоз, вопреки [Ролану](#), объявляются контрреволюционным преступлением (sont des crimes de lese nation), потому что они вредят существованию нации. Зерно и мука должны быть объявлены национальными продуктами, управляемыми продовольственной администрацией, избранной народом. Максимальные цены на зерно должны быть установлены с неизменностью для всей территории республики” и т.д.⁷³

Какой великолепный революционный стиль! И как близки от слов к делам лионские революционеры! Петициями о максимуме они начинают бомбардировать Конвент чуть не с самого начала его сессии. Один из проектов петиции, представленный 13 января 1793 лионскому муниципалитету общегородским якобинским клубом, имел “ту оригинальность”, что регламентация хлебных посевов и торговли зерном “была для авторов проекта не временной мерой, вызванной чрезвычайными обстоятельствами, но постоянным законом. Они рассчитывали посредством этой меры реализовать права человека, освятить царство равенства”.⁷⁴ В марте, после того, как булочники массами начинают саботаж, Лионские якобинцы “частично муниципализируют хлебную торговлю, создав 13 муниципальных хлебопекарен”, которые получают муку из общественных зернохранилищ; только безденежье муниципалитета не дало возможности развиваться этому начинанию - муниципальные булочные закрылись через месяц.⁷⁵

Все это происходит в Лионе еще до жирондистского бунта, в конце 1792 и первой половине 1793. А после подавления бунта якобинская политика в Лионе приобретает такой ясный характер экспроприации буржуазии, какой она, вообще, никогда и нигде в течение революции не имела. Теперь она, впрочем, значительно меньше сопровождается попытками обобществления. К этому времени, как мы ниже увидим, парижские якобинцы уже начали додумываться до своих собственных, специфически мелкобуржуазных способов переустройства социальных отношений, и когда в апреле 1794 лионский дистрикт попросил разрешения на “организацию мастерских, которые были бы вручены его заботам”, в Париже на это посмотрели косо.⁷⁶

Важно, что в ходе классовой борьбы якобинцы в провинции упираются в необходимость обобществления средств производства постоянно и “социализаторские” настроения цветут до самой весны 1794.

Часто толчок к развитию таких настроений на местах исходил от комиссаров, которые вдали от Парижа обычно сильно радикализировались. Ниевская депутация в парижской коммуне была подвигнута на свои призывы к обобществлению рудников и лесом не кем иным, как Фуше, который, орудуя в их департаменте, “свысока говорит с богачами” и “обещает беднякам интегральную революцию”.⁷⁷ Монтобанские якобинцы выносят свою резолюцию по прямому наущению Жанбона Сент-Андре, приличного, но весьма умеренного “делового человека”, специалиста по морским делам из Комитета общественного спасения. В марте 1794 в Бресте он принужден “временно поставить рудники под государственный контроль, но он внушает идею о необходимости их превращения в национальную собственность и об эксплуатации их нацией”.⁷⁸ Дантонист Бодо в заседании коммуны Кастра в сентябре 1793 развивает такую мысль “Федерализм был порожден эгоизмом, федералисты это те, кто больше всех выгадал на революции, держа народ в нищете и не соразмеряя заработную плату рабочих с огромными барышами от своего производства; но пусть они знают, что, если понадобится, нация завладеет их фабриками и таким образом сама станет заботиться о снабжении производительного класса, заполняющего мастерские”, пока что можно действовать паллиативами, - Бодо советует муниципалитету Кастра “отнять от булочников производство хлеба и ввести муниципальную булочную”.⁷⁹ Альбит из Лиона сообщает 26 октября 1793 Комитету общественного спасения, что он организовал за счет богачей общественные работы, которые позволят “изъять бедняков из рабской зависимости (au despotisme alimentaire) миллионов”.⁸⁰

Подобных примеров можно бы насчитать и еще достаточно. Бросается в глаза, можно сказать, не только наличие в 1793-4 национализаторских проектов, но и случайность и практическая малозначительность этих проектов. Политика регламентации потребления упиралась в необходимость обобществления производства, но для обобществления производства в 1793-4 явно не было достаточных предпосылок, ни объективных, ни субъективных. Обобществление промышленности при тогдашней ее мелкости и раздробленности было фактически неосуществимо; оно было бы и недостаточно, ибо при незначительности удельного веса промышленности в системе тогдашнего народного хозяйства, обладание ею все равно не означало обладания командными высотами, позволяющими управлять всей экономикой страны. Некоторым выходом из положения был бы, пожалуй, контроль над производством и национализация торговли. Но пролетариата, как самостоятельного класса для себя, не существовало, а мелкая буржуазия, даже самая радикальная, неспособна поставить под вопрос самый принцип частной собственности в целом. Ни один из проектов частичной национализации, даже исходивших от бешеных и от эбертистов, не имел для них принципиального значения. Скорее это были чрезвычайные и ненормальные меры, вызываемые обстановкой, - даже выступление Шомета 14 октября 1793 представляет собой “по правде сказать не больше, чем угрозу и нечто вроде выхода на худой конец”. Что доказывают все приведенные примеры, так это разве то, что тогда “внутренняя логика событий была смелее логики людей”.⁸¹ Якобинской мелкой буржуазии в обобществлением производства нечего было делать, осуществление положительной части ее программы лежало на земле.

Но если это так, если завершение политики максимума в политике обобществления было невозможно, то надо прямо признать, что с максимумом долго нельзя было оставаться, от него надо было отделаться, и чем скорее, тем лучше.

Сейчас трудно сомневаться, что в тех исключительно трудных условиях, в которых революция оказалась осенью 1793 и зимой 1793-4, максимум, как чрезвычайная мера, был для нее неизбежной и спасительной необходимостью. Специфически-профессорское непонимание существа революционных процессов может привести к оценке максимума, как какой-то сплошной логической нелепости, как законодательного просчета, от которого никому ничего, кроме вреда, не получилось и который даже заставляет “произвести некоторый пересмотр вопроса как о природе демократизма правящих лиц эпохи, так и о степени реальной силы в эти годы демократических элементов населения”.⁸² Самые демократические элементы населения тогда стояла за максимум и, не дискутируя преимуществ фритредерства по существу,

указывали только, - как в рабочей петиции 1 мая 1793 - что “средства, пригодные в спокойное время, бесплодны в минуту кризиса и революции: наши бедствия велики и требуют великих средств”.⁸³ Мало того, что максимум и реквизиции позволили демократической Франции содержать 14 армий и отбиться от всей Европы. Максимум был наилучшим выходом и для городской бедноты, потому что с его помощью удержалась демократическая власть, которую иначе капиталистическая буржуазия, и так толстевшая на национальных имуществвах и военных поставках, ликвидировала бы без труда. Конечно, система реквизиций и такс часто больно ударяла и по рабочим, но если вспомнить, в каком положении оказались городские рабочие при Термидоре, нельзя не согласиться, что “правительство Робеспьера спасло рабочую Францию от голода”.⁸⁴

Максимум был необходим, как временная и чрезвычайная мера, но именно только так. Созданный им “государственный социализм” никак не мог стать нормальным методом хозяйствования и предполагал постоянную гипертрофию государственного принуждения, потому что это был в основе порочный “социализм”: он целиком оставался в области потребления, сохраняя частную собственность на средства производства и всю систему нежного хозяйства. При таких условиях система регламентации не могла не подрывать производства, принуждая предпринимателя производить себе в убыток, разоряя его реквизициями, прекращая его связи с внешним рынком. А при разрушении производства для “социализма потребления” не оставалось иного прибежища, как только террор. Искренними и последовательными защитниками максимума к весне 1794 оставались одни эбертисты. Так вот, именно у эбертистов “не было, собственно говоря, никакой социальной политики”. Для самого Эбера “альфой и омегой его политики была гильотина”, начав с борьбы против капиталистической буржуазии, он “в силу логики своей позиции должен был кончать проклятием всех тех, кто имел что-нибудь для продажи”, и конечным выражением этой политики становился комиссар по скупкам Дюкроке, который, отобрав на базаре 36 яиц у одного гражданина с семьей в семь человек, роздал их тридцати шести разным лицам!⁸⁵

Вся система революционного правительства, как совокупность чрезвычайных мер, может быть представлена в виде естественного результата такой экономики. Сколько бы революционная идеология ни привносила побочной остроты в классовую борьбу 1793-4, в основном терроризм этих лет определен максимумом. В старо-гегельянской терминологии это противоречие мелкобуржуазной революции было выражено уже давно: “Государственная власть, основанная на принципах чистой демократии, должна была начать войну не на жизнь, а на смерть с обществом. Она должна была уничтожить все, что было общественным неравенством. Это было задачей терроризма”⁸⁶. Проще говоря, это означало, что “организацию террора повлек за собой общий максимум. Не случайно в порядок дня террор был поставлен 5 сентября, в тот самый день, когда эбертистская коммуна вынудила таксы у Конвента. Для того, чтобы попытаться провести законодательство, сталкивающееся со всеми частными интересами, следовало укрепить диктатуру центра, систематизировать ее, покрыть Францию полицейской и гарнизонной армией, отменить все свободы, поставить под контроль центральной продовольственной комиссии всю земледельческую и промышленную продукцию, обобщать без конца систему реквизиций, овладеть транспортом и торговлей, взять в распоряжение государства торговый флот и банки, создать всяким способом новую бюрократию, чтобы пустить в ход огромную машину снабжения, установить rationны по карточной системе, производить повальные обыски, наполнить тюрьмы подозрительными, возвести гильотину и заставить ее работать непрерывно. Террор политический и террор экономический сливались и шли вместе”.⁸⁷

Мало того, всего политического террора оказывалось недостаточно, чтобы заставить подчиниться “экономическому террору”. Правительство могло сколько угодно грозить за несоблюдение максимума, - декрет 1 ноября 1793 прямо включал в категорию подозрительных тех предпринимателей, которые остановят свое дело, а парижская коммуна еще за две недели до этого декрета объявила подозрительными закрывающих лавки торговцев. Все-таки предприятия закрывались в результате банкротств и отсутствия сырья, цвел спекулятивный рынок, свободная торговля часто “поощрялась и утилизировалась местной администрацией”, в случаях острой нужды от максимума приходилось отступать и самой центральной власти, и уже в декабре 1793 центральное бюро максимума должно было констатировать факт “неисполнения максимума почти во всех дистриктах”.⁸⁸

Настроение у руководящей революционной партии создавалось мрачное. “Первая идея такс пришла извне, принесенная бароном де-Батз, - записывал Сен-Жюст в плювиозе, - это был проект голода. Теперь в Европе всеми признано, что рассчитывали на голод для возбуждения народного бешенства”.⁸⁹ Тогда-то робеспьеристы, окончательно убедившиеся в гибельности этой навязанной им политики, и решились на постепенный отказ от максимума, необходимый для восстановления производительных сил страны. Восстановление производительных сил было немислимо иначе, как ценой возвращения к фритредерству и развязывания капиталистической инициативы, - это-то и дало повод некоторым историкам говорить о “термидорианском перерождении” робеспьеристов после ликвидации эбертизма и незадолго до настоящего Термидора. Ниже мы увидим что зра “покровительства обращению”, начавшаяся весной 1794, первоначально не могла не ударить по интересам пролетариата и вообще демократических слоев населения. Все-таки это было (или должно было быть) лишь временным и притом чисто внешним проявлением перемены курса, сущность которого совсем не свидетельствует о “перерождении” революционной партии.⁹⁰ В самом деле, отказавшись от максимума и развязав силы капитализма, робеспьеристы не только не отказывались от осуществления положительной части своей программы, от построения эгалитаризма, но, собственно, только теперь всерьез за него и думали взяться. Максимум для этой цели оказался негодным средством, - национализация средств производства не могла стать методом творческой политики мелкобуржуазной революции. Для организации царства равенства революционеры мелкой буржуазии думали использовать совсем иные методы, - их специфическим выражением и были законы вантоза II года.

4. - В двух направлениях жизнь подготавливала идею этих законов. Во-первых, как это ни странно звучит для современного уха, к "социальной революции" робеспьеристы подходили по соцбесовской линии. Искреннее стремление мелкой буржуазии "уничтожить нищету, которая позорит свободное государство"⁹¹, приводит к многочисленным и разнообразным декретам об общественном обеспечении: инвалидам, семьям убитых на войне, немощным и старикам-труженикам, неимущим учащимся и т.п. Достаточно перелистать протоколы якобинского клуба, чтобы заметить, как много внимания уделялось этому предмету, как горячо встречались подобные декреты и как бурно реагировали на факты их неисполнения. Во-вторых, материальные возможности для уничтожения бедности сами собой открывались в террористической политике якобинства. Революция, имевшая целью укрепление на незыблемых основах права собственности, начала с конфискации церковных владений и эмигрантских имуществ и продолжала проскрипцией целого класса граждан. Собственно, после заключения подозрительных вплоть до мира, после возложения на них расходов по их содержанию в тюрьме и после исчезновения всякой грани между "подозрительным" и установленным "врагом народа" вполне логично было распространение закона о секвестрации с имущества эмигрантов на всех подозрительных, - и Матье насчитал немало таких попыток с 10 августа 1792 до февраля 1794.⁹² Из этих разрозненных попыток и родился план широких социальных реформ, изложенный в докладах Сен-Жюста 26 февраля (8 вантоза II г.), 3 марта (13 вантоза), 13 марта (23 вантоза), 15 апреля (26 жерминаля), Робеспьера 5 февраля (17 плювиоза) и Барера 11 мая (22 флореаля) 1794. Сущность этого плана, блестяще раскрытого в последних работах Альбера Матье⁹³, вкратце сводится к следующему. К весне 1794 робеспьеристское руководство Конвента убедилось, что "народной" политике грозила судьба остаться без базы, ибо "богатства находятся в руках большого числа врагов революции" и никакая власть "не может существовать, если гражданские отношения находятся в противоречии с формой правительства".⁹⁴ Дело, значит, заключалось в том, чтобы создать социальную базу народному правительству путем активного вмешательства в "гражданские отношения", благо, что к тому времени робеспьеристы уже могли открыто провозгласить, что священна только собственность патриотов, а "тот, кто показал себя врагом своей страны не может быть в ней собственником". В исполнение декрета 26 февраля, объявлявшего имущество "лиц, признанных врагами революции" секвестрованными в пользу республики, а самих этих лиц подлежащими "заключению до мира и затем изгнанию навсегда"⁹⁵, декрет 3 марта предписывал всем коммунам республики представить списки "неимущих патриотов"⁹⁶, а декрет 13 марта учреждал "6 народных комиссий для немедленного суда над врагами революции, заключенными в тюрьмах".⁹⁷ Им передавались для суммарного производства сведения "об именах и поведении всех заключенных с 1 мая 1789", которые должны были быть собраны революционными комитетами всех коммун под руководством Комитета общей безопасности. После составления двух параллельных списков - "врагов революции" и "неимущих патриотов", - революционное государство передавало имущество первых в руки вторых. В противоположность церковным и эмигрантским имуществам, разбазаренным в пользу новых врагов революции, земли подозрительных переходили во владение, а не в собственность патриотов, и притом бесплатно. Так создавался новый социальный класс, "который должен был служить охраной республике, потому что ей он был обязан своим существованием".⁹⁸

Одновременно с этой политикой, "превзошедшей (по радикализму) даже эбертистов". Комитет общественного спасения намечал явный альянс с политически неактивной буржуазией, - по мысли робеспьеристов, теперь, с порождением "целого нового социального класса", это было неопасно. В то же время восстановление производительных сил было необходимым предположением любой творческой социальной политики, и характерно, что тот же жерминальский закон (15-16-17-18 апреля), который назначал точный срок для установления "народных комиссий" и назначал ссылку в Гвиану для лиц, жалующихся на революцию, торжественно возвещал эру поощрения производству и торговле.⁹⁹ В представлении робеспьеристов обе линии их реформы совпадали: "Вам достаточно будет одного месяца господства правды распределяющей (la justice distributive), - говорил Сен-Жюст в докладе к этому закону, - чтобы республика изменила облик и возродилось изобилие".¹⁰⁰

Как бы ни оценивать возможность буржуазной реставрации с изменением политики робеспьеристов, нельзя во всяком случае недооценивать ни значения предпринятой ими попытки социальной реформы, ни степени ее осуществления. К апрелю 1793 в домах заключения французской республики находилось до 100000 "подозрительных"¹⁰¹, из 700-800 дел, которые "народные комиссии" успели до 9 термидора просмотреть, Комитет общей безопасности обнаруживал не больше 1,5 процента "патриотов"¹⁰², - было из чего создать "целый новый социальный класс". И эффект на современников, судя по одному этюду Матье, вантозские законы успели произвести значительно больший, чем на всю последующую историографию. Их сразу отметило общественное мнение^{102a}; за их осуществление некоторые дистрикты принялись даже слишком ретиво, накладывая секвестр на имущества подозрительных, еще не "осужденных" парижскими комиссиями, к концу февраля, по словам Барера, в центре было получено уже около 40000 решений революционных комитетов о заключенных, и правительственные комитеты рассчитывали, что "в течение полутора месяцев они опубликуют именной список неимущего населения во всей Республике", самый переворот 9 термидора был, по-видимому, до некоторой степени обусловлен нежеланием буржуазных элементов Горы допустить эгалитарные эксперименты Робеспьера, как полагает Матье, основываясь на компетентном (едва ли, однако, полноценном по объективности) свидетельстве современника¹⁰³, после термидора, в докладе Удо 11 брюмера III г. констатировалось, что в течение трех месяцев до 20 прериала вантозские декреты начали применяться по крайней мере в 30 департаментах.¹⁰⁴ Если историки XIX века, даже социалисты, проглядели значение вантозских декретов, то совсем не так отнеслись к ним революционные коммунисты XVIII века. Бабувисты сразу увидели "в конфискации имущества осужденных контрреволюционеров не фискальную меру, а обширный план преобразователя", - требование осуществления этих законов стало исходным лозунгом Заговора равных.¹⁰⁵ К этому следует еще прибавить, что по мысли робеспьеристов вантозские декреты были не концом, а началом социальной реформы: в

первом же докладе на эту тему Сен-Жюст заикнулся об “учреждениях, которые составляют душу республики” и без которых республиканское правительство ничтожно¹⁰⁶, в последующих докладах “республиканские учреждения” фигурируют уже, как основная работа будущего¹⁰⁷, и 22 апреля Комитет общественного спасения поручает Сен-Жюсту приготовить “кодекс социальных учреждений”.¹⁰⁸ В бумагах Сен-Жюста сохранились отрывки этого кодекса. Странное произведение, которое отнюдь не должно было остаться только на бумаге, нельзя назвать иначе, как планом эгалитарной республики с уравненной собственностью и с мелочным регулированием всех отправлений общественной жизни государством.¹⁰⁹ Целью якобинской политики с весны 1794 было установление царства социального равенства, средством для достижения этой цели были вантозские декреты. Как ни утопичны такие средства, как ни странно выглядят они для современного сознания (не этим ли и объясняется то невнимание, с которым социалистические историки XIX-XX вв., в противоположность бабувистам, отнеслись к вантозским декретам?), но это - единственно возможные у революционной мелкой буржуазии средства для осуществления своей положительной программы. Существующие капиталистические отношения в основном остаются нетронутыми, а рядом с ними искусственно создаются эгалитарные оазисы, которые, по мысли якобинцев, постепенно и с помощью добродетельного государства распространяются на всю республику. В основном для робеспьеристов дело решали земельные отношения, но в высшей степени характерно, что в центрах развитой промышленности одновременно с появлением вантозских декретов и, по-видимому, независимо от них возникали проекты подобной же политики применительно к промышленному производству! Это - формальное предложение комиссаров в Лионе Реверсона и Дююи, сделанное ими 23 мая 1794 Комитету общественного спасения, “республиканизировать торговлю” и “создать республиканское ядро промышленности и торговли”. Проект “республиканизации” выдержан совершенно в духе вантозских законов, он служит им как бы дополнением и только случайностью можно объяснить, что Матье нигде ничего не говорит о нем.

Выше уже было отмечено, что нигде социальная политика якобинизма не проявлялась так резко, как в промышленном Лионе. Национализаторские поползновения, правда, тамошним якобинцам пришлось быстро оставить, но всю их политику, особенно после подавления жирондистского мятежа, нельзя назвать иначе, как политикой сознательной и планомерной экспроприации буржуазии. Осуществляя знаменитый декрет 12 октября 1793, который предписывал “разрушить Лион”, местные якобинцы с октября приступают к “разрушению” лионской буржуазии и к разделу ее имущества между “неимущими патриотами”. Экспроприация происходит посредством судебных решений чрезвычайной “временной комиссии”, притом так энергично, что начинает уже с “порочных богачей” распространяться на “богачей” вообще. Этак можно было всерьез разрушить всю лионскую промышленность, - процесс экспроприации начинают тормозить даже самые радикальные комиссары центра.

Но этот процесс естественно открывал возможности решения общей политической проблемы, которая во весь рост встала перед центральным якобинским руководством. Что делать со всей огромной массой лионских пролетариев, как вырвать их из-под разлагающего влияния работодателей-капиталистов? Коло-Дербу всерьез подумывал даже о необходимости их принудительно расселения по всей территории республики, - он, как и Руссо, не верил в возможность республиканских чувств у людей, лишенных всякой собственности. “Нужно рассеять, расселить сто тысяч лиц, работающих на фабриках всю свою жизнь”, - писал он 23 ноября 1793 в личном письме Робеспьеру. “В них заинтересовано человечество, потому что они всегда были угнетены и бедны, чем и доказывается, что они не почувствовали революции. Рассеяв их среди свободных людей, им можно внушить надлежащие чувства. Наоборот, они никогда не будут иметь этих чувств, если останутся объединенными”.¹¹⁰ Эгалитаризм не мирится с существованием пролетариата. В лионском клубе якобинцев с осени 1793 постоянно настаивают, что промышленная собственность, как и земельная, должна быть разделена “если не с арифметическим равенством, то по крайней мере с тем равенством пропорциональным, которое оставляет каждому достаточно возможностей для почтенного достатка но не достаточно для концентрации в своих руках больших богатств, чтобы держать рабочих в нищете и в угнетении”.¹¹¹

Докладная записка Реверсона и есть вывод из таких настроений. Он предполагает учредить “300 предприятий в пользу малообеспеченных патриотов”, 240 для производства шелковых материй, 30 - шелковых чулок и 30 шляпных. “Каждое такое предприятие должно быть поручено двум кустарям (assoues). Что же касается до крупных фабрикантов, которые еще не исчезли (!), то размеры их дел должны быть ограничены. Для того чтобы республиканизировать коммерцию, следует только раздробить ее средства, подчинить максимум самую конкуренцию (l'emulation meme)... Размеры производства должны быть ограничены 30-40 станками, то есть каждое общество должно рассчитывать на выработку максимум 10-12 тысяч ливров продукции... Не должно больше существовать этих громадных мануфактур с 600 станков, ни у кого в руках не будет сосредоточено больших капиталов”. Смысл реформы, как будто, вполне ясен и Ревершон сам истолковывает его (увы, уже после термидорианского переворота в Париже, 8 августа 1794) в лионском клубе к полному удовольствию друзей Гайара и Шалье: “Мы не желаем больше крупных комиссионеров, крупных фабрикантов и судовладельцев. Пусть всякий работает сам для себя!.. Довольно нищеты, довольно больших богатств, пусть все будут совершенно счастливы”.¹¹² Таким образом, и по отношению к промышленности развитие тенденций социальной реформы шло у мелкобуржуазных утопистов по линии той же вантозской политики: не должно быть ни бедняков, ни богачей, но все должны быть равно “совершенно счастливы”.

Итак, Франция должна была стать страной “чистой демократии”, республикой простых товаропроизводителей! Тот период революционного правительства, который всегда даже марксистам представлялся лишенным социального содержания, простой задержкой, террористическим загниванием мелкобуржуазной диктатуры, оказывается едва ли не самым интересным ее периодом. Меры крайнего

терроризма, которые даже у нас объяснились чуть ли не личным честолюбием Робеспьера, странное орудие закона 22 прериаля, которое считали предназначенным для расправы с 5-6 жуликами из Конвента, оказываются орудиями грандиозного социального преобразования. Если даже последующие исследования сократят реальное значение вантозских декретов (сейчас-то опасность состоит совсем не в том что их переоценят!), идеологический переворот они знаменуют бесспорный, - а для политической проблемы 1793-4 это и имеет непосредственное значение.

5. - Не ограничившись закреплением готового в области экономических отношений, замахнувшись всерьез на политику эгалитаризма, остались ли робеспьеристы в области политической прежними поклонниками формальной (т.е. буржуазной) демократии? А заметили ли они некоторых не только “временных” ценностей в практике революционной диктатуры, которая стихийно выдвинула формы истинно-народной организации власти и методы которой и натолкнули их на необходимость реформы социальных отношений?

Нет никаких оснований полагать, что в этот период революционное правительство оставалось для робеспьеристов по-прежнему только средством отступления к “нормальной” парламентской республике; наоборот, имеются основания для обратного утверждения. Даже Олар мимоходом признавался, что в процессе создания, “временных” учреждений революционное правительство обнаруживало семена и будущих “постоянных” учреждений.¹¹³ Даже Матье, в политической области не слишком отличающийся от Олара и сильно склонный рассматривать формальную демократию, как единственно возможный “нормальный” режим и предельный идеал всех народных революционеров, в частности и Робеспьера, делает для политики частичные выводы из теории вантозских законов: “Дело шло также о том, чтобы, как повторял Сен-Жюст вслед за Робеспьером, продлить революционную диктатуру так долго, как это понадобится для основания фактической республики посредством этой огромной новой экспроприации и для переворота в нравах средствами гражданских учреждений. Террор больше не имел чего-то в себе постыдного” и т.д.¹¹⁴ И в самом деле, было вполне нормально, что Сен-Жюст, в июле 1793 считавший контрреволюционерами людей, которые противились немедленному введению конституции, теперь видит контрреволюционный замысел в требовании введения конституции¹¹⁵, а Робеспьер прямо усматривает основной отличительный признак контрреволюционности в требованиях конституции: сначала Лафайет взывал к конституции, потом Дюмурье, потом Бриссо и, наконец, эбертисты, и все, “чтобы растерзать Конвент и уничтожить республиканское правление”.¹¹⁶

Революционное правительство должно оставаться и впредь, наступивший перелом на фронтах не меняет существа дела. Робеспьер теперь понимает, что “республику устанавливает не победа... не преходящий энтузиазм”, а “общественные добродетели, чистота и крепость правительственных принципов”.¹¹⁷ Даже мирный “деловой человек” Карно понял, что мир “даст возможность мало-помалу отпустить натянутые поводья (detendre insensiblement des ressorts)”, а не просто вернуться к конституции.¹¹⁸ В решении вопроса о революционном правительстве условия фронта, вообще, не при чем. “Нация делается прославленной не за то, что свергла тиранов или покорила народы, - говорит Робеспьер в якобинском клубе 9 июля 1794; - это была судьба римлян и некоторых других наций; нашим, много более возвышенным назначением является основать на земле господство мудрости, справедливости и добродетели”.¹¹⁹ Пора дать почувствовать, разъясняет Сен-Жюст в жерминальском докладе, “что революционное правительство не означает ни военного положения, ни состояния победы, но переход от зла к добру, от коррупции к честности, от дурных максим к хорошим”.¹²⁰ Другими словами, революционное правительство означает создание общества, построенного на равенстве. Это и означает состояние благополучия (bonheur), но “благополучие, которое мы предлагаем, не есть благополучие развращенных народов. Ошиблись те, кто рассчитывал получить от революции привилегию стать в свою очередь таким же негодным, как были дворяне и богачи монархии. Пflug, поле, хижина, охраненная от фиска, семья, укрытая от вожделий разбойников, вот благополучие”.¹²¹

Не ясно ли, что привести в такое состояние народ, развращенный более чем тысячелетней властью тирании, можно только при наличии твердого руководства! “Думайте только об укреплении этого равенства решительными действиями чистого правительства, которое заставило бы уважать все права, посредством полномочной (vaste) и справедливой полиции”.¹²² Конечно, из-за полицейского всемогущества это общество не перестает быть свободным, - полиция то, ведь, будет справедливая: “разница между свободным режимом и режимом тираническим состоит в том, что в первом полиция применяется против меньшинства, противящегося общему благу и против злоупотреблений или небрежений власти, в то время, как во втором государственная полиция направлена против обездоленных, которые предоставлены несправедливости и безнаказанности власти”.¹²³ Рассуждение, совершенно напоминающее учение Руссо - государство общей воли является идеальным состоянием свободы, но свобода оказывается “пищей не для больных желудков” и “ношей не для слабых плеч”!

Следует отметить, что в этом рассуждении не только организация, но и метод действия революционной власти объявляется принципиально свойственными “режиму свободы”. Власть, управляющая царством “благополучия”, это власть, не связанная формой права. Когда Робеспьер утверждает, что “в республике гражданами являются только республиканцы, - роялисты, заговорщики для нее только иностранцы, или, скорее, враги”¹²⁴, когда Сен-Жюст требует вместо “террора” поставить в порядок дня еще горшочек “справедливости”¹²⁵, когда Кутон утверждает, что по отношению к классовым врагам “срок для наказания виновных должен быть не больше, чем время необходимое для их обнаружения”¹²⁶, то здесь подразумевается уже не временное чрезвычайное положение, а нормальные методы управления государством благополучия.

Режим революционного правительства, это нормальный режим государства свободы, - только нуждающегося в замирении. Это запоздалое открытие сделанное робеспьеристами незадолго до контрреволюции 9 термидора, имеет первостепенное значение для всей истории революционного правительства, ибо в нем классовая диктатура мелкой буржуазии познала самое себя. Последующее изложение должно подтвердить правильность этого положения на анализе отдельных частей революционной доктрины и революционных учреждений.

1 Собр.соч.1924, XVII, с.с.349, 351-352.

2 Ср.из реакционеров и консерваторов: *A.Thiers*, Histoire de Revolution francaise, 1840, t.I, pp.383, 418, 483-5, t.II, 55-6, 109; *H.Sybel*, Geschichte der Revolutionszeit, 1859, Bd.II, SS.431, 433-5; *Mortimer-Ternaux*, Histoire de la Terreur, 1868, t.I, pp.1-3; *H.Taine*, Les origines de la France contemporaine, 1899, t.VI, pp.20-74, passim; *A.Sorel*, L'Europe et la Revolution francaise, 1903.t.II, pp.524-7, t.III, pp.507-8; из либералов и демократов: *L.Stein*, Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich, 1921, Bd.I, SS.293, 300; *E.Quinet*, La Revolution, 1865, t.I, p.464, 467-8, t.II, p.182-3, 237-8, 289; *E.Hamel*, Histoire de Robespierre, 1867, t.III, pp.166-7, 246-7, 330 (недостаточно определено, потому что старается подменить общую проблему диктатуры проблемой единоличной власти, существование которой отрицает); *J.Michelet*, Histoire de la Revolution francaise (pub.J.Rouff, s.d.), t.II, p.1517; t.III, pp.1581-3, 1662; *A.Aulard*, Histoire politique de la Revolution francaise, 1913, pp.315, 367-8; *F.Braesch*, La Commune du Dix aout, 1911, pp.334, 361, 362; *P.Mautouchet*, Le Gouvernement revolutionnaire, 1912, p.4-5; *H.Hintze*, Staatseinheit und Federalismus im alten Frankreich und in der Revolution, 1928, SS.351, 393, 412, 476; из социалистов и анархистов *Buchez et Roux*, Histoire parlementaire de la Revolution francaise, 1836, t.XXIX, p.123, t.XXX, pp.140, 311, t.XXXIII, p.359; *L.Blanc*, Histoire de la Revolution francaise (pub.Lahure, s.d.), t.II, pp.375-6, 423, 432 (так же, как Амель, предпочитает говорить о диктатуре в личном смысле); *J.Jaures*, Histoire socialistes de la Revolution francaise, 1924, t.VIII, pp.258-9, 388-9; *A.Mathiez*, La Revolution francaise, 1921, t.III, pp.65, 149, 166-8, 78; *П.А.Кроноткин*, Великая французская революция, р.п.1919, сс.475, 510; *А.А.Боровой*, История личной свободы во Франции, 1911, ч.II, сс.119, 128-9.

3 Срв. *Aulard*, Histoire politique de la Revolution francaise, 1913, p.315.

4 Собр.соч.1924, XVII, с.355

5 *A.Mathiez*, Robespierre-terroriste, 1921, p.6. Вообще, блестящий аналитический дар этого замечательного историка в социально экономической области заметно тускнеет при переходе к политическим вопросам. Здесь его мысль ограничена предельными понятиями - "нормальной" парламентской демократии и "ненормальной", вызванной условиями войны, диктатуры. Вот изложение его несостоявшегося доклада в 1928 в Осло о "Теории диктатуры во французской революции", данное им самим в одном частном письме: "...Французские революционеры совершенно так же, как и революционеры русские, вполне ясно поняли с самого начала, что успех их дела требует диктатуры. Конституанта и Конвент в силу теории учредительной власти овладели этой диктатурой. Они объединили в своих руках все власти, даже административную. Конституанта непосредственно управляла чрезвычайными суммами (la caisse de l'Extraordinaire), за отчуждением которых наблюдали ее члены, распределив между собой департаменты, политической полицией (комитет розысков уже играл роль конвентского Комитета общей безопасности) и т.д. Дорогое сердцу Монтескье разделение властей должно было начать функционировать только в нормальный и спокойный период, когда учредительная власть начнет исчезать. В самом деле, ни при Легислативе, ни при Директории разделение властей не уважалось. Диктатура продолжалась режимом надзаконности и переворотов. К теории учредительной власти, т.е. диктатуры, необходимой для свержения старого режима и основания нового, страшная опасность 1793 прибавляет теорию революционной власти. Двумя ее крупными теоретиками были для завоеванных стран Камбон (декреты ноября-декабря 1792) и для самой Франции Робеспьер (доклады 5 нивоза и 18 плювиоза II г.). Робеспьер противопоставляет законному, конституционному порядку вещей порядок революционный, который, находясь постоянно под угрозой, не может защищаться обыкновенными средствами. Гибкая и подвижная диктатура заменяет доказательства подозрением и репрессию превенцией. Впрочем, здесь Робеспьер только узаконил и систематизировал фактическое положение, которое установилось после измены Дюмурье (наблюдательные комитеты, закон 17 сентября о подозрительных, 14 фримера о революционном правительстве и т.д.). Женевские республиканцы применили на практике робеспьеристские принципы в своей июльской революции 1794. Итак, в итоге мы имеем две коллективные диктатуры: а) учредительная власть и б) революционная власть. Это две диктатуры, имеющие одну и ту же цель, но действующие разными средствами. Более того, некоторые весьма заметные революционеры, как Марат и после него Шомет, думали, что коллективной диктатуры представительного собрания или его комитетов недостаточно и что для того, чтобы истребить врагов революции, следует учредить личную диктатуру, как в греческих городах или в Риме. Марат выдвигал свою кандидатуру в диктаторы. Бонапарт осуществил в свою пользу его идею, но совсем в другом духе".

6 Таким образом, не только робеспьеристский Конвент, но даже архибуржуазное Учредительное собрание и контрреволюционная Директория оказываются "tout comme revolutionnaires russes" - носителями революционной диктатуры. Хорошо еще, что про Бонапарта прибавлено, что он действовал dans un esprit tres different!

7 Настоящая работа уже печаталась, когда А.Матье опубликовал свою "Теорию диктатуры во французской революции" (пока только первую часть, кончающуюся на Конституанте). Нового по сравнению с приведенным письмом мало. Проблема революционной диктатуры осталась незамеченной, она подменена проблемой тех юридических конструкций, которыми буржуазные революционеры оправдывали свою диктатуру. Так Конституанта получила "неограниченную диктатуру" из-за "гениального изобретения Сьейеса" - теории учредительной власти (*A.Mathiez*, La Revolution francaise et la theorie de la dictature, Revue historique, 1929, pp.309, 312-13).

8 Собр.соч.1923, XV, с.483, срв. XVI, с.226.

10 Случаются и такие обмолвки прекрасная статья Альбера Матье о вантозских декретах кончается неожиданным выводом: бабувисты “заимствовали у робеспьеристов их средство, т.е.террористическую диктатуру, которая ныне называется диктатурой пролетариата” (Annales historiques de la Revolution francaise, 1928, № 3, p.219). На утверждение Жореса в газетной статье о пролетарском характере коммуны 10 августа 1792 ссылается *F.Braesch*, *La Commune du Dix aout*, 1911, p.267 (что тут же и опровергает документально). В неспециальной литературе подобные ляпсусы попадаются сплошь и рядом

12 *Moniteur* 20-22 octobre 1789, № 76; t.II, p.79-80.

13 См.напр.*J.J.Mounier*, *Recherches sur les causes qui ont empeche les Francais de devenir libres*, Geneve 1792, t.II, 42-44, 52-3

14 *P.Mautouchet*, *Le Gouvernement revolutionnaire*, 1912, p.5.

15 *Moniteur* du 22 septembre 1792, № 266; t.XIV, pp.7, 8.

16 Срв.*Ц.Фридлянд*, *Классовая борьба в июне-июле 1793*; *Историк-марксист*, 1926, I, сс.83, 89, 95

17 Срв. *A.Aulard*, *Taine - historien de la Revolution francaise*, 1907, pp.169, 326.

18 *Moniteur* du 13 mars 1793, № 72; t.XV, p.681; до Камбасереса на ту же тему говорил Дантон в заседании 21 сентября 1792, но ему ссылка на учредительную власть понадобилась не для оправдания диктатуры, а, наоборот, для демократизации конституционного законодательства (*Moniteur* du 22 septembre 1792, № 266; t.XIV, p.7), но в мартовском заседании, после Камбасереса, быстрый разумом Дантон сразу сообразил всю выгодность и всю безвредность новой “теории” и повторил ее сейчас же за Камбасересом (t.XV, p.683).

19 *Moniteur* du 9 avril, № 99; t.XVI, p.76.

20 *Moniteur* du 7 septembre 1793, № 250; t.XVII, p.520.

21 *Moniteur* du 14 octobre, № 23; t.XVIII, p.107.

22 *Moniteur* du 14 octobre 1793, № 23; t.XVIII, p.106.

23 *Moniteur* du 7 niv6se l'an II, № 97; t.XIX, p.51.

24 *Moniteur* du 18 juillet 1793, № 199; t.XVII, p.148.

25 Доклад 15 апреля 1794 “об общей полиции”; *Moniteur* du 27 germinal 1'an II, № 207; t.XX, p.222.

26 *Moniteur* du 25 avril, № 115; t.XVI, p.213

27 Заметки Кондорсе появились в феврале в *Chronique de Paris* 48-49; цит. по *Buchez et Roux*, t.XXIV, p.103

28 *Moniteur*, t.XVI, p.213

29 Ст.19 проекта Декларации, *Buchez et Roux*, t.XXIV, p.107

30 *Moniteur* du 4 decembre 1792, № 339, t.XIV, p.630.

31 *Ibidem*, p.636.

32 Ст.21 Декларации, *Buchez et Roux*, t.XXXI, p.400.

33 Речь Робеспьера в Конвенте 24 апреля 1793, *Moniteur* du 25 avril, № 115 t.XVI, p.213

34 Доклад Робеспьера 13 июля 1793 о “плане национального воспитания”, *Moniteur* du 17 juillet № 198, t.XVII p.135.

35 Речь Робеспьера в Конвенте 24 апреля 1793; *Moniteur* du 25 avril, № 115; t.XVI, p.213.

36 Речь Робеспьера в Конвенте 2 декабря 1792; *Moniteur* du 4 decembre, № 339; t.XIV, p.637.

37 *Buchez et Roux*, t.XXX, p.126, 128.

38 *Moniteur* du 17 juillet 1793, № 198, t.XVII, p.136.

39 Речь Сен-Жюста 26 февраля 1794; *Moniteur* du 9 ventose, № 159; t.XIX, p.568.

40 См.*Contrat social*, I.II, ch.V, XI; I.III, ch.X; I.IV, ch.VIII, II, VI, и особенно *Projet de Constitution pour la Corse*; *Oeuvres inedites pub.par Streckeisen-Moultou*, 1861, p.6, 100, 102, 107-8.

41 Срв. *Ц.Фридлянд*, “Девятое Термидора”; *Историк-марксист*, т.VII, с.с.160.164, 188.

42 *Annales historiques de la Revolution francaise*, 1928, № 3, p.194

43 *Ph.Sagnac*, *La legislation civile de la Revolution francaise*, 1898, pp.58 154, 170.

44 *Ibid*.pp.177-81.

45 *A.Mathiez*, *La vie chere et le mouvement social sous la Terreur*, 1927, p.618.

46 *Ph.Sagnac*, *op.cit*, pp.189, 190.

47 *Н.М.Лукин*, *Максимилиан Робеспьер*, 1924, с.104.

48 *Ph.Sagnac*, *op.cit.*, p.173-4.

49 *A.Mathiez*, *La vie chere et le mouvement social sous la Terreur*, pp.93, 90.

50 *Ibid.*, pp.1-501.

51 *Ibid.*, p.88.

52 *Ibid.*, pp.338, 117-19, 140-1, 143-5, 169-70, 178-80, 186-6, 316, 328, 373.

53 *Ibid.*, p.252-3

54 *Ibid.*, p.390.

55 *Ibid.*, p.561

- 55 Ibid., p.561
- 56 Moniteur du tridi de brumaire, № 43, t.XVIII, p.321.
- 57 H.Sybel, Geschichte der Revolutionszeit, 1859, Bd.II, S.434
- 58 A.Mathiez, La vie chere et le mouvement social sous la Terreur, p.377.
- 59 Ibid., p.411.
- 60 Ibid., p.470.
- 61 Ibid., pp.507-8, 480-1.
- 62 Ibid, pp.386, 389
- 63 G.Babeuf, Du syteme de depopulation ou la vie et les crimes de Carrier etc.Paris l'an III, p.28-9, cp.*Ph.Buonarroti*, Conspiration pour l'egalite dite de Babeuf, 1828, t.I, p.36-7, 41
- 64 A.Mathiez, Le Directoire; Revue dcs cours et conferences, 1929, № 13, p.450-1.
- 65 Societe des Jacobins, t.V, p.227.
- 66 J.Jaures, Histoire socialiste de la Revolution francaise, 1924, t.VIII, p.272
- 67 Moniteur, t.XVIII, p.121.
- 68 J.Jaures, op cit., t.VIII, p.276; A.Mathiez, La vie chere et le mouvement social sous Terreur, pp.424-5.
- 69 J.Jaures, ibid., pp.275, 279.
- 70 Ibid., pp.272, 279.
- 71 A.Mathiez, La vie chere et le mouvement social sous Terreur, p.394.
- 72 C.Riffaterre, Le mouvement antijacobin et antiparisien a Lyon et dans le Rhone-et-Loire en 1793 etc., 1912, t.I, p.336
- 73 Ibid., p.337.
- 74 Ibid, p.337.
- 75 Ibid., p.15, 338.
- 76 Ibid., p.346.
- 77 J.Jaures, op.cit, p.274.
- 78 Ibid , p.270.
- 79 Ibid., p.277-8.
- 80 Recueil des actes du Comite de Salut public, t.VIII, p.39.
- 81 J.Jaures, op.cit., pp.272, 278.
- 82 E.B.Тарле.Рабочий класс во Франции в эпоху революции, 1911, II, cc.387, 311, 328, 330, 388-9, 483-4.
- 83 Monteur, t.XVI, p.289.
- 84 Cp. *Н.М.Лукин, Максимилиан Робеспьер*, 1924, с.109; A.Mathiez, La vie chere et le mouvement social sous la Terreur p.484.
- 85 A.Mathiez, La vie chere et le mouvement social sous la Terreur, pp.543, 555, 557-8; Annales hisioriques de la Revolution francaise, 1927, № 2, p.135-6.
- 86 Stein.Geschichte der socialen Rewegung in Fiankreich.1921.Bd.I, S.292
- 87 A.Mathiez, La vie chere et le mouvement social sous la Terreur, p.611
- 88 Ibid., p.481, E.B.Тарле, ук.соч., cc.327, 338
- 89 Fragmentis des Institutions republicaines, Oeuvres completes de Saint-Just, 1908, t.II, p.513
- 90 Любителям формальных аналогий и праздных разговоров о термидорианском перерождении” следовало бы обратить внимание, что если пред-термидорские месяцы буржуазной революции и напоминают какой-нибудь период пролетарской революции, так это переход нэпу в 1921, как правильно отметил не так давно Альбер Матье (La vie chere el le mouvement social sous la Terreur, p.567). Именно тогда революционная партия производила резкое “отступление в экономической области”, которое, однако, совсем не означало классового перерождения руководства. Разница заключается только в том, что пролетарская революция действительно владела экономическими возможностями для обуздания товарной и капиталистической стихии и для использования ее в своих интересах, а мелкобуржуазной диктатуре это только казалось.
- 91 Речь Сен-Жюста 26 февраля 1794, Moniteur du 9 ventose l'an II, № 159; t.XIX, p.568.
- 92 La Terreur-instrument de la politique sociale des robespierristes; Annales historiques, 1928, pp.196-200.
- 93 См. ero La Revolution francaise, 1927, III, pp.146-9; La vie chere et le mouvement social sous la Terreur, 1927, p.612; La Reaction Thermidorienne, 1929, pp.2, 8; ряд статей в Annales Historiques de la Revolution francaise: Le Neuf Thermidor de M.Barthou (1927, № 19); Les seances des 4-5 Theimidor aux deux Comites (1927, № 21); La reorganisation du gouvernement revolutionnaire en germinal-floreal an II (ib); La Terreur instrument de la politique sociale des Robespierristes (1928, № 3); Quel fut le nombre des suspects (1929, № 1), etc.
- 94 Доклад Сен-Жюста 26 февраля 1794, Moniteur du 9 ventose, № 159; t.XIX, p.568.
- 95 Moniteur, t.XIX, p.569.

- 96 Moniteur, t.XIX, p.611.
- 97 Moniteur, t.XIX, p.692.
- 98 A.Mathiez, Le Neuf Thermidor de M.Barthou; Annales historiques de la Revolution francaise, 1927, p.4.
- 99 Art.24; Moniteur, t.XX, p.225.
- 100 Moniteur du 27 germinal, № 207, t.XX, p.223. Первоначальную цифру 300000, постоянно указывавшуюся Альбером Матье, он сократил в последнее время до 90000 (Quel fut le nombre des suspects? - Annales historiques, 1929, № 1, p.77).
- 101 Справка, приведенная Вадье в заседании 8 термидора, Moniteur du 29 juillet 1794, № 311, t.XXI, p.329
- 102 "Трудно описать впечатление, произведенное этим докладом", сообщает отчет якобинского клуба, см.Societe des Jacobins, t.V, pp.682, 664.
- 103 Vilat, Causes secretes de la revolution du 9 au 10 thermidor, Paris, an III pp.41,47.
- 104 См.Moniteur, t.XXII, p.399, ср.: A.Mathiez, La Terreur, instrument de la politique sociale de robespiernstes, Annales historiques 1928, pp.205, 212, 207, 208.
- 105 Ср.Ph.Buonarroti, Conspiration pour l'egalite dite de Babeuf.1828, t.I, pp.40, 96, 98-9.
- 106 Доклад 26 февраля, Moniteur, t.XIX, p.566.
- 107 Доклад 15 апреля, Moniteur, t.XIX, p.566
- 108 Mathiez, op.cit., p.211.
- 109 См. Oeuvres completes de Saint-Just, 1908, t.II, pp.503-4, 506, 508-10, 513-14, 524, 528, 534
- 110 Recueil des actes du Comite de salut public, t.VIII, p.668
- 111 C.Riffaterre, op.cit., t.I, p 316.
- 112 Ibid, p.347-8; ср.Recueil des actes du Comite de salut public, t.XIV.p.522.
- 113 A.Aulard, Histoire politique de la Revolution francaise, 1913, p.367-8.
- 114 A.Mathiez, La Revolution francaise, 1927, t.III, p.149.
- 115 Доклад Сен-Жюста 31 марта 1794 об аресте дантонистов; Moniteur du 12 germinal, № 192; t.XX, p.102.
- 116 Доклад Робеспьера 1 мая 1794; Moniteur du 19 floreal, № 229; t.XX, p.405.
- 117 Речь в Конвенте 26 мая; Moniteur du 10 prairial, № 250; t.XX.p.588
- 118 Доклад 1 апреля о необходимости уничтожения министерств; Moniteur du 14 germinal, № 194; t.XX, p.116.
- 119 Societe des Jacobins, t.VI, p.212.
- 120 Moniteur du 16 avril 1794, № 207: t.XX, p.220.
- 121 Доклад Сен-Жюста 13 марта; Moniteur du 24 ventose, № 174; t.XIX, p.689.
- 122 Доклад Сен-Жюста 15 апреля; Moniteur du 27 germinal, № 207; t.XX p.222-223.
- 123 Ibidem, p.221
- 124 Доклад 5 февраля "о принципах политической морали", Moniteur du 19 pluvi6se l'an II, № 139, t.XIX, p.40-4
- 125 Доклад 26 февраля, Moniteur du 1 ventose, № 159, t.XIX, p.519
- 126 Moniteur du 12 juin 1794, № 264, t.XX, p.695

ГЛАВА ВТОРАЯ. ВЛАСТЬ и ВОССТАНИЕ

1 - Отсутствие теории революции в революционной доктрине XVIII века, безвыходная противоречивость формальных обосновании практики восстаний. 2 - Идеологические торможения в технике восстаний французской революции. 3 - Неспособность современной идеологии связать практику диктатуры с революцией. Представление о революции, как о быстро преходящем моменте, и о неприспособленности революционных методов к творческому воздействию на социальные отношения. 4 - Создание начатков теории революции (за счет нормативного учения о праве на восстание) при переходе к политике эгалитаризма.

1. - Необходимо-революционное происхождение революционной власти, тот признак без которого немислимо понятие диктатуры пролетариата, осталось наименее осознанным признаком якобинской диктатуры. В либеральную или юридическую концепцию общества понятие революции никак не укладывается, и каким парадоксом это ни кажется, но во всей революционной политической доктрине XVIII века теории революции обнаружить невозможно. На всех флангах философии просвещения часто мелькает это латинское слово, но всегда только в двух контекстах. Или революция, понимаемая достаточно конкретно, как народное восстание и политическое насилие выдвигается в роли жупела, в виде угрозы непросвещенным правителям: вот до чего может довести деспотический режим, ставящий искусственные преграды прогрессу просвещения. Или же революция, приобретая симпатии просветителей, расплывается в нечто крайне бесформенное, вроде “духовной революции”, внезапного возрождения народа, совершаемого, пожалуй, самим правителем, которым прозрел и осознал собственные “правильные понятия” интересы под влиянием “истинных принципов” философии. Если уж - что не вызывает сомнений - просветители могли быть республиканцами, оставаясь в то же время монархистами¹, то тем более нетрудно было быть революционерами, не имея теории революции.

Объективист проповедь правового государства и критика феодальных пережитков имели революционное значение. Но это нисколько не исключает того факта, что прогрессивные буржуа конца XVIII века чувствовали такой же органический страх перед народным движением и массовым насилием, как и их реакционные потомки конца XIX века. Научное объяснение этот бесспорный факт получает в том обстоятельстве, что капитализм к моменту революции вызревает в недрах феодального общества, и насущную задачу буржуазии - изменение политической надстройки - ей выгоднее выполнить ценою любого компромисса с абсолютизмом, чем в формах народной революции, которая неизбежно разрушает *свои*, уже капиталистические производительные силы. Утверждению современного меньшевизма о том, что только буржуазное общество рождается революционным путем, “чистая” же (т.е. буржуазная) демократия дает возможности для мирного перехода в коммунизм, можно противопоставить прямо противоположное утверждение: переход капитализма к коммунизму невозможен без пролетарской революции и диктатуры пролетариата, а переход от абсолютизма к демократии вполне возможен в формах эволюции, - что, впрочем, и доказывало неоднократно буржуазное развитие XIX в. Никаких творческих, строительных задач у революции. Капиталистической буржуазии нет, к народным же движениям она не может не чувствовать отвращения, - в этом и состоит объяснение того факта, что объективно-революционная доктрина буржуазии XVIII века обходилась без теории революции.

Гораздо интереснее, однако, что и в мелкобуржуазной доктрине, достаточно ясно от дифференцировавшейся от общего буржуазного корня, с теорией революции дело обстояло не лучше. Жан-Жак Руссо, которого справедливо противопоставляют либеральному просвещению, как “революционно-демократического” идеолога, и чье учение, действительно, таило в себе возможности конкретно-революционных выводов, сам отнюдь не сознавал необходимо-революционного пути для учреждения идеального государства общей воли и не был сторонником революционных средств. Кажется, даже злоупотребления абсолютизма не вызывали в нем большего негодования, чем перспектива гражданской войны.²

Словом, Робеспьер, человек достаточно знакомый с политической литературой своего времени, имел все основания, чтобы начать свой знаменитый доклад 25 декабря 1793 этими словами: “Теория революционного правительства так же нова, как и сама революция, его породившая; не стоит искать эту теорию в книгах политических писателей, которые такой революции не предвидели...”³

Тут нужно оговориться, что отсутствие теории революции в политической доктрине XVIII в. совсем не означает, что люди XVIII века не знали, что такое восстание, или никогда не сочувствовали восстаниям, или не решались на восстание идти. Напротив, революционные ситуации всегда и везде вызывали у угнетенных революционные настроения; нужно только заметить, что в XVIII в. эти настроения никак не связывались с идеологией, восстание никак не укладывалось в политическую доктрину. В самом деле, ведь даже просветители самого умеренного направления, как Вольтер, Грим, Даржансон, в припадке отчаяния от нарушений неотчуждаемых прав высказывали наихудшие пожелания существующему строю и злорадствовали, предвкушая будущий кавардак (“un bon tapage”, как выражался Вольтер).⁴ Все три последние царствования были наполнены классово-борьбой, которая изобилует драматическими моментами и вызывает брошюрную литературу, обсуждающую вопросы власти иногда в очень решительных тонах. Только движение фронды породило в 40-50 гг. XVII века до 5.000 подобных брошюр и листовок;⁵ в эти годы жила еще память о Лиге и монархмах, и как раз в эти годы на соседнем острове богобоязненные граждане рубили голову своему законному королю. После фронды Франция еще видела борьбу с янсенизмом и долгую и упорную оппозицию парламентского дворянства, вовлекавшего в свою орбиту иногда очень широкие слои буржуазии и интеллигенции.

Во всех этих движениях не принимали участия толщи трудового крестьянства. Зажатые комбинированным гнетом феодально-капиталистической эксплуатации, они были безгласны, безгласны от самых жакерий. Но если случайно они находили голос, эффект получался потрясающий. В 1729 году никому неведомый деревенский поп Жан Мелье, уходя из жизни, оставил большое политическое “завещание”, которое с опаской в небольших отрывках опубликовал Вольтер через двадцать семь лет, и которое полностью увидело свет только во второй половине XIX века. Это голос деревенского интеллигента-одиночки, голос исключительный во всей мировой истории по силе и напряженности ненависти, великолепной, животворящей ненависти ко всякому гнету и эксплуатации. Едва ли, однако, здесь может идти речь о “теории революции”. Просто крестьянский печальник и вконец измученный человек выражает очень искреннее желание (выражавшееся уже до него), “чтобы все знатные и великие мира сего были повешены и удушены поповскими кишками. Это выражение... хорошо определяет в немногих словах все, чего заслуживают люди этого рода”.⁶

Правда, последовательно-коммунистическая и народническая вера Жана Мелье освобождает его от многих “добавочных трудностей от идеологии”, характерных для всех революционеров его времени. Призывая к восстанию не только “нацию” против “правителей”, но угнетенный и эксплуатируемый “народ” против “великих, знатных и богатых мира сего”,⁷ он, во-первых, может не слишком заботиться об обосновании “законности” своего восстания, - его делает законным самый факт извечной эксплуатации трудового народа, - и во-вторых, может не бояться продолжения восстания в гражданской войне. Вот основная его истина, которой он поучает народы: “вы отягчены не только бременем ваших королей и правителей, которые являются первыми вашими тиранами, но еще всем дворянством, всей церковью, всем монашеством, всеми судейскими, всеми военными, всеми вымогателями из соляной и табачной охраны и, наконец, всеми бездельниками и бесполезными людьми на свете”.⁸

При общности имуществ всем тем, кто трудится, жилось бы одинаково хорошо, но сейчас “все труды лежат на вас и вам подобных, а все блага достаются другим, хотя они их меньше всего заслуживают”.⁹ Единственная возможность освободиться от такого гнета - революция. “Я хотел бы завтравить ульи истребить королей с одного конца королевства до другого или, вернее, с одного края земли до другого. Я закричал бы изо всех моих сил: вы безумны, о народы, вы безумны, потому что позволяете руководить собой такими образом и слепо верите таким глупостям!.. Я упрекнул бы их в трусости, потому что они так долго оставляют жить тиранов и не свергают полностью ненавистное иго их тиранического правительства”.¹⁰

Мелье призывает к восстанию, восстанию во что бы то ни стало, сила и непосредственность его революционного чувства не подлежат сомнению, но до теории революции этому очень далеко. Достаточно посмотреть, какие причины долгого господства угнетения он усматривает и какие конкретные средства указывает для его уничтожения. Короли держатся не только посредством насилия, но главным образом посредством попов, распространяющих в народе бессмысленные предрассудки. Борьбой с этими предрассудками Мелье и занят прежде всего, - им посвящено чуть ли не девять десятых обширного Завещания. Чтобы вызвать народ на восстание нужно обучить его “двум основным истинам: для того, чтобы совершенствоваться в искусствах, полезных для общества... нужно следовать только просвещению и здравому смыслу; чтобы установить хорошие законы, нужно следовать только правилам благоразумия и человеческой мудрости”.¹¹

Как обучить народ этим революционным истинам? Нужно “распространить повсюду насколько возможно искусно сочинения, подобные, например, этому”. Мелье призывает всех интеллигентов писать хотя бы перед смертью честные книги, - если они согласятся, “скоро увидят, как изменит мир вид и внешность”.¹² Жану Мелье уж очень не терпится увидеть поскорей мировую жакерию, он готов взывать не только к честным интеллигентам, и даже не только к “самоотверженным тираноубийцам” древности, но даже к самим явно неподготовленным народам. “Вы будете обездолжены и несчастны, вы и ваши потомки, если вы станете дальше терпеть власть земных королей и князей... Отбросьте же целиком все эти пустые и лживые обряды религий... Этого мало, старайтесь объединиться со всеми вам подобными, чтобы полностью свергнуть тираническое иго князей и королей, свергайте повсюду эти троны несправедливости и нечестия, разбейте все эти коронованные головы, разружьте чванство и пышность всех ваших тиранов и не допускайте, чтобы они когда бы то ни было и как бы то ни было царили над вами”.¹³

Какая пламенная и какая беспомощная революционная терминология! “Ваше спасение в ваших руках, народы, ваше освобождение зависит только от вас. Если вы сумеете сговориться между собой, то вы будете обладать всеми средствами и достаточной силой для того, чтобы вернуть себе свободу и превратить в рабов самих ваших тиранов” (!), у которых “все их богатство, вся их сила и могущество происходят только от вас. При этом! восставать нужно всем сразу, и значит, предварительно следует “отложить все частные споры и ссоры между собой и направить всю свою ненависть и все негодование против общего врага”. Отдельные группы восставшего народа будут разбиты. “Но так не будет, если все народы, все города и все провинции сговорятся и если они все вместе составят заговор для освобождения от общего рабства, в котором они находятся. Тогда они быстро приведут в замешательство и уничтожат тиранов. Объединяйтесь же народы, если вы мудры!”¹⁴

Увы, “народы” еще совсем не мудры, сам Мелье это знает. Его призывы к восстанию остаются гласом вопиющего в пустыне и меньше всего могут претендовать на звание *теории* революции. Для будущих французских революционеров они не смогут пригодиться хотя бы уж потому, что дело Мелье кончается как раз там, где дело Робеспьера только начинается. Проблемы продолжения восстания в революционной диктатуре для Мелье не существует. “Теории революционного правительства”, в которой именно и нуждается Комитет общественного спасения, он у Мелье все равно бы не обнаружил, если бы даже Завещание было к тому времени напечатано полностью. Мелье только знает, что не нужно “этого пышного, гордого и роскошного величия земных правителей и королей, чтобы хорошо править”. После восстания народы сами изберут в правителей простых, добрых людей. “Простые магистраты способны хорошо управлять народами, они способны установить хорошие законы и добрые правила”.¹⁵ Вот и все.

В заключение для правильной оценки “Завещания” Мелье следует еще прибавить, что это сочинение не только превосходит по силе революционного чувства все, что имелось подобного в освободительной литературе XVIII века, но как бы выпадает из нее, подчеркивая своей изолированностью свою случайность. В самом деле, обычно наиболее радикальные произведения этой литературы, представленные мелкой буржуазией, стоят на почве идеализма и деизма (материалистической философией грешит только буржуазный, т.е. либеральный, а не революционный фланг просвещения); Мелье последовательный материалист и отчаянный, воинствующий атеист. Левые представители просвещения это почти всегда “уравнители”, остерегающиеся отрицать самый принцип частной собственности; Мелье - решительный и бесстрашный коммунист. Вся политическая доктрина XVIII века целиком разделяет идеалистическое воззрение на общество, известное под именем теории естественного права, - в этой (и только в этой) форме и проявляется революционность буржуазии; Мелье дела нет до естественного права, он о нем, пожалуй, и не слышал, оно ему совсем и не требуется для самого главного, для обоснования революции.¹⁶ Завещание Мелье представляет собой исключительно интересный памятник революционных настроений своей эпохи, “о теории революции в нем, конечно, нет. Нам важно, впрочем, что наличие атмосферы революционных настроений в конце XVII, начале XVIII века Завещание устанавливает с бесспорностью.

В этой атмосфере воспитывались и просветители, она отчасти повлияла и на самих будущих революционеров. Человек, которому в истории 1789 - 1793 выпала выдающаяся роль и который среди якобинцев оказался самым крупным мастером революции, Жан-Поль Марат, опубликовал в 1774 трактат “Цепи рабства”, в котором много с границ посвящает тому, что можно назвать *тактикой* революции. На этом стоит остановиться подробнее.

Прежде всего для восстания надо найти подходящий момент, а это очень трудно. “Нет правительства, при котором народу не представлялось бы иногда случая возвратить свою свободу; народ почти всегда позволяет таким случаям ускользнуть, потому что их не замечает”. Народ, вообще, “никогда не предвидит бед, которые ему готовят”, он - “слепая толпа”, он “глупо удовлетворяется побрякушками” и “подобен малым ребятам”, он “иногда трусливее сражается за родину, чем наемники за деспота”.¹⁷ Поэтому первая и основная проблема восстания это руководство: “Если в эти моменты общего возбуждения не найдется какого-нибудь смельчака, который станет во главе недовольных и поднимет их против угнетателя, какого-нибудь выдающегося человека, покоряющего умы, мудреца, руководящего необузданной и колеблющейся толпой, - тогда вместо восстания получится только мятеж (*une sedition*) всегда легко поддающийся удушению и всегда безуспешный”. Без такого вождя операции повстанцев всегда оказываются “плохо организованными и особенно недостаточно секретными. В своей ярости или в припадке отчаяния народ грозит, разоблачает свои замыслы и дает врагам время их пресечь”. Но найти вождя - дело нелегкое: “стать во главе факции значит привлечь на себя все бури”, и мало ли история знает примеров, когда сами повстанцы, устрешенные тиранами, выдавали им своего вождя!¹⁸

Когда вождь и есть, не все условия для восстания еще готовы, “Пусть восстание уже решено, оно будет ни к чему, если оно не является общим” восстанием всей нации, а не одного города. Между тем, “хоть и объединенные против тирании, повстанцы не придерживаются все одинаковых взглядов: некоторые классы народа (!) имеют особые притязания; провинции, а иногда и города одной и той же провинции имеют по большей части разные интересы”. Вообще, “государство обычно разделено и это разделение является одним из главных ресурсов тирании”. Правитель иногда даже нарочно “образует в государстве партии, натравливает их друг против друга и становится их посредником, чтобы стать их господином”.¹⁹

Но вот восстание все-таки решено. Тогда “малейшее промедление губит отважное предприятие; если что-нибудь может привести его к успеху так это своевременность операции. Пропустите момент, который должен решить победу, и все погибло: врагу оставляют время прийти в себя, приготовиться к наносимому удару”. Вообще, “трудно себе представить, какую выгоду получает правительство от этого недостатка смелости в сопротивлении его несправедливостям и насколько важно для дела свободы не быть слишком терпеливым!”²⁰

Эта решительность должна только усилиться после начала восстания и особенно после его первых побед: Марат хорошо знает, что “даже в эти критические моменты правительственная партия сохраняет крупные преимущества перед партией свободы”. Во-первых, “народ, жестокий во время мира и дрожащий во время войны, приходит в замешательство и просит пощады, как только завидит неприятеля”, и понятно почему: “каких только недостатков не имеют восставшие граждане, управляемые неопытными руководителями, против дисциплинированных войск под начальством искусных офицеров!”²¹ Во-вторых, революционность народных масс недолговечна: “если всегда требуется много усилий, чтобы поднять народ, то иногда малого достаточно, чтобы его успокоить”. Правители этим пользуются, притворяются удрученными распрей, делают мирные предложения, отставляют особенно непопулярных министров, и - “народы ощущают новый прилив привязанности к правителю... оружие выпадает из их рук”. Это общий закон человеческой природы: “люди редко руководятся живым чувством своих прав, сражаются почти исключительно для того, чтобы освободиться от притеснений, и никогда не хотят дорогой ценой купить драгоценную выгоду быть свободными. Сколько раз их видели кладущими оружие после небольших усилий!.. Между тем правитель, всегда одушевленный желанием сохранить свое могущество, увеличить свою власть, дерется с замечательным упорством и защищается до последней крайности”.²²

В-третьих, надо помнить, что и полный разгром правительственной партии еще не означает утверждения свободы. Не говоря уже о том, что побежденные удваивают усилия, чтобы вернуть себе власть, и для этого развращают народ, сеют анархию и всячески стараются “внушить народу отвращение к пользованию своими правами”, но и в среде победителей могут начаться раздоры. “Все шли вместе против тирании, но как только поставлен вопрос о новой форме власти, единение исчезает... Все хорошо знают, от

чего они бегут; но не знают, чего ищут: одни хотят установить равенство сословий, другие хотят сохранить свои привилегии; эти хотят одного закона, те другого”, и т.д. Обычно кончается тем, что в результате раздоров новорожденная свобода уступает место или прежней тирании или какому-нибудь “смелому интригану”, в то время как масса нации покорно (*l'achement*) ожидает “нового господина, которому она должна предоставить свои приношения, свои прошения, свой пот и свою кровь”.²³ По-видимому, во избежание таких результатов, свобода должна и после своей победы утверждаться теми же методами, какими организовывалось ее восстание, может быть даже с той же диктатурой “крупной личности, покоряющей умы”.

Таким образом, тактика восстания оказывается целой наукой, правилами трудной и рискованной игры. Споры нет, что все эти мысли высказывавшиеся за пятнадцать лет до штурма Бастилии, очень интересны, но приходится опять подчеркнуть, что это - именно тактика восстаний, а не стратегия, как у нас иногда полагают.²⁴ На вопрос, когда надо организовать восстание, когда оно все равно неизбежно организуется и почему оно станет неизбежным, маратова наука ответить не сумеет, а в этом все и дело. Единственный мостик, который связывает это взыскиваемое восстание с общим политическим мировоззрением Марата, это - утверждение “права на сопротивление угнетению”. Это знаменитое “право” фигурирует в книгах почти всех просветителей, якобинцы включают его даже в свою Декларацию прав человека 1793, оно является *единственно* возможным в рамках буржуазного мировоззрения обоснованием революции, и однако оно не создает для этого мировоззрения *теории* революции.

Признание “права” на революцию не есть теория революции. Ниже в другой связи удобнее будет показать, какие превращения претерпело это “право” в процессе революции и как выработка действительно революционной теории происходила там не с помощью, а вопреки этому “праву”. Но что наличие этого “права” означает отсутствие теории революции в буржуазной политической доктрине, это легко продемонстрировать сейчас же на сопоставлении ее с действительно революционной доктриной современного пролетариата. Что такое теория пролетарской революции? Это - совокупность теоретических суждений о том, как производительные силы перерастают рамки капиталистических производственных отношений и создают необходимые объективные и субъективные предпосылки для обобществления средств производства; о том, почему процесс обобществления невозможен эволютивным путем и как на определенном этапе классовая борьба переходит в пролетарскую революцию и диктатуру пролетариата. А что такое теория революции в буржуазной политической доктрине? Это совокупность нормативных суждений о том, что разумно-нравственная природа человека предписывает ему подчиняться только тем законам, которые он сам проявлением своей свободной воли на себя налагает; что правомерен только тот политический союз, который таким волеизъявлением составляющих его индивидов создан и который не имеет других целей, кроме целей этих индивидов; и, наконец, что человек должен силой противостоять попыткам узурпации его прав, откуда бы они не исходили (в частности от неправомерного политического союза).

Во время французской революции появилось только одно теоретическое сочинение в духе, благоприятном для революции, - юношеское “Приношение” Фихте. Дать теорию революции для Фихте значит ответить на вопрос: “имеется ли вообще у народа право изменять свое государственное устройство?” На этот вопрос автор отвечает утвердительно, этому и посвящена вся его обширная работа. Французская революция оказывается “богатой иллюстрацией к великому тексту: прав человека и его ценности”. Этим революция *оправдана* и на этом ее теория и кончается.²⁵ Стоит только применить это мировоззрение к действительности и попробовать оперировать им в революционной обстановке, как сразу должна сказаться его несостоятельность. Оно окажется сцеплением безвыходных внутренних противоречий вследствие своего бесплодно-нормативного формализма, который заставит “оправдывать” каждое революционное восстание против власти его “законностью”, вместо того, чтобы законность самой власти обосновывать ее революционным происхождением. Собственно, недостаточность этой “теории” достаточно проявилась и раньше, чем она оказалась примененной на практике. Мысли Марата о тактике восстания очень интересны, но нельзя не заметить их узко технического характера. Проблема восстания для Марата это проблема организации массового движения революционным вождем, который не совсем уверен в своих массах и совсем не уверен в своих кадрах. О понимании классовой природы восстания у Марата речи быть не может. Только два раза, вскользь, в примечаниях он отмечает, что восстания в пользу свободы производят обычно “люди среднего состояния” или “плебс”, богачи “объявляются только в крайности, когда их увлекает поток”, а привилегированные, честолюбцы и, конечно, “академики-материалисты” (главный классовый враг для Марата) оказываются в правительственной партии.²⁶ Но в основном дело совсем не в классовом строении общества: с ним Марат если и сталкивается, то как мы видели, главным образом в той связи, что тираны нарочно сеют раздоры в среде нации для своих темных целей.²⁷ По существу же нация это нечто единое и цельное, и восстание это борьба нации против узурпаторского правительства.

Если такие представления не мешают Марату организовать восстание, то понять продолжение восстания в гражданской войне они ему никак не позволяют. О гражданской войне Марат, как и Руссо, подумать не может без отвращения. Примерно в те же годы, когда были изданы “Цепи рабства” (1774-5), Марат написал в подражание «Новой Элоизе» чувствительный эпистолярный роман, действие которого происходит в Польше во время конфедераций. Увы, вся оценка гражданских войн там сводится к одному положению героя: “огни раздора, которые со всех сторон раздувал завистливый рок, проникли и в наши семьи и рок оторвал от меня мою любовницу!”²⁸ Неважно, как следует по существу оценивать конфедерации. Важно, что Марат отнесся бы так же ко всякой гражданской войне, которая раздирает единую нацию, так что неизвестно почему “сын сражается против отца, брат против брата, друг против друга”.²⁹ Чего бы, кажется, лучше, если бы, “вместо того, чтобы раздирать друг друга, мы повернули наше оружие против наших общих врагов, заставили бы нас уважать, были бы в состоянии навязывать законы другим (!), вместо того чтобы быть обязанным постыдно получать их у себя!”³⁰

Тот же Марат, который в 1774 обучал восстаниям, и 1793 организовал восстание, и очень неплохо организовал. Но посмотрите, как он сам его *объяснял*, явившись утром 2 июня в совет повстанческой коммуны: “Когда народ, притом свободный народ, поручил свое благополучие и свои интересы властям, установленным им самим, этот народ должен бесприкословно полагаться на своих уполномоченных, уважать их декреты, не мешать им в их дискуссиях и блюсти их неприкосновенность при исполнении их обязанностей. Но если эти представители народа ему изменяют, если народ, находящийся в плачевном состоянии, замечает, что он обманулся в своем выборе или что те, кого он избирал, разложились; если, словом, национальное представительство подвергает опасности общественное дело, вместо того, чтобы его спасти, тогда, граждане, народ должен сам себя спасать, ему не на что больше надеяться, как на свою собственную энергию. Восстань же, народ-суверен” и т.д.³¹

Какое формалистическое убожество! Жирондисты по крайней мере с таким же основанием могут утверждать, что, наоборот, они то и представляют народ, что “якобы-революционное движение, приготовляемое и осуществляемое фракцией, целью имеет только роспуск Конвента, узурпацию его власти, ее разрушение и последующее сосредоточение в руках маленькой кучки лиц”.³² Жирондистские депутаты, ведь, искренно уверены, что они не разложились и что народ не ошибся в их выборе: “Как могу я самовольно сложить полномочия, которыми облек меня народ, - отвечает Барбару на предложение в заседании 2 июня о добровольной отставке, - как могу я поверить, что я подозрительный, если я получаю выражения доверия из моего департамента, из тридцати других и больше чем от сотни народных обществ!..”³³ В этом формализме источник неразрешимых противоречий революционного мировоззрения. Когда и против кого восстание “законно” и когда, наоборот, оно является “покушением на общественную свободу”? На этот вопрос разные социальные группы отвечают по-разному, - но прямо противоположные ответы дают, отправляясь из одной и той же посылки. Все согласны, что цель революции - установление “порядка свободы ограниченной законом”. “Без свободы законы суть не что иное, как насилие, которому имеют право сопротивляться. Без законов свобода - не что иное, как дикое состояние или, скорее состояние вечной войны между индивидами. Революционное движение должно быть остановлено, как только оно сокрушило узурпаторскую власть, иначе продолжение этого движения, разрушая покой и безопасность социального состояния, приводит его к тому же положению, в котором оно было при деспотическом режиме... Революционное движение несет в себе необходимость установления конституции”.³⁴ С этим все согласны и, однако, для решения конкретных вопросов революционной ситуации юридические абстракции “закона”, “свободы”, “конституции”, “права на сопротивление” оказываются настолько недостаточны, что там, где Робеспьер вспоминает, что “восстание является священнейшим долгом”, Ланжюине видит “преступление, которое закон признает подлежащим смертной казни, - набат начатый узурпаторской властью”.³⁵

Всякая партия, против которой готовится восстание, находит в формальной идеологии эпохи аргумент, позволяющий представить нападение на нее, как нападение на общий интерес: она действует в рамках конституции, которая установила свободу (т.е. закончила революцию), создав законодательное собрание, где народ решает свои дела.

Попытка представить формальную демократию панацеей от необходимости революции не изобретена нынешними меньшевиками: она делалась всеми партиями буржуазной революции. За несколько дней до свержения монархии Кондорсе (который, впрочем, через несколько дней сам признал это восстание законным) писал в своей газете: “Восстание является последним прибежищем угнетенных народов; оно является священным долгом, *когда для них не остается другого средства спасения* (курсив автора); но народ, который имеет представителей, оставшихся ему верными, и который через их посредство всегда может предлагать и даже определять спасительные меры, требуемые обстоятельствами, - сам стремится к гибели, если предпочитает этим способам действия, умеренным законом, такие средства, одна незаконность которых способна лишить их всякой плодотворности”.³⁶

Нет, революционеры с этим не согласны: они все-таки не настолько юристы, чтобы перестать быть революционерами. Когда жирондисты начинают с открытия Конвента атаку на повстанческую коммуну 10 августа, якобы за ее “незаконные аресты”, Робеспьер в заседании 5 ноября 1792 находит очень решительный аргумент в ее пользу. “Незаконные аресты! Так что же, с уголовным кодексом, что ли, в руках нужно оценивать спасительные меры предосторожности, которых требует общественное благо в периоды кризисов, вызванных именно бессилием законов? Что ж вы не упрекаете нас за разоружение подозрительных граждан?.. Потому что, ведь, все это - вещи равно незаконные, столь же незаконные) как и революция, как падение трона и Бастилии, столь же незаконные, как сама свобода (!)... Хотите ли вы, граждане, революции без революции?”³⁷

Не часто Робеспьер поднимается до такой ясности мысли, но всегда во всяком случае он найдет основания, оправдывающие внепарламентские методы действий. Конечно, законодательный корпус, например, Конвент, это и есть общая воля, но нельзя же не согласиться, что он... не всегда обязательно общая воля. Им могут завладеть представители частных интересов, говорит Робеспьер в последней своей речи 8 термидора, и тогда “они обвинят в деспотизме и в сопротивлении нации тех, кто будет бороться против их преступной лиги... Возмутится народ, - они назовут его фракцией”.³⁸ Ясно, что тогда народ может возмутиться законно, - его только следует отделить от Конвента. Марат в бурной дискуссии 25 сентября 1792 о диктатуре заявляет, что следует подчиняться законам, “когда они будут справедливы”; если же “установленные власти служат только для того, чтобы сковывать свободу”, “если вы возвыситесь над народом, народ разорвет ваши декреты”.³⁹

В дискуссии о судьбе короля 28 декабря 1792 Робеспьер наиболее выпукло противопоставляет революцию принципам формальной демократии на вопросе о воззвании к народу (о созыве первичных собраний для решения судьбы короля): “В этом мнимом воззвании к народу я вижу просто обжалование (un appel) того, что народ совершил... в то единственное время, когда он выражал свою собственную волю, т.е. во время восстания 10 августа, ко всем тайным врагам равенства” и т.д.⁴⁰ Если даже вес первичных собраний уступает революции, то объяснить законность восстания против Конвента уж совсем нетрудно. Скрывшись после предания его суду жирондистами, Марат 13 апреля 1793 пишет Конвенту, что он “не хочет, чтобы Конвент был распущен, а требует, чтобы он был очищен от предателей”.⁴¹ Повстанческая Коммуна 9 термидора объявляет, что она “восстала против новых заговорщиков”, в том же протоколе ее генерального совета Конвент именуется не иначе, как “pretendue convention nationale” с маленькой буквы, а в прокламации к народу значит, что “злодеи диктуют законы Конвенту, который они угнетают”; там же “гражданин Робеспьер-младший произносит речь, в которой объясняет, что он был арестован не национальным Конвентом, а негодяями, которые устраивают заговоры в продолжение пяти лет”;⁴² там же одни из триумвиров на вопрос, от чьего имени опубликовывать воззвание к народу, отвечает: “от имени Конвента, - он везде, где находимся мы”.⁴³

Таким образом, оставаясь на формальной почве, революционеры могут оправдать всякое свое выступление против установленных властей. Беда только в том, что, рассуждая точно так же, контрреволюционеры могли всегда по крайней мере с не меньшим успехом доказать обратное. Гюаде 18 мая, когда организацию движения для очистки Конвента уже невозможно было отрицать, имел полное право говорить о “восстании властей (т.е. представительства частных интересов) против Конвента” (т.е. воплощения народа),⁴⁴ лионские жирондистско-роялистские повстанцы могли, не слишком лицемеря, ссылаться после ареста 22 депутатов на ст. 25 конституции, “гласящую, что когда правительство нарушает права народа, восстание является священнейшим и необходимейшим долгом”;⁴⁵ вечером 9 термидора Лежандр мог призывать Конвент “не путать народ с коммуной Парижа, с советом, назначенным, быть может, заговорщиками”, и Барер 10 термидора мог представлять повстанческое движение, как “диктатуру и деспотизм во всем его безобразии: декреты Конвента задерживаются их приготовленным комplotом, тюрьмы, которые принимают этих страшных преступников, не могут их удержать, - генеральный совет коммуны присвоил себе более чем национальную власть, потому что он делает ничтожными ее декреты”.⁴⁶

Где выход из безнадежного формализма такой постановки вопроса? “Робеспьер жалуется, что угнетают патриотов; наоборот, это к нему применим такой упрек”, утверждает Вадье в заседании 9 термидора; “он говорит: такой-то и такой-то готовят заговор против меня, друга республики par excellence, значит, они в заговоре против республики. Это новая логика”.⁴⁷ На самом деле это старая логика: в течение всей революции все революционные партии оперируют этой формальной логикой, для понимания восстаний, действительно, совершенно недостаточной.

Когда - едва ли не единственный раз - жирондисты попробовали перенести вопрос в другую плоскость и потребовать материально-классового объяснения событий, партии мелкой буржуазии отвечать было нечего: до весны 1794 для материальной логики у нее не было еще социальных оснований. В замечательной речи 10 апреля 1793 Верньо говорил: “После уничтожения монархии я слышал много разговоров о революции. Я сказал себе: остались только две возможные революции, - революция в собственности или аграрный закон и революция, которая вернула бы нас к деспотизму. Я твердо решил противодействовать и той и другой. Если это значит быть умеренным, то мы все умеренные, потому что все мы голосовали за смертную казнь всякому гражданину, который предложил бы ту или другую”.⁴⁸ В выступлении Робеспьера 24 апреля 1793, которое явилось как бы ответом на эту речь Верньо, самая сбивчивость и конфузливость формулировок показывает, что автору трудно объяснить свою политическую позицию в рамках юридического формализма: “Несомненно, не нужно революции, чтобы поведать миру, что крайнее расхождение богатств является источником многих зол и многих преступлений, но мы не менее убеждены в том, что равенство имуществ является химерой”.⁴⁹ До весны 1794, - до тех пор, пока робеспьеристы не убедились, что “равенство имуществ” совсем не химера и не перешли к сознательно классовой социальной политике, - революционное мировоззрение, оставаясь у всех партий чисто формальным, путалось в безнадежных внутренних противоречиях как раз по коренному вопросу революции.

2. - Но этого мало. Никакая идеология, даже самая несовершенная, не помешает революционному классу при революционной ситуации пойти на восстание; но в самую технику восстаний несовершенная идеология привнесет ряд лишних побочных трудностей. К вящему посрамлению основной меньшевистской премудрости о том, что “революции не делаются, а происходят”, в великом буржуазном движении XVIII века только **восстание 14 июля 1789** может, куда ни шло, считаться “произошедшим”; все остальные перевороты, и в частности те три, в рамках которых движется история революционного правительства (10 августа 1792, 31 мая 1793, 27 июля 1794), не “происходили”, а сознательно и планомерно организовывались. Но во всех этих переворотах обнаруживаются все-таки такие моменты торможения, которые нельзя объяснить ни необходимостью лавирования, часто вынужденной даже в самом процессе восстания, ни агитационными приемами для привлечения колеблющихся социальных групп, ни вообще никакими соображениями сознательности и плановости; это как раз и были побочные трудности, вносимые в технику революции несовершенной идеологией.

В подготовке свержения монархии Законодательное собрание, к тому времени достаточно оседланное левой, косвенно участвует хотя бы тем, что ему не препятствует; однако, стоит ему только получить петицию от секции Моконсей, в которой признается “невозможным спасти свободу в рамках конституции”,⁵⁰ как революционность, вступающая в коллизию с законностью: петиция “аннулируется, как неконституционная” и Легислатива “приглашает всех граждан заключить их рвение в рамки закона”.⁵¹ Самое восстание организуется в коммуне, находящейся в руках жирондистов, соучастие которых в восстании несомненно.⁵²

Однако, генеральный совет коммуны непосредственно возглавить движение не может, ибо он - *autorite constituée*: приходится в зале, соседнем с его, создать повстанческий генеральный совет из комиссаров секций, специально на сей предмет избранных. Когда дело подходит к развязке, городской голова (тоже *constitué*), жирондист Петион, сначала ходит по секциям и отговаривает их от восстания, а потом отправляется во дворец по требованию короля представить доклад о положении в городе и получает "выражение его удовлетворения".⁵³ После этого он вечером 9 августа садится под домашний арест постановлением повстанческого совета, а также по личному желанию; там он и просиживает вплоть до благополучного разрешения событий. Нет ничего комичнее той серьезности, с которой описывал эти события и объяснял эту странную для революционного лидера позицию, через полгода сам Петион. "Хотя было предположено арестовать меня дома, - описывает он ночь с 9 на 10 августа, - об этом забыли, с исполнением медлили. Как вы думаете, кто посылал по много раз торопить исполнение этой меры? Да я же, я сам". Дело было не в личной трусости, по крайней мере не только в ней. "У меня было критическое положение, - продолжает Петион, - надо было исполнять свой долг гражданина (т.е. идти на восстание), не нарушая долга магистрата (т.е. охраняя существующий отрой). Следовало сохранить декорум (*tous les dehors*) и отнюдь не отклоняться от форм". И когда, наконец, его пришли арестовывать, "этот превосходный человек разыграл удивление", прибавляет Брэш, называющий всю эту историю "комической интермедией".⁵⁴

Комическую интермедию разыгрывал вовсе не один Петион. Одновременно с тем, как его приходили арестовывать, муниципальные чиновники рассыпаются по секциям и там отговаривают от восстания "предотвращая это, как отклонение от прав человека". Магистрат говорил все то, что он обязан говорить, прибавляет не без простосердечия один секционный протокол.⁵⁵ Одновременно вызванный для доклада в Палату законодательную синдикальный прокурор департамента Редерер докладывает, что, собственно, "восстание приготовлено" и секции решили начать его в полночь, "однако меры приняты (!), на площади Луи XV и Каррузель расставлены резервы (?)... одним словом можно надеяться, что на ноги поставлены силы, достаточные для того, чтобы воздействовать, может быть (!), на тех, кто вследствие ложного рвения или дурных намерений захотел бы нарушить общественное спокойствие."⁵⁶ В это время генеральный совет коммуны безропотно исполняет все распоряжения повстанческого совета и в частности вызывает для доклада роялистского начальника национальной гвардии генерала Манда; когда же секционные комиссары тут же его арестовывают (дело происходит за 4-5 часов до начала штурма),⁵⁷ *l'autorité constituée* не выдерживает, - генеральный совет "напоминает собранию комиссаров, что право личного задержания, даже по отношению к заведомо виновным, принадлежит только мировым судьям!"⁵⁸ Тяжелое положение разрешается, наконец, за 1-2 часа до штурма устранением генерального совета (который даже несколько упирается и пробует жаловаться законным инстанциям) на том основании, что он "никогда и ни в каких случаях не может действовать иначе, как по установленным формам".⁵⁹

В революции 31 мая-2 июня революционной идеологии приходится претерпеть еще горшие испытания, потому что здесь нападать приходится уже не на "исполнительную власть", давно потерявшую видимость воплощения закона, а на самое власть законодательную. Центр движения теперь уже очевидно и бесспорно находится в коммуне, которая представляет самые боевые группы парижской мелкой буржуазии и по политическим настроениям совершенно совпадает с секционным руководством. И однако до самого последнего момента по соображениям чисто "идеологическим" организационное руководство отделяется от руководства политического.⁶⁰ Непосредственная подготовка к восстанию начата по крайней мере с 20 мая в собрании председателей секционных революционных комитетов. На одно из этих собраний является мэр, - кордельер Паш, - и "дает почувствовать, как далеко от нас должна быть отброшена подобная идея".⁶¹ Подготовка, конечно, продолжается, создается повстанческий комитет, и уже 30 мая генеральный совет коммуны посылает делегацию в Епископство, где с вечера 29 заседают чрезвычайные комиссары секций, потому что "распространяются слухи, что там происходит собрание, могущее обеспокоить граждан".⁶² Когда делегация возвращается с выводами, что там, действительно, как будто готовят восстание, мэр "тщетно делает все возможные представления, чтобы убедить их отказаться от исполнения этих мер", а когда вечером начинает бить набат, он же шлет гражданам призыв к спокойствию.⁶³ Все это и так уже больше похоже на фарс, чем на подготовку восстания, но дальше декоративная сторона еще усиливается: операцию условлено провести по точным образцам 10 августа, вплоть до временного "ареста" мэра коммуны.⁶⁴ В половине седьмого утра появляется делегация комиссаров секций и ее оратор, Добсан, "объявляет, что муниципальные власти аннулированы. Прокурор коммуны (Шомет) отвечает, что... генеральный совет сдает свои полномочия народу-суверену. Все члены обоих советов (т.е. совет коммуны и делегация секций) поднимаются одновременно и клянутся никогда не отделять их интересов от интересов общественного дела..." Немедленно после этого Добсан (названный в отчете уже председателем) "объявляет от имени суверенного народа, что мэр, вице-председатель, прокурор коммуны и его заместители, и генеральный совет коммуны восстановлены суверенным народом в своих функциях... Начиная с этого момента генеральный совет коммуны носит титул революционного генерального совета".⁶⁵ Та же процедура аккуратно продельвается в департаментском управлении Парижа, только с некоторым сокращением: повстанческий комитет с одним и тем же курьером шлет ему два отношения, по одному департаментский совет отрешается от власти, а по другому восстанавливается в революционном качестве.⁶⁶ Никакого значения, кроме постановочного, все это иметь не могло, время же отнимало и внимание рассеивало.

И это еще хорошо, если дело ограничивалось только потерей времени, - потеря времени при организации восстания может, ведь, стать равносильной и гибели восстания. Политические отношения эбертисту Пашу в ночь на 31 мая понятны само собой. Но, как "законная власть", он не может принять в них участия раньше, чем они не облекутся в некоторые юридические формы. Народ имеет право объявить себя в состоянии восстания, по только "весь народ" или "большинство народа". Поэтому представители

повстанческого комитета в коммуне в ночь на 31 мая встречаются такой речью: “Поскольку народу принадлежит право назначения, постольку ему принадлежит и право смещения. Но это право, которое никто не станет оспаривать, принадлежит не отдельным лицам; его частичное осуществление не может иметь места, - оно требует реального, явного и законно полученного большинства. Если вы, граждане, имеете это большинство, если вы его докажете, мы тотчас сдадим вам свои полномочия, не имеющие больше силы”.⁶⁷ К обоюдному удовольствию эбертисты из Епископства могут доказать эбертистам из Ратуши, что они, действительно, народ: у них полномочия от 33 секций из 48. И Паш утром следующего дня в официальном докладе Конвенту тоже объяснял, как они узнали, что восстание было законным. Вернувшись из Комитета общественного спасения к коммуну, рассказывает он, “я нашел там комиссаров большинства парижских секций, которые объявили нам, что они уполномочены отстранить муниципалитет. Совет (коммуны) проверил полномочия комиссаров и, найдя их в порядке (!), покинул заседание”.⁶⁸

Значит, все дело в том, что полномочия комиссаров к счастью оказались, якобы, в порядке. Ну, а что, если бы они были “не в порядке”? За несколько дней до свержения жирондистов в Париже, якобинцы были свергнуты в Лионе, в чем не без вины оказались и фетишистские настроения руководства. Сами то лионские якобинцы как раз меньше всего грешили по этой части. Но на свою беду они вызвали себе на подмогу двух комиссаров альпийской армии, неких Ниюша и Готье, а эти господа “в критический час, когда нужно было подготовиться к неминуемому бою или предупредить его, покинув муниципалитет, все еще искали, на чьей стороне право и большинство, сколько секций одобрили департамент” и т.п.⁶⁹ Если о какой-нибудь революции можно сказать, что она была провалена из-за недостатков руководства, так это, конечно, о лионской 1793. Но возвратимся к более удачливым парижанам. В коммуне они соблюдали формы, проверяя законность “полномочий на восстание”. Что происходит дальше?

Дальше юридические тонкости начинают принимать некоторую видимость целесообразности, ибо место действия переносилось в самый Конвент и, в самом деле, было бесполезно произвести чистку “общей воли”, представив дело так, что она сама себя очистила; однако и здесь формальный момент утрируется во вред делу. Делегация, отправленная в Конвент коммуной и представителями секций с предложением “спасти общественное дело”, возвращается и сообщает, что председатель Конвента дал ей “неопределенный и уклончивый ответ” и что “большинство Конвента неспособно спасти общественное дело”. Естественный, казалось бы, вывод для повстанцев - принудить к этому Конвент силой, т.е. самим переарестовать жирондистов. Однако все подобные предложения коммуной отвергаются “с негодованием”. После повторения этого предложения в третий раз прокурор даже заявляет, что “если кто-нибудь осмелится еще раз возобновить его, он (прокурор) передаст его тому самому народу, который сейчас аплодирует, не зная, что аплодирует собственной гибели. Один член предлагает вывесить на дверях залы (!) формальное осуждение всякому предложению, направленному к умалению (a violer) национального представительства”. Предложение не проходит, но только потому, что “это осуждение находится в сердцах, и все парижские граждане и власти слишком проникнуты сознанием своего долга, чтобы была необходимость им его напоминать”.⁷⁰

Все упования повстанцев в коммуне возложены на решительные действия левой в Конвенте. С своей стороны мэром там еще 31-го утром докладывает, что он “дал нынешним утром приказ временному командующему собрать как можно больше резервов, чтобы... воспрепятствовать залпу тревоги”.⁷¹ В Конвенте же вечный примиритель Дантон и вечный перевертень Барер до самой последней минуты пытаются закончить дело компромиссом (например, “добровольной отставкой” наиболее скомпрометированных депутатов Жиронды или хоть упразднением жирондистской комиссии 12-ти), а левые, окончательно убедившиеся в “необходимости оперативного вмешательства, лезут вон из кожи, чтобы хоть доказать, что это жирондисты над ними, а не они над жирондистами, собираются производить операцию. Еще 27 мая процесс запугивания Конвента и срыва заседания со стороны монтаньяров сопровождается странным припевом с их же стороны: “Мы угнетены, следует сопротивляться угнетению. Все члены крайней левой одновременно поднимаются и повторяют: мы воспротивимся угнетению... Депутат Шаль (Chasle) кричит: «сопротивление угнетению относится к правам человека. Права человека предшествуют Конвенту»”.⁷²

Знаменитое заседание 31 мая наполнено бурной и по меньшей мере странной полемикой на тему: кто против кого затевает незаконное восстание? Одна из депутатий, требующая упразднения комиссии 12-ти, неосторожно мотивирует это заговорщическим характером ее работ. В ответе Гюаде на это заявление на стороне жирондистов очевидная истина: “Петиционеры говорили о крупном заговоре; они ошиблись только в одном слове, имению, вместо того, чтобы объявить, что они раскрыли заговор, они должны были бы сказать, что они хотели его осуществить”.⁷³ Трудно даже представить, как левая, - притом в лице столь ответственного революционера, как Кутон, - парирует этот выпад: “Гюаде сказал, что коммуна Парижа подготовляла восстание; где доказательство этого восстания? Говорить, что парижский народ в восстании - это значит оскорблять его. Если и есть какое то движение, так это ваша комиссия его подготовила” и т.п.⁷⁴ Все заседание проходит в прениях на весьма абстрактные темы, например, имеют ли право парижские секции “назначать комиссаров, чтобы обсуждать меры спасения республики”, когда имеется национальное представительство? Эту концепцию Гюаде Бурдон побивает дефиницией действий повстанческого комитета, как “мер, касающихся только Парижа”. Неверно, парирует Гюаде, секции выступают против конвентской комиссии 12-ти, а комиссия-то имеет общегосударственную компетенцию и т.д.⁷⁵

Жирондистам, убедившимся, что движение хотя и не законно, но очень сильно, остается только стараться выгадать как можно больше времени, - и вследствие общей привязанности к законным формам им это блестяще удается. Заседание 31 мая, после упразднения комиссии 12-ти и благодарности секциям, вотированного по предложению Верньо, кончается видимостью примирения. Хорошо еще, что теперь не

только Марат, но и Робеспьер убеждены, что устранения комиссии 12-ти недостаточно, а необходимы и “суровые меры” против ее членов и вдохновителей; иначе, восстание, бывшее совершенно необходимым предположением для дальнейшего развертывания революции, могло бы выродиться в вульгарную парламентскую сделку. Интересно, что и два следующие дня восстания монтаньяры еще пытаются взвалить ответственность за возобновление набата на жирондистов, когда же, после новых проволок и новых попыток решить тяжбу парламентским путем, эбертистский генерал Анрио переходит к недвусмысленной военной демонстрации, революционеры Барер и Дантон вопят о нарушении депутатской неприкосновенности и требуют предания суду Анрио.⁷⁶

В [перевороте 9 термидора](#) легко обнаружить те же “добавочные трудности от идеологии”. К этому времени, правда, на обоях лагеря сказало действие пяти революционных лет, разрушивших многие иллюзии, и особенно последнего года переоценки ценностей. С обеих сторон переворот организуется достаточно деловито, и в частности легенда о провале робеспьеристского движения из-за “легалитарной щепетильности” его лидера может считаться после исследования Альбера Матье⁷⁷ опровергнутой. И все-таки Барер, конечно, преувеличивал, когда в вечернем заседании Конвента рисовал действия коммуны, как “заговор, который ковался с такой широтой, с таким искусством и хладнокровием, каких не знали никогда Пизистраты и Катилины”.⁷⁸ Чего стоит хотя бы выжидательная позиция Робеспьера до самого объявления его вне закона, основанная на наивном предположении, что Тальены и [Фуше](#) отправят его судиться в революционный трибунал, руководимый робеспьеристами Дюма и Эрманом!⁷⁹ Чего стоит магическое действие слов “вне закона” на толпу, которая бросается бежать с трибун коммуны, как только туда приходит известие об этом решительном выражении “общей воли”!⁸⁰ В заключение, однако, стоит снова подчеркнуть отнюдь не решающее значение этих идеологических влияний на технику восстаний 1792-94. Ни в свержении монархии, ни в изгнании жирондистов юридическое мировоззрение не могло помешать благополучному завершению событий, и если робеспьеристское движение 9 термидора кончилось неудачей, то совсем не по причинам идеологического порядка.

3. - Недостаточность революционной теории в буржуазной революции вплоть до самой весны 1794 гораздо острее и серьезнее сказывалась в другом. Вплоть до попытки мелкой буржуазии перейти к революционному переустройству экономических отношений все революционные партии сходились на том, что революция кончается на восстании, что в общественной жизни революции являются фактом ненормальным, которому как можно скорее должен быть положен предел установлением конституции. Все они больше всего на свете боялись гражданской войны, раздирающей единую и цельную нацию и никто из них не догадывается о возможности продолжения революционного восстания в революционной политике, потому что никто не видит для революции иных задач, кроме задач разрушения. Именно поэтому ни одна из партий до весны 1794 не может осмыслить и оправдать существования диктатуры, как *революционной диктатуры*, вне и независимо от фронтовой обстановки.

Революция - это переворот, революция кончается в перевороте. Разные социальные группы к разным историческим датам относят это благополучное завершение революции, но в правильности самой идеи все уверены одинаково, - фейяны ее выражают только с большим удовольствием и поэтому с большей ясностью, чем монтаньяры. По свидетельству Бертран-де-Мольвиля на собрании бретонских депутатов перед открытием генеральных штатов “было постановлено... избежать революции, если это будет возможно”.⁸¹ Первый регламент якобинского клуба, составленный Барнавом и принятый 8 февраля 1790, гласит, что “цель общества - установить между благонамеренными гражданами единство желаний, принципов и поведения, которое завершит наиболее быстро и мирно счастливую революцию”.⁸² За день до своего роспуска, 29 сентября 1791, Конституанта, пытаясь разогнать народные общества, предпосылает декрету целую теорию революции в замечательном докладе Лешапелле: “Пока длилась революция, этот порядок вещей (с клубами) был почти всегда больше полезен, чем вреден. Когда нация меняет форму своего правления, каждый гражданин становится магистратом... и все, что ускоряет революцию, должно быть использовано; это - временное возбуждение, которое следует поддерживать и даже усиливать, чтобы революция... достигла как можно скорее своей цели. Но когда революция кончилась, когда установлена конституция государства... тогда следует, чтобы для спасения этой конституции все снова пришло в совершеннейший порядок”. “Все присягали конституции, все зывают к порядку и общественному миру, все хотят, чтобы революция кончилась: отныне вот недвусмысленные признаки патриотизма. Время разрушений прошло: больше нет злоупотреблений, которые нужно было бы низвергнуть, ни предрассудков, с которыми нужно было бы сражаться; отныне следует только приукрашивать (*embellir*) это здание, краеугольными камнями которого являются свобода и равенство, надо заставить полюбить новый порядок даже и тех, кто проявил себя его врагом”.⁸³

Жирондисты повторяют точно то же рассуждение после свержения монархии. Лидер их Бриссо в памфлете против якобинцев, написанном 24 октября 1792 после его исключения из якобинского клуба, определяет “дезорганизаторов”, как людей, которые “хотят не конституции, но революций, т.е. периодических грабежей и убийств”. Сам [Бриссо](#) согласен, пожалуй, еще на одно восстание, но уже только на контрреволюционное. “Три революции были необходимы, чтобы спасти Францию: первая свергла деспотизм; вторая уничтожила монархию; третья должна покончить с анархией”.⁸⁴ Подразумевается 14 июля 1789, 10 августа 1792 ...и 31 мая 1793, только наоборот. Чем ближе к этой последней дате, Тем осторожнее жирондистам приходится намекать на необходимость “третьей революции”; но тем упорнее настаивают они на недопустимости каких бы то ни было насильственных мер после завоевания демократии.

“Анархия должна прекратиться, - провозглашает 24 декабря 1792 Барер (тогда еще близкий к жирондистам), - теперь нечего больше разрушать. Трон низвергнут, остается только национальная власть...”⁸⁵ Умеренные члены Конвента, говорит Верньо 13 марта 1793, “считали революцию законченной с того момента, как Франция конституировалась в республику. С тех пор они полагали, что следует остановить революционное движение, дать народу покой и быстро выработать законы, необходимые для придания ему длительности”. Между тем, до сих пор продолжает существовать какой-то революционный комитет. “Революционный комитет рядом с национальным Конвентом! Но... какую же революцию хочет он произвести? Деспотизма больше не существует, значит он хочет разрушить свободу; нет больше тирана, значит он хочет низвергнуть национальное представительство”.⁸⁶

Робеспьер еще 10 марта 1793 имеет столь неопределенные представления о революции, что даже у жирондистского Конвента требует организации “деятельного правительства”, “без этого вы будете идти все время от революций к революциям и приведете, наконец, республику к гибели”.⁸⁷ После восстания 31 мая революция во всяком случае должна прекратиться. Самую необходимость этого последнего восстания Сен-Жюст в докладе о жирондистах 9 июля 1793 мотивировал тем, что они “по всей видимости хотели достигнуть отрешения короля, не компрометируя монархии, т.е. хотели скорее революции в династии, чем в форме правления”.⁸⁸ Теперь единственная мыслимая революция, символически выражаясь, это принятие демократической конституции. “День, когда вы ее установите, - объявляет [Эро-де-Сешель](#) в докладе 10 июня, - будет днем революции для Франции, для Европы”.⁸⁹ Революционное же движение следует “немедленно прекратить, потому, что, как записывает Робеспьер после 31 мая, “нынешняя война смертельна в то время, как общество (le corps politique) больно революцией и разделением волей”.⁹⁰ Коллекция окажется полной, если присоединить сюда еще эбертистов. “То, что произошло сегодня, - говорит Шомет вечером 5 сентября 1793 после решительной победы парижской бедноты над Конвентом, - есть революция, она обернулась к выгоде народа. Революция мне представляется оконченной; она действительно окончена”.⁹¹

Самый тщательный анализ не может обнаружить признаков понимания революции, как длительного процесса, до весны 1791. Чисто случайными являются два, напоминающие нечто подобное, высказывания в якобинском клубе. В разгар дехристианизации, 6 ноября 1793 Леонар Бурдон предлагает считать, что “наша революция кончится в тот момент, когда мы убедим народ, что все это (поповщина) - только предрассудки”,⁹² и в торжественном заседании 21 января 1794 Феликс Лепельтье предлагает, “чтобы общество поклялось не распускаться, пока не будут свергнуты все тираны”.⁹³ Никаких выводов из обоих предложений не последовало: второе было прямо отвергнуто, как неделовое, а дехристианизаторскую революцию Бурдону пришлось закончить даже раньше, чем он надеялся, но совсем в другом смысле.⁹⁴

Как можно было говорить о теории революции, если люди, даже умевшие идти на восстание, так и не преоборолели отвращения к его продолжению в гражданской войне! Интересно, что не только 31 мая-2 июня монтаньяры, как главным обвинением, оперируют утверждением, что жирондисты своим упорством “сознательно организовали гражданскую войну”,⁹⁵ но и организующая восстание 9 термидора коммуна “отправляет в исполнительный комитет какого-то бесчестного индивида, который вел разговоры, способные зажечь гражданскую войну”.⁹⁶ Какая может быть речь о революционной теории, пока никто не догадывался о творческих, строительных возможностях революции! В циркуляре Комитета общественного спасения департаментским директориям 25 декабря 1793 самое лишение их характера революционного органа объяснялось их хозяйственными функциями: “эти эдильские функции, в некотором роде функции порядка, чисто отеческой и мирной администрации были бы поколеблены и затруднены, если бы вам было поручено наблюдение революционных законов. Эти две функции взаимно отталкиваются, расходятся и несовместимы по существу. Гений революционных законов заключается в том, чтобы действовать без задержек” и т.д.⁹⁷

Не то, чтобы робеспьеристы до весны 1794 никогда не хотели творчески воздействовать на существующие социальные отношения и не то, чтобы они никогда не думали воспользоваться для этого революционной ситуацией, но революционные методы воздействия им представлялись для этого неподходящими. В этом смысле нет ничего характернее “плана национального воспитания”, представленного Робеспьером Конвенту 13 июля 1793 (т.е. в тот период, когда, покончив с жирондистами, монтаньяры думали сами вести благонамеренную буржуазную политику). Общественное воспитание по Робеспьеру должно служить орудием широкого социального преобразования. “Уменьшить нужды бедняков, уменьшить избытки богатств вот цель, к которой должны стремиться все наши учреждения. Но нужно, чтобы справедливость, как и благоразумие руководили нашим движением. Подвигаться вперед можно только шаг за шагом; всякое порывистое движение неприемлемо: собственность священна...” Все это означает, что должно быть введено всеобщее обучение, и издержки должны ложиться “главным образом” на богатей, - “вот вся теория”. Так исчезнет и нищета и крайние богатства, исчезнут “без кризиса и без конвульсий”. “Революции, которые проходили в течение трех лет, сделали все для других классов граждан, и почти ничего еще для класса, быть может самого необходимого, для граждан-пролетариев, единственная собственность которых - их труд”. “Здесь (т.е. в реформе воспитания) заключена революция бедняка.. но революция нежная (douce) и мирная, революция, которая осуществляется не тревожа собственности и не оскорбляя справедливости”.⁹⁸ Другими словами, возможности насильственных мер, - т.е. возможности революции, - весьма ограничены: для социальных преобразований годится самое большее “духовная революция” - “нежная и мирная”. Этого взгляда придерживается и будущий автор вантозских декретов. “Вообще порядок не рождается из движений, которые вынуждает сила, - говорит Сен-Жюст в заседании 24 апреля 1793; - упорядочено только то, что полагается само собой и подчиняется собственной гармонии. Сила должна только удалять все постороннее этой гармонии”.⁹⁹

Как было с точки зрения такой теории объяснить длительное существование колоссальной машины политического насилия, именуемой революционным правительством! Как было не обнаружить вдруг в декабре 1793 бывшему "генеральному прокурору фонаря" Демулёну вопиющего противоречия в собственном мировоззрении! Мои критики полагают, писал он в № 4 Le Vieux Cordelier, что "все оправдано одной этой фразой: хорошо известно, что нынешнее состояние не есть состояние свободы; но терпение, в один прекрасный день вы будете свободны... Напротив, природа свободы такова, что ее достаточно пожелать для того, чтобы ею воспользоваться. Народ становится свободным с того момента, как он захочет стать таковым, он вступил в полное обладание своими правами с 14 июля (1789)".¹⁰⁰ Поистине, трудно было с точки зрения современного мировоззрения опровергать эту концепцию, авторство которой, как цинично признавался сам же Демулён, принадлежало Лафайету.

4. - Было бы неосторожно утверждать, что весной 1794 робеспьеристы полностью создали теорию революции и, в частности, увязали политику диктатуры с революционным волюнтаризмом. Но подшлифовали эту несомненно полную. Самая постанова вантозских декретов прежде всего означала, что не всякая собственность священна и что методами политического насилия можно (и должно) добиться ее переустройства. Достаточно всмотреться в исходные формулировки докладов Сен-Жюста. "Произошла революция в правлении; она не проникла еще в гражданское состояние. Правительство покоится на свободе, гражданское состояние на аристократии";¹⁰¹ "вся мудрость правительства состоит в том, чтобы свести на нет партию, противную революции и сделать народ счастливым за счет всех пороков и всех врагов Свободы; средство укрепить революцию - это повернуть ее в пользу тех, кто ее поддерживает, и к разрушению тех, кто ее поражает";¹⁰² "мы видим только одно средство остановить зло, это - перевести, наконец, революцию в гражданское состояние"¹⁰³; "образуйте гражданские учреждения, учреждения, о которых до сих пор еще не думали; без них невозможна длительная свобода: они поддерживают... дух Революции даже когда революция прошла".¹⁰⁴

Робеспьер, который, как будто, еще в декабре 1793 открыл теорию революции, начинает доклад 5 февраля 1794 снова с утверждения, что революция до сих пор не имела теории. Противоречие легко объяснимо. В то время, как еще в декабре Робеспьеру казалось достаточным оправдать революционное правительство от обвинений в анархичности и доказать его временную необходимость, теперь создать теорию революции для него означает "ясно наметить цель революции, которой мы хотим достигнуть"; эта цель - эгалитаризм и его политическое устройство - "результат духа революционного правительства, комбинированного с общими принципами демократии".¹⁰⁵ Тот же мотив определяет и последнюю речь Робеспьера, 8 термидора. "Революции, которые до нас меняли внешность государств, имели целью только перемену династии или переход власти от одного ко многим" Французская революция первая имеет более высокое назначение, "она одна обязывает к добродетели" В этом - все оправдание революции и диктатуры? Они таят в себе "ту возвышенную и священнейшую любовь к человечеству, без которой какая-нибудь большая революция есть только явное преступление, разрушающее другое преступление; оно существует, это благородное честолюбие основать на земле первую республику в мире!"¹⁰⁶ Решение "основать на земле первую республику в мире" и знаменовало собой рождение революционной теории, ибо оно совпадало с признанием возможности революционного переустройства общественных отношений

Интересно, как выработка этой материально классово-теоретической теории революции отразилась на судьбе той теории формально-юридической, с которой монтаньяры начинали объяснение революционной практики. "Право на сопротивление угнетению", прокламировавшееся в XVIII веке, было радикальным (и теоретически неудачным) разрешением той неразрешимой проблемы, над которой буржуазные юристы ломают голову и по сей час в той системе гарантий, которую представляет собой конституционное право, как создать последнюю гарантию - против носителей верховной власти? Никто не был заинтересован в разрешении этой проблемы так остро, как идеологи именно мелкой буржуазии, которая подозрительно относится ко всякой власти и как бы исходит из молчаливого признания, что ей самой никогда государством владеть не придется Руссо и Фихте, конституция 1793 и два к ней проекта указывают два возможных решения: трибунал - верховный орган контроля, независимый от законодательной и исполнительной власти, облеченный правом вето и инициативой референдума, - и "право на сопротивление угнетению". Первое решение, если даже не признавать его порочным в себе, всегда может оказаться недостаточным, это признают все последовательно мыслящие политики и с тем большим основанием им приходится упираться на второе решение. Нигде не говорится столько о сопротивлении угнетению, как в проекте декларации прав Робеспьера. Невинное пожелание проекта Кондорсе, чтобы свободные правительства регламентировали конституцией "способ сопротивления разнообразным актам угнетения" (ст.32), вызывает гневный рипост в проекте Робеспьера: "подчинить легальным формам сопротивление угнетению означает последнюю утонченность тирании" (ст.29).

Создание революционной теории весной 1794 совпадает с осознанием мелкой буржуазией своей классово-теоретической природы и с переходом ее к самостоятельной политике, и, - так же, как это было с государством общей воли Руссо, - теория права на сопротивление претерпевает существенное превращение. С весны 1794 о ней продолжают говорить много, но явно в новом духе: если государство совпало с народом, если цель революционного правительства - учреждение добродетели, о каком же еще восстании может идти речь? "Восстание является гарантией народов, которая не может быть ни запрещена, ни видоизменена, - говорит Сен-Жюст 13 марта 1794, - но правительства также должны иметь свою гарантию: она находится в справедливости и добродетели народа". Речь идет, конечно, не о всяких правительствах, а только о представляющих народ: "Когда устанавливается свободное правительство, оно должно сохранять себя всеми справедливыми средствами; оно может законно применять много энергии, оно должно разбить все, что противится общественному благополучию". И это, конечно, не абстрактные умствования, почерпнутые у

Руссо, а практические максимы текущей политики. Теперь правит народ. “Народ это не тиран, и если вы хотите выступать против нынешнего порядка вещей так, как народ выступал против тирании, то вы негодяи, которых нужно разоблачить”. “Нельзя, чтобы мятежник, продающий свою страну, мог сопротивляться справедливости, говоря, что он сопротивляется угнетению”, нельзя допустить, чтобы “мошенник, которого осудил революционный трибунал, говорил, что хочет сопротивляться угнетению, потому что он хочет сопротивляться эшафоту”.¹⁰⁷ Практический вывод делается немедленно: по докладу Сен-Жюста декретируется, что “сопротивление революционному и республиканскому правительству, центром которого является Конвент, есть покушение на общественную свободу”, караемое смертью.¹⁰⁸ Так якобинская диктатура, только изживши буржуазно-юридическую нормативную теорию революции, смогла додуматься до теории продолжения восстания в переустройстве общественных отношений, до “перевода революции в гражданские отношения”, чем и дала революционное обоснование своему существованию.

1 И даже “можно почти сказать без парадокса, что чем больше были революционерами, тем больше были монархистами” - *Aulard, L'idee republicaine et democratique avant 1789; La Revolution francaise, 1898, p.12; срв.А.Mathiez, Le club des Cordeliers pendant la crise de Varennes, 1910, pp.36-7, 38.*

2 Все высказывания о революции, которые у Руссо можно найти, сводятся или к утверждению о неизбежности восстаний в условиях деспотизма, или к категорическому осуждению гражданской войны. Вот едва ли не полный список таких высказываний (цит.по первому бесцензурному изданию - *Oeuvres completes 1788-93, tt.1-36* кроме особо указанных) *Discours sur l'origine et les fondements de l'inegalite, t.VII, pp.10-11; Discours sur l'economique politique, t.VII, p.291; Jugement sur la polysynodie de l'abbé de Saint-Pierre, t.VII, p.460-1; Contrat social, t.VIII, p.187; Considerations sur le gouvernement du Pologne.t.VIII, pp.271, 294, 312, 446, 452; Lettres ecrites de la Montagne, t.IX.p.427; Confessions, t.XXIII, p.453, t.XXV.p.85; Fragments des Institutions politiques, Oeuvres inedites publiees par Streckeisen-Moultou, 1861, p.250; Les versions primitives du Contrat social ed.par E.Dreyfus-Brisac, 1896, p.281.*

3 *Moniteur du 7 nivose, № 97; t.XIX.p.51.*

4 Негустые” коллекции подобных высказываний см.у *В.Герье, Идея народовластия и французская революция, 1901, сс.105-7 и F.Roquain, L'Esprit revolutionnaire avant la Revolution, 1878, pp.245, 252, 264*

5 Значительная их часть имеется в Москве, в библиотеке ИМЭ, IX 4440.

6 *Jean Meslier, Le Testament, Amsterdam 1864, t.I, p.19.*

7 *Ibid., t.II, 180; ср.t.III, p.392.*

8 *Ibid., t.II, p.223.*

9 *Ibid., p.234.*

10 *Ibid., t.III, pp.372-3.*

11 *Ibid., t.I, p.27.*

12 *Ibid., t.III.pp.382, 389, 394.*

13 *Ibid., p.377.*

14 *Ibid., pp.381-2, 385.*

15 *Ibid., p.379.*

16 Срв.*В.П.Волгин, Революционный коммунист XVIII века - Жан Мелье и его Завещание, 1919, сс.31, 35, 43, 52-3, 62, 67.*

17 *J.-P.Marât, Les chaines de l'esclavage, ouvrage destine a developper les noirs attentats des princes contre les peuples etc., Paris 1833, pp.217, 142, 211, 204, 205.*

18 *Ibid., p.195.*

19 *Ibid., pp.197, 200, 126.*

20 *Ibid., pp.203, 150.*

21 *Ibid., pp.203-4, 197, 205.*

22 *Ibid., pp.196, 211, 204, 206.*

23 *Ibid., pp.126, 208, 210.*

24 Так ставится вопрос в брошюре Ц.Фридлянда - брошюре, впрочем, весьма интересной и ценной - *Ж.-П.Марат до Великой французской революции, 1926, сс.36, 50.*

25 *J-G.Fichte, Beitrag zur Berichtigung der Urteile des Publicums uber die franzosische Revolution; Werke, Bd.VI, SS.39,50.*

26 *Les chaines de l'esclavage, pp.195, 198.*

27 *Ibid., pp.126, 198.*

28 *J.-P.Marât, Un roman de coeur.Les aventures du jeune comte Potowski, Paris 1848, I, p.196; срв.там же 209, 215, 231, 256-7; II, 6, 40, 175, 183.*

29 *Ibid., I, p.256; почти буквальное повторение оценки Руссо в Confessions, 1.V; Oeuvres 1793, t.XXIII, p.453.*

30 *Ibid., p.231.*

- 31 *Mortimer-Ternaux*, Histoire de la Terreur, 1869, t.VII, p.370.
- 32 Из письма Жансоннэ Конвенту после ареста; *ibid.*, p.55.
- 33 *Ibid.*, p.401.
- 34 Речь Жана Дебри 24 декабря 1792 в Конвенте; *Moniteur du 25 decembre* № 360, t.XIV, p.824.
- 35 Заседание 2 июня 1793; *Moniteur du 4 juin*, № 155, t.XVI, p.547.
- 36 Цит. у *Mortimer-Ternaux*, Histoire de la Terreur, 1862, t.II, p.177.
- 37 *Moniteur du 6 novembre 1792*, № 311; t.XIV, p.392.
- 38 *Buchez et Roux*, t.XXXIV, p.442.
- 39 *Moniteur du 27 septembre 1792*, № 271; t.XIV, p.49.
- 40 *Moniteur du 30 decembre 1792*, № 365; t.XIV, p.877.
- 41 *Moniteur du 16 avril*, № 106; t.XVI, p.144.
- 42 *Buchez et Roux*, t.XXXIV, pp.48, 47, 55, 52.
- 43 По Бюше, это ответ Сен Жюста (t.XXXIV, p.41); но обычно у историков так отвечает Робеспьер, а у Барту Кутон (*Le Neuf Thermidor*, 1926, p.116); возможно что все это, вообще, апокриф.
- 44 *Moniteur du 20 mai 1793*; № 140; t.XVI, p.422.
- 45 *Buchez et Roux*, t.XXVII, p.499-500.
- 46 *Moniteur du 12 thermidor*, № 312; t.XXI, p.338, 345-6.
- 47 *Moniteur du 11 Thermidor*, № 311; t.XXI, p.334-5.
- 48 *Moniteur du 14 avril 1793*, № 104; t.XVI, p.117.
- 49 *Moniteur du 25 avril*, № 115; t.XVI, p.213.
- 50 *Mortimer-Ternaux*, Histoire de la Terreur, t.II, p.174.
- 51 *Ibid.*, p.179.
- 52 *Braesch*, La Commune du Dix aout, 1911, p.392-3.
- 53 *Ibid.*, pp.177, 182.
- 54 *Ibid.*, p.191.
- 55 *Ibid.*, pp.203, 216
- 56 *Mortimer-Ternaux*, *op.cit.*, t.II, p.209; ср.позднейшую собственноручную запись, P.-L.Roederer, *Chronique de cinquante jours*, 1832, p.342.
- 57 *Braesch*, *op.cit.*, pp.228, 231.
- 58 *Mortimer Ternaux*, *op.cit.*, t.II, p.211.
- 59 *Braesch*, pp.229, 338; ср.*Ph.Sagnac*, La revolution du 10 aout, 1909.p.167.
- 60 *Mortimer-Ternaux*, *op.cit.*, t.VII, p.307.
- 61 *Ibid.*, pp.256, 269.
- 62 *Moniteur du 1 juin 1793*, № 152; t.XVI, p.517.
- 63 *Ibidem*, p.517.
- 64 *Mortimer-Ternaux*, t.VII, pp.314-15, 324; *Wallon*, La revolution du 31 mai et le federialisme en 1793 ou la France vaincue par la commune de Paris, 1886.t.I, p.272.
- 65 *Moniteur*, t.XVI, p.517.
- 66 *Mortimer-Ternaux*, t.VII, p.319-20.
- 67 *Ibid*, p.316.
- 68 *Monitenr*, t.XVI, p.523.
- 69 *C.Riffateire*, Le mouvement antijacobin et antiparisien a Lyon en 1793 etc., t.I, p.80.
- 70 *Moniteui*, t.XVI.p.518.
- 71 *Ib.*, p.518.
- 72 *Moniteur du 29 mai*; t.XVI, p.492.
- 73 *Moniteur du 2 juin*, № 153; t.XVI, p.530.
- 74 *Ib.*, p.531.
- 75 *Ib.*, p.530.
- 76 *Ib.*, pp.392, 399.
- 77 См.*Autour de Robespierre*, 1925, pp.226, 229.
- 78 *Moniteur du 12 thermidor*, № 312; t.XXI, p.340.
- 79 Версия того же Матье, - *Autour de Robespierre*, p.217-19.
- 80 *A.Thiers*, *op.cit.*, II, p.107; *L.Barthou*, Le Neuf Theimidor, 1926, p.115.

- 81 Memoires particuliers sur le regne de Louis XVI, t.I, p.44.
- 82 La Societe des Jacobins.Recueil de documents par F.A.Aulard, 1889.t.I, p.XXIX.
- 83 Moniteur du 2 octobre 1791, № 275; t.X, p.8.
- 84 Цит.у J.W.Zinkeisen, Der Jakobiner-Klub.Ein Beitrag zur Geschichte der Parteien und der politischen Sitten im Revolutions-Zeitalter, 1853, T.II.SS.554, 555.
- 85 Moniteur du 25 decembre 1792, № 360; t.XIV, p.827.
- 86 Moniteur du 16 mars, № 75; t.XV, p.703; см.его же выступления 10 апреле и 8 мая 1793, ib.XVI, pp.117-18, 344
- 87 Moniteur du 12 mars №71, t.XV, p.615.
- 88 Moniteur du 18 juillet, № 199; t.XVII, p.148
- 89 Moniteur du 13 juin 1793, №164, t.XVI, p.616.
- 90 *Buchez et Roux*, t.XXX, p.126.
- 91 *Buchez et Roux*, t.XXIX, p.50.
- 92 Societe des Jacobins, t.V, p.498,
- 93 Ibidem, p.617.
- 94 В качестве чистых курьезов можно отметить два случая превращения восстания в длительный процесс. В заседании коммуны 10 марта 1793 "секция Сите объявляет совету, что она провозгласила себя в состоянии *непрерывного восстания* (insurrection permanente). Так как Генеральный совет показался удивленным выражением *восстание*, члены делегации были приглашены объяснить по этому поводу; они ответили, что под непрерывным восстанием секция понимала непрерывность заседаний, на которых граждане присутствуют с оружием (permanence armee). Удовлетворенный этим толкованием, совет приглашает, однако, секцию Сите устранить это слово, поддающееся толкованию совершенно противоположному тому, которое она дает" (Moniteur du 13 mars, № 72; t.XV, p.679). О другом случае рассказывает особая делегация якобинского клуба 23 октября 1793. Они ходатайствовали в Комитете общей безопасности за одного арестованного патриота, в это время туда вломился его друзья по секции и "они были так возбуждены, что Комитет усмотрел в этом шумном движении возможность того, что граждане спутали восстание с революционным режимом и думают воздействовать числом". Комитет немедленно сократил делегацию до 10 человек и так разъяснил все различие между "восстаниями" и "революционным режимом" (Societe des Jacobins, t.V, p.475).
- 95 Moniteur du 1 juin 1793, № 152, du 4 juin № 156; t.XVI, pp.523, 551-2.
- 96 *Buchez et Roux*, t.XXXIV, p.54.
- 97 Recueil des actes du Comite de salut public, t.IX, p.171.
- 98 Moniteur du 17 juillet № 93, № 198; t.XVII, p.136.
- 99 Moniteur du 25 avril, № 115; t.XVI, p.214.
- 100 Oeuvres de C.Desmoulins, 1874, t.II, p.181-2.
- 101 Доклад 26 февраля; Moniteur du 9 ventose Pan II, № 159; t.XIX, p.569-
- 102 Доклад 3 марта; ibid., p.611.
- 103 Доклад 13 марта; ibid., p.686.
- 104 Доклад 15 апреля; ibid., t.XX, p.224.
- 105 Moniteur du 19 pluviose l'an II, № 139; t.XIX, p.401-2.
- 106 Цит.по *Buchez et Roux*, t.XXXIII, pp.406, 419
- 107 Доклад Сен-Жюста 13 марта, Monoteur du 24 ventoze, № 174; t.XIX, pp.686-8.
- 108 Ibid., p.692.

Яков Владимирович СТАРОСЕЛЬСКИЙ

ПРОБЛЕМЫ ЯКОБИНСКОЙ ДИКТАТУРЫ

По изданию: Л., 1930

Веб-публикация: [Eleonore](#), [Ната Мишлетистка](#), Лусиль, Э.Пашковский, А.Алексеева, И.Стешенко *Vive Liberta* и Век Просвещения ©

Начало публикации здесь: http://vive-liberta.narod.ru/biblio/starsl_jc_1.htm

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. МАССОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

1 - Превращение избирательных округов и местных административных учреждений в политические органы народной диктатуры. Коммуны и секции, их исполнительные органы. Вооруженная сила секций: национальная гвардия, "революционная армия". 2 - Процесс классового перерождения массовых организаций, их революционная акция. 3 - Якобинская диктатура, как совокупность революционных коммун. 4 - Проблема централизации массового революционного движения. Комиссары, национальные агенты, их недостаточность. 5 - Продолжение. Попытки прямого народоправства и тенденция к созданию общенациональной власти из массовых организаций в обход парламента. 6 - Продолжение. Причины, способствовавшие такой тенденции. 7 - Характер новой государственной организации, существовавшей, как тенденция, в якобинской диктатуре. 8 - Следствия организационной незавершенности массового движения: затяжной характер двоевластия, устранение его ценой ликвидации массовых организаций.

1. - История массовых организаций, - почти целиком покрывающая историю якобинской диктатуры, - это история стихийного возникновения из революционных восстаний органов народной акции, история приспособления ими к нуждам революции демократических форм местной власти и автономизма, история разрыва этих форм и перерастания их в новое, материально-демократическое качество, которое не получило естественного завершения вследствие внутренней порочности и ограниченности мелкобуржуазной диктатуры.

Когда для выборов в Генеральные штаты Париж разделили на 60 избирательных округов (дистриктов), в замыслы авторов избирательного закона отнюдь не входило предоставление революционным низам столицы возможностей массовой самоорганизации: собравшись для выборов магистратов и проголосовав их, "активные" (т.е. цензовые) граждане должны были немедленно разойтись и вернуться к домашним делам, предоставив попечение об общественном деле вновь выбранным магистратам. К этому времени, однако, состояние революционного кипения в Париже достигло такой точки, что массовое движение, использовав выборные собрания, как опорную точку, сразу захлестнуло все юридические формы: выбравши магистратов, дистрикты продолжали перманентные заседания, узурпируя не только коммунальное хозяйство, но и высокую государственную политику.

Вот в чем была с мая страшная угроза для буржуазии, которую в недобрый час толкнули на путь революции! Массы граждан в общественной жизни должны участвовать назначением своих представителей, и если мыслима еще децентрализация коммунальных функций, то во всяком случае нельзя допускать перерастания местной власти во власть политическую, - такова формально-демократическая (или либеральная) доктрина в ее чистом виде, таков был смысл знаменитого закона о муниципалитетах 21 мая-27 июня 1790. Закон этот, бывший по тому времени максимальным проявлением формального демократизма и оставшийся легальным титулом массового движения до самого декабря 1793, сводился прежде всего к тому, что отменял перманентность народных собраний: [Париж делится на 48 секций](#), которые "могут быть рассматриваемы только как отделения коммуны" и общие собрания которых не могут решать никаких вопросов, кроме как относящихся к голосованию кандидатов (ст.ст.7,11,19). Но свобода собраний является неотъемлемой принадлежностью правового государства, и массовая организация, ранее пользовавшаяся для своего существования ст.2 Декларации прав, теперь могла воспользоваться ст.20 муниципального закона: при условии предварительного извещения муниципальных властей активные граждане "мирно и без оружия" имеют право собираться на "частные собрания" - "для составления адресов и петиций".

Интересно, что к концу 1789 попавшая в "революционное" положение буржуазия Конституанты была уже так напугана революционным движением, что 1 декабря чуть было не приняла по предложению своего конституционного комитета еще более скромной редакции одной из "свобод": на частные собрания активные граждане могут собираться в числе не более 30-ти, а секции "после производства выборов не могут ни продолжать собрания, ни собираться снова в качестве коммуны (en corps de commune) без специального созыва, предписанного генеральным советом коммуны и подтвержденного управлением департамента".¹ И интересно, что 3 мая 1790 против упразднения перманентности дистриктов протестовала не только крайняя левая Конституанты, в лице Робеспьера, но и правые, которые на массовом движении думали взять реванш.

Контрвозражение Мирабо сводилось к тому, что секции могут стать центром “действий и противодействий, способных разрушить нашу конституцию”.² Эта формула осталась классическим выражением либерального противодействия развязыванию народного движения. Каждая новая контрреволюционная волна в течение 1790-92 приносила прежде всего ограничения для деятельности коммун и секций, и всегда мотивировка оставалась прежней. В феврале 1791 некий П. (Peuchet) писал в полуофициозной газете: “То, что произвела анархия дистриктов, вскоре возродится при режиме секций, если, перейдя границы своих полномочий, они будут решать дела, в то время, как по закону им присвоены только избирательные функции”; нет никакого резона “образовывать в столице столько административных советов, сведя муниципалитет к роли простого бюро для регистрации их решений”.³ Тотчас после движения весны 1791 Конституанта дополняет 18 мая муниципальный закон следующей статьей: “собрания коммун могут быть созданы (*ordonnees, provoques et autorises*) только для вопросов чисто муниципального управления; всякий иной созыв и обсуждение должны быть рассматриваемы как ничтожные и неконституционные”. Созыв общих собраний коммун и их заседания обставляются рядом формальностей и, окончив заседание они “обязаны разойтись немедленно”. Перед роспуском Конституанты Лешапелье в уже цитированном докладе 29 сентября 1791 соглашался, что “в свободной стране” граждане могут “мирно собираться” для обсуждения общественных дел; “но рядом с этим общим интересом... стоят максимы публичного порядка и принципы представительного правления. Не может быть властей кроме тех, которые установлены волей народа, выраженной через его представителей; нет власти кроме той, которая делегирована им... не может быть действия никого, кроме его (народа) уполномоченных, облеченных общественными функциями”.⁴ Уже при Легислативе тот же Пеше в Монитере от 18 октября 1791, снова возвращаясь к анархизму секций, напоминает, что по мысли Учредительного собрания секции были органом “неспособным осуществлять никакой власти, кроме выбора представителей и отправления мелких функций местной полиции”.⁵ Никакие ссылки на законные титулы не могли остановить естественного развития низовых организаций: буржуазной революции суждено было стать народной резолюцией, а это предопределило тот естественный результат, что массовые организации не только не остались избирательным корпусом, но не остались и “местной властью”, а переросли в решающую *политическую* силу. Этот процесс, в сельских местностях проходивший в трансформации коммун, в городских центрах проявлялся на развитии секций. В политическом обиходе французской революции под словом коммуна подразумевался не орган городского самоуправления, не генеральный совет муниципалитета, а самый город, “совокупность его обитателей”.⁶ Если в малонаселенных местечках понятия коммуны и ее муниципалитета политически могли почти всегда совпадать, то в больших местностях дело было другое. В процессе революционного развития выборный орган коммуны иногда быстро переставал соответствовать интересам самой коммуны, - в Париже в течение 1789-91 нападки на “муниципальный деспотизм” со стороны демократов слышались, пожалуй, не реже, чем на “сенаториальный деспотизм” (т.е. на Учредительное собрание).⁷ И вот тогда истинным выражением самой коммуны оказывались ее секции (или дистрикты). В тот период, когда Конституанта подготавливала упразднение перманентных парижских дистриктов, Камилл Демулен, протестуя против этой меры, утверждал даже, что под тремя взаимоуравновешивающими властями следует подразумевать Национальное собрание, муниципалитеты - и дистрикты, как орган народного вето против законодательной и исполнительной властей. Лустало тогда же писал: “Вот уже коммуна стала ничем, а муниципалитет всем, т.е. правление у нас аристократическое, а не демократическое, не народное”; пытаются утверждать, что “враги общественного блага хотят поднять дистрикты против коммуны. Но ведь дистрикты это и есть коммуна, а представители это только муниципалитет. Какое пагубное злоупотребление словами!”⁸ Таким образом, если в больших городах коммуны не всегда оказывались органом массового движения, то всегда им были секции, учреждения, всегда непосредственно организующие массу. В больших городах в момент муниципального разделения на секцию приходилось от 900 до 3300 активных граждан, в Марселе секций было 32, в Лионе 36, в Париже, насчитывавшем от 500 до 550 тысяч жителей, их было 489. Это нечто среднее между районным муниципалитетом и квартальным избирательным округом, по закону ближе ко второму, а в действительности много ближе к первому. В Париже секции, на своих плечах и вынесшие всю революцию, меньше всего проявили себя в своем по закону основном качестве - избирательных округов. “Первичных собраний” (специально предназначенных для выборов) максимально тщательное исследование обнаруживает за период с 13 ноября 1791 до 11 февраля 1794 всего с 50, да и то чуть не девять десятых из них было повторных, т.е. посвященных тому же предмету при новом кворуме, перебаллотировках и т.п. И - факт, долженствующий всячески поражать юридически мыслящего историка - абсентеизм на них был страшнейший как раз в период наибольшего подъема революционной волны: средний процент участвующих в выборах - 10, зимой 1792 он доходит до 5; так, Эбер в своей *секции* проходит 56 голосами, Шомет 53.¹⁰ Дело, конечно, объясняется просто: к этому времени кордельеры уже *фактически* сидели в коммуне, выдвинутые туда восстанием 10 августа и последующей революционной акцией повстанческого центрального комитета.

Важнее то, что первичные собрания секций сразу же приняли “смешанный характер”: проголосовавши каких-нибудь кандидатов, они продолжали заседать, обсуждая вопросы текущей политики. Таким образом, от первичных собраний отпочковалось - “случайно”, т.е. без законного титула - новое учреждение, именовавшееся просто общим собранием и скоро ставшее суверенной властью секции. Институт общих собраний не только удержался в полосу реакции 1790-91, умело маневрируя и маскируясь по нужде невинными титулами “частных собраний”, “патриотических собраний” и т.п., но и добился официального признания, как только жирондистская буржуазия пошла на разрыв с абсолютизмом. Декретом 11 июля 1792, объявившим отечество в опасности, Легислатива переводила все “установленные власти” на состояние перманентности, и хотя общие собрания секций совсем не были *corps constitues*, но всем было ясно, что декрет предусматривает их в первую очередь; 25 июля декрет и официально был распространен на них, только подтвердив давно уже существовавший факт. Теперь общие собрания начинаются без особого созыва и заседают обычно ежедневно, с 5-6 до 11 часов вечера при любом кворуме, - в этом и состоит перманентность.¹¹

Два нововведения в течение того же июля окончательно решают судьбу секций в смысле превращения их в орган революционной диктатуры. С 1 июля все заседания административных властей постановлением Законодательного собрания должны быть публичны, - и хоры древних церквей, где заседают секционные собрания, немедленно заполняются санкюлотами. Демократы в партере получают сверху весьма могущественную поддержку для проведения реформы, которая является первейшей и необходимейшей предпосылкой развертывания народной революции. Постоянно раздававшиеся в секциях с 22 октября 1789 требования всеобщего голосования, упразднения ценза, отмены деления граждан на активных и пассивных, получают теперь осуществление явочным порядком: 25 июля такое предложение вносит на обсуждение всех секций секция Лувра, 27 июля выносит решение не признавать больше деления граждан на активных и пассивных секция Французского театра, за ними, конкурируя в радикальности формулировок, следуют все остальные, и в день отрешения короля Легислатива дает законную санкцию последнему выводу формальной демократии.

С этих пор революция становится триумфальным шествием низовых организаций. Парижские секции не только в периоды кризисов оказываются решающей силой, ведущей революции, организующей оборону, накладывающей руку на официальное представительство революции, они то и представляют всю повседневную революционную работу, ее творческие будни, в них и сосредоточена народная энергия. Возникшие вместе с ними гражданские комитеты забирают к рукам продовольствие и функции неполитического характера. Со времени развертывания террористической борьбы они, отодвигаясь по-видимому на второй план, остаются средоточием многочисленных им подчиненных или от них отпочковывающихся органов народной политики.¹² Секции перегружены исполнительными органами: они выделили военный комитет, совет военной дисциплины, комиссию по розыску селитры, комиссии, ведающие превращением садов в огороды (d'agriculture), они присвоили себе комитеты благотворительности, управление полицией и мировым судом, они выделяют Комиссаров по борьбе со спекуляцией и т.д.

На время все эти функции заслонены делом борьбы с контрреволюцией. Повстанческая коммуна 10 августа выделяет из своей среды центральный "наблюдательный комитет", который учреждает свои отделения при секциях. События февраля-марта 1793 приводят к замене этих комиссий коммуны (которые, впрочем, все время не прекращали деятельности) самостоятельными розыскными органами секций, которые уже с 13 марта в обиходе именуется революционными комитетами. Конвент на их примере только лишней раз показал, как делается революция: декрет 21 марта мог лишь "узаконить" уже существующее положение. По декрету, "наблюдательные" комитеты, учрежденные на время непосредственной военной опасности при всех коммунах и секциях коммун, могут арестовывать только "подозрительных иностранцев"; с 16 мая регистрируются случаи арестов ими и подозрительных аборигенов¹³, и дальнейшее обострение классовой борьбы могло приводить только к усилению их полномочий. Напрасно жирондистский Конвент декретом 26 мая запрещает "секционным комитетам" именоваться революционными, напрасно ставит рогатки их объединениям и стесняет формальностями их аресты; напрасно и монтаньяры осенью 1793 хотят сократить их самостоятельность. С 26 сентября по 18 октября продолжаются непрерывные жалобы на деятельность комитетов в Конвенте и якобинском клубе.¹⁴ Но формальная проверка розыскной деятельности после закона 17 сентября о подозрительных все равно невозможна, и декрет 18 октября об обязательной регистрации мотивов ареста благополучно отменяется 24 октября, а фундамент "государственного значения" под деятельность местного розыска подведен самим же Конвентом: декретами 5 сентября и 8 ноября члены революционных комитетов превращаются в состоящих на жаловании государственных служащих и тогда же (с 5 сентября) государственное значение секционных собраний подтверждается оплатой присутствия на их заседаниях два раза в неделю по 40 су.

Одно весьма существенное обстоятельство определило, почему секции Парижа, превратившись в орудие самоорганизации масс, могли стать политической силой, довлеющей над всеми "законными властями": все парижские санкюлоты вооружены, секции монопольно распоряжаются в столице солидной вооруженной силой. Этим обстоятельством был наперед решен вопрос о будущей физиономии "верховой власти" революции, Конвента. Мирные провинциальные буржуа и их адвокаты, собиравшиеся в качестве суверена со всех концов Франции в город революционных восстаний, сразу оказывались там "à la merci" у энергичных секционных вожаков.

Всем было одинаково известно, что парижские секционеры обладают достаточными и внеконкурентными возможностями, чтобы навязать свою волю любой государственной организации. С первых же заседаний Конвента жирондисты ставят этот вопрос и в течение первых месяцев вся фракционная борьба в Конвенте сводится к вопросу о создании национальному представительству (т.е. жирондистскому большинству) независимой от парижских властей вооруженной силы. Жирондисты требуют организации "департаментской охраны", пропорционально набранной по губерниям. Монтаньяры этому противятся и, собственно говоря, напрасно. Революционный Париж видал уже попытки наводнить его чуждой и враждебной вооруженной силой из провинции и мог их не бояться. Провинциальные добровольцы, обычно вполне добропорядочные по своему социальному составу и первоначально весьма умеренные по своим политическим настроениям, попавши в Париж, быстро "разлагались якобинским влиянием". Так было с марсельскими батальонами, которые прибыли в Париж к празднику федерации 14 июля 1792 и "задержались" до 10 августа; роль их в свержении монархии хорошо известна. Так было и с многими добровольческими отрядами, которые жирондисты начали стягивать в Париж под разными предлогами с конца 1792. Явившись, такой отряд начинал обычно с адресов против "анархистов" и за Конвент. После очередной такой демонстрации в январе 1793 жирондистский Конвент даже декретирует, что "находящиеся в Париже федераты департаментов будут нести службу при нем совместно с национальной гвардией этого города"; об организации этой службы поручается Главному комитету обороны представить проект декрета на следующий день.¹⁵ Но на следующий день никакого проекта не поступает, еще через три дня устраивается

совместное празднество федератов с парижанами, и “пусть Бюзо идет теперь разыскивать своих людей, смешавшихся в отплясывании карманьолы среди 48 парижских секций!” Еще через десять дней их новый адрес 27 января показывает, что “превращение закончено полностью: они стали якобинцами”.¹⁶

Для того, чтобы так воздействовать не только на Конвент, но и на его возможных защитников, требовалось, чтобы парижские вооруженные силы были, действительно, вооруженным народом, военной силой санкюлотских секций. Это произошло совсем не сразу. Происхождение революционной “национальной гвардии” Парижа было так же “случайно” и так же мало революционно, как и происхождение всей секционной организации. Парижскую национальную гвардию самочинно создала в июльские дни 1789 буржуазия, притом, пожалуй, не столько для защиты Учредительного собрания от феодальной реакции, сколько для защиты “порядка” от народных волнений.¹⁷ Легализованная после победы феианского влияния, национальная гвардия постепенно превращается в орудие откровенно-буржуазной политики. В ее состав сначала допускаются, а потом (в конце сессии Учредительного собрания и после бойни на Марсовом поле) обязательно включаются только активные граждане, т.е. буржуа, способные сами приобретать оружие и амуницию. Эта национальная гвардия сама выбирает из своей среды командный состав, имеет особую форму и, хоть и не отрывает своих участников от их обычных занятий, все-таки имеет тенденцию к обособлению в особую военную касту. Вернее, в такой национальной гвардии и находит свое выражение факт обособления привилегированной касты активных граждан.

Национальная гвардия в течение всего первого периода революции держится правее секций в Париже и, обычно, даже в провинции, где секции захвачены буржуазией.¹⁸ Она находится в Париже в распоряжении феианского муниципалитета и независима от секционной организации. Разделенная на 60 батальонов по числу парижских дистриктов, она остается с той же организацией и после замены дистриктов 48 секциями, у нее самостоятельный штаб и с начала 1792 секции не перестают жаловаться на “это чудовищно замешанное и скомбинированное отделение”.¹⁹ При Конституанте эта национальная гвардия выступает постоянно, как охранительная сила, подавляя народные “беспорядки”, организуемые в секциях. При Легислативе непрерывно растет давление демократизирующихся секций на эту полу-постороннюю и полу-враждебную им силу, и наконец, события 10 августа 1792, закончив процесс формальной демократизации секций, возвращают им и вооруженную силу.

Объявление “отечества в опасности” вынуждает Легислативу, еще до введения всеобщего избирательного права, предписать под давлением секций 1 августа муниципалитетам “распределить пики между всеми невооруженными гражданами, даже пассивными”. Может быть ни в одной из массовых организаций французской революции не проявлялся так наглядно процесс классового перерождения, как в национальной гвардии: с августа 1792 “осуществлен союз между мелкими хозяйчиками торговли и промышленности, и менее обеспеченными гражданами”, объявление отечества в опасности “смешало пики санкюлотов с ружьями собственников”, отныне “масса мелких буржуа усилена массой рабочих, вооруженных только пиками”.²⁰ Победа 10 августа быстро ликвидирует остатки буржуазной кастовости в организации национальной гвардии. Немедленно упраздняются привилегированные и контрреволюционные роты гренадеров, егерей и т.п., - теперь все граждане равноправные пехотинцы; упраздняется независимый от секций штаб и должность постоянного командующего; 60 батальонов заменяются 48-ю и службу артиллерийских парков несут поочередно все секции.

Процесс формальной демократизации национальной гвардии теперь закончен, но скоро и этого окажется недостаточно. Еще в октябре 1793 якобинцы продолжают по старой памяти выражать удовлетворение, что у них не классовая, а “гражданская” гвардия. “Бессмысленные советники пьемонтского короля, - приводит референт коммуны в иностранной хронике, - только что позаимствовали для Турина институт *гражданской гвардии*. Они тоже образовали гвардию, но такую, которая всегда останется только *буржуазной* (курсивы подлинника)”.²¹ Но фактически уже задолго до октября 1793 у якобинцев национальная гвардия превратилась - и не могла не превратиться - в совсем не надклассовую организацию. Сразу после свержения монархии повстанческая коммуна разоружила всех “граждан”, подозрительных по части своих республиканских чувств, - т.е. как раз всю крупную буржуазию и ее лакеев, составлявших контрреволюционные специальные батальоны. Процесс очищения национальной гвардии от буржуазных элементов непрерывно и все усиливаясь шел и дальше. Как могла национальная гвардия оставаться “смешением пик санкюлотов с ружьями собственников”, когда к осени 1793 пики санкюлотов были уже явно остриями направлены против буржуазных собственников!

В течение 1793 буржуазия непрерывно вытеснялась из рядов национальной гвардии, но возможности такого вытеснения оставались все-таки ограниченными рамками формальной демократии, и это должно было приводить часто к существенным затруднениям. Извольте, в самом деле, проводить общепарижское восстание против жирондистского Конвента, имея в качестве вооруженной силы рядом с честными санкюлотами заведомо симпатизирующих жирондистам собственников! Реакционеры совсем не без основания обвиняли эбертистского генерала Анрио, руководившего восстанием 2 июня 1793, в коварнейшем нарушении правил формальной демократии при проведении этой операции. “Можно было подумать, что весь Париж вооружился против нас, - рассказывал после Термидора правый депутат Конвента Мейан, описывая этот день; - на самом деле не было ничего подобного. Из этих 80000 людей (национальных гвардейцев, которых привел Анрио) 75000 толком не знали, почему их заставили взяться за оружие. Далекое от того, чтоб на нас нападать, они, наоборот, защищали бы нас. Но Анрио расположил их в отдалении, вне возможности помочь нам. Непосредственно он нас окружил своим отборным войском, которое только и было введено в пристройки дворца. Он отделил его от массы парижан с одной стороны разведением моста, а с другой стороны деревянной оградой, которая отделяла площадь Каррузель от дворцового двора. Эта диспозиция имела два неизбежных последствия: во-первых, придала предприятию 4-5 тысяч бандитов видимость общего движения всего народа, и во-вторых, нейтрализовала этот самый народ, не дав ему выступить против такого предприятия”.²²

Утверждения контрреволюционера, конечно, нуждаются в некоторой цифровой поправке; но по существу они производят впечатление полной вероятности. Описание событий 2 июня 1793, данное Мейаном, по всей вероятности совпадает с положением, имевшим место в действительности. Если контрреволюционеры имеют основание усматривать в этом положении нарушение формально-демократических принципов, то революционеры имели основание усматривать в нем много политических неудобств. “Вооруженный народ”, включавший в себя “всех граждан”, не был той военной силой, в которой нуждалась власть, проводившая народную политику.

Сюда еще нужно прибавить, что как раз к тому времени, когда революция решительно перешла на мелкобуржуазные рельсы и якобинской диктатуре особенно понадобилась классово-надежная вооруженная сила внутри страны, большие города были уже настолько истощены наборами в линейные и добровольческие войска, что для национальной гвардии почти не оставалось достаточных и, главное, социально-ценных контингентов. В Париже секции образуют по столько рот национальной гвардии, сколько сотен жителей они насчитывают. Секция Финистер с 1.200 активных должна поставить 12 рот, пишет 14 июля 1793 ее революционный комитет Комитету общественного спасения; “но она настолько истощена наборами как в линейные войска, так и в добровольческие, что в наличии остается только 942 человека в возрасте от 18 до 40 лет, из которых некоторые не могут носить оружия по нездоровью или как общественные служащие. Из этих 942 были еще взяты контингенты секции против Вандеи. Теперь наши 12 рот пополняются лицами старше сорока лет”.²³ В Лионе 29 мая 1793 самая победа жирондистской буржуазии при достаточно безучастном отношении к контрреволюционному бунту со стороны рабочих, объяснялась отчасти “быть может многочисленными наборами, которые уменьшили в Лионе число молодых рабочих, т. е. наиболее революционный элемент”.²⁴

Силою обстоятельств якобинская диктатура была вынуждена к созданию какой-то иной внутренней вооруженной силы, помимо национальной гвардии, а отчасти и против нее. Этой силой и стала знаменитая “революционная армия”.

Не следует думать, что идеей революционной армии всегда и везде с самого же начала была идея “продотрядов”, “заградилочек”. Осенью 1793-4 было уже ясно, что основная задача революционной армии - “осуществление силой продовольственных законов, остававшихся до сих пор почти мертвой буквой”.²⁵ Но проекты такой армии в разных местах начали возникать еще с весны и ставились ей задачи более широкие и весьма разнообразные. Все эти задачи, во всяком случае, сводились всегда к одной общей: организовать для внутренних нужд постоянную и оплачиваемую чисто классовую, санкюлотскую по составу вооруженную силу, нечто вроде “красной гвардии” рядом с “гражданской гвардией”. Очень характерно, что идея революционной армии раньше всего возникала в тех местах, где раньше и острее проявлялась классовая борьба, как борьба мелкобуржуазно-пролетарского “санкюлотства” против капиталистической буржуазии, - в Лионе проекты такой организации начинают мелькать уже в марте 1793, и Париж их после только копирует.

С начала мая лионская революционная армия начинает уже комплектоваться; при этом сразу же среди причин ее организации указываются и две чисто экономические: борьба с безработицей и проведение будущих законов о максимуме. “Вы можете принять только одно решение, - пишет Шалье в обращении к рабочим, - это взяться за оружие; если вы откажетесь сражаться сегодня, завтра вас задушит голод, вас, ваших жен, ваших детей... Кроме того, вы, ведь, требовали декрета, который фиксировал бы цены на продукты продовольствия (подразумеваются лионские петиции Конвенту 13 января и 25 марта 1793); разве вы не знаете, что принудить бунтарей к исполнению этого спасительного закона можно только с оружием в руках?”²⁶

Но, вообще говоря, идея лионской революционной армии много шире. Лионские якобинцы не могут положиться на национальную гвардию, потому что “рабочие заняты добыванием куска хлеба и многие из них не имеют оружия или имеют только пики, а буржуа индифферентны или подозрительны”, регулярные войска не постоянно имеют достаточные гарнизоны и независимы от гражданских властей, - “якобинцам необходимо любой ценой получить постоянную и надежную гвардию; ею и должна быть революционная армия”.²⁷ Она будет набрана “исключительно из наибольших патриотов”, указанных революционными комитетами, в ней должно быть 6400 человек, разделенных на восемь батальонов, из которых два поступают в распоряжение военного министерства для действий против Вандеи, а шесть “остаются для службы по городу”. Для организации этой новой военной единицы, лионские якобинцы думают, во-первых, сократят национальную гвардию, ограничив ее состав только благонадежными гражданами, а оставшееся оружие передать новому формированию, и во-вторых обложить богачей специальным единовременным налогом в 6 миллионов. Все это имело “малоуспокоительные перспективы для капиталистов... потому что это означало, что якобинцы решили установить чрезвычайное положение, военный режим армии, разбившей лагерь в побежденной стране”.²⁸ Организация этой армии и послужила непосредственной причиной для жирондистского восстания 29 мая 1793, - богачи “предпочли восстать, чем содействовать выковыванию оружия, которое должно было их ограбить”.²⁹

В Париже о революционной армии заговорили впервые, как будто, в апреле 1793 в связи с делом Дюмурье. Радикальная секция Катр-Насион поставила Конвенту 5 апреля ряд требований, в числе которых фигурировало “образование платной революционной армии для борьбы с внутренними врагами”. Как мало идея революционной армии тогда еще связывалась с функциями снабжения, показывает уже тот факт, что сторонниками этой армии выступили в заседании 5 апреля решительные противники максимума Дантон и Делакруа. “Необходимо, чтобы в то время, как вы пойдете сражаться с внешними врагами, внутренние аристократы были под угрозой пик санкюлотов, - говорил Дантон. - Я требую, чтобы была создана оплачиваемая нацией *народная гвардия* (*une garde du peuple*)”.³⁰ Это требование осталось пока без последствий, но через месяц, 13 мая, его возобновляет эбертистская публика в менее официальных инстанциях. Теперь требование революционной армии имеет чисто политическую окраску, - оно означает

предварительное организационное мероприятие для решительного наступления парижской мелкобуржуазной демократии на жирондистский Конвент. В постановлении коммуны 13 мая рядом стоят два требования: “организация оплачиваемой революционной армии, которая должна нести службу по Парижу и быть постоянно под ружьем; разоружение и арест подозрительных людей способами, которые будут определены секретно”. Нужно прибавить что под арестом “подозрительных людей” коммуна понимает прежде всего арест жирондистов из Конвента, - понятно, зачем ей понадобилась “оплачиваемая революционная армия на службе Парижа”. Официальных данных об этом постановлении нет, его приводит в секретном донесении Дютар, жирондистски настроенный агент дантонистского министра внутренних дел (агент, впрочем, исключительно толковый и на донесения которого вполне можно полагаться).³¹ За день до этого, 12 мая, с подобным же предложением выступил в якобинском клубе Робеспьер: он требовал, “чтобы внутри Парижа существовала революционная армия, в огромной степени превосходящая силу всех аристократов”; оплачивать ее должны богачи.³²

Опять из этих предложений ничего не вышло и мы только что видели, как приходилось выкручиваться из положения 2 июня эбертистскому генералу, располагавшему против жирондистского Конвента только национальной гвардией. Но интересно, что теперь инициативу снова берут дантонисты. Вечером 31 мая их руководство из Комитета общественного спасения уже изрядно напугано событиями и Делакруа, демонстрируя блок с коммуной, предлагает организацию платной революционной армии из 6 тыс. штыков; на следующий день к этому проекту присоединяется повстанческий комитет, предлагая довести состав армии до 20 тыс.³³, и 2 июня уже послушный Конвент декретирует организацию революционной армии из 6 тыс. человек, принимаемых “лишь после представления удостоверения благонадежности из своей секции” и оплачиваемых “в виду дороговизны” по 40 су в день”.³⁴

Особенно интересно, что теперь официальные эбертисты, т.е. руководство законной коммуны, а, по-видимому, и Робеспьер, высказываются *против* создания новой вооруженной силы. В Комитете общественного спасения преобладают дантонисты, переворот 31 мая-2 июня, как тогда казалось, должен был именно им пойти на пользу, они неоднократно уже предлагали передать “парижскую вооруженную силу” в непосредственное ведение Конвента³⁵, - руководство коммуны не уверено, в чьих руках окажется новая армия. “Откуда достать столько денег? - спрашивал Шомет. Парижские артиллеристы противились ее организации. Секция Пик (находившаяся под непосредственным влиянием Робеспьера), собравшись 11 июня в Епископстве с некоторыми другими секциями, потребовала отсрочки”.³⁶

Декрет 2 июня остался мертвой буквой... как и все декреты, не поддержанные массами. Зато сентябрьские дни 1793, решившие вопрос о переходе революции на мелкобуржуазные рельсы, о максимуме и об антикапиталистической политике сразу выдвинули революционную армию, как актуальную проблему, притом проблему экономической политики.

Теперь коммуна, руководящая движением, может не бояться, что революционная армия окажется орудием в чужих руках, эбертистам скорее приходится защищаться от подозрений в претензиях на монопольное обладание ею. Шомет, [требуя от Конвента 5 сентября от имени коммуны немедленной организации революционной армии](#), намекает даже, что, ведь, такой декрет давно уже был издан и только “интриги и опасения людей виновных привели его ни к чему”. “Эта армия будет составлена из республиканцев, - успокаивает он Конвент, - и если какой-нибудь смельчак посмеет сказать о ней: моя армия, он будет умерщвлен на месте”.³⁷ За день перед этим в коммуне он же определил задачи революционной армии так: она должна “отправиться в деревни, в которых зерно находится под реквизицией, обеспечить сбор урожая, облегчать заготовки, пресекать маневры подлых эгоистов и, предавать их законному отомщению”.³⁸ К концу заседания 5 сентября Барер от имени Комитета общественного спасения апробировал постановления коммуны: революционная армия будет организована “в Париже” в составе 6.000 пехотинцев и 1 200 артиллеристов, она предназначена “для подавления контрреволюционеров, для проведения всюду, где это понадобится, революционных законов и мер общественного спасения, декретированных Конвентом, и для содействия делу снабжения”.³⁹

Осуществления этого декрета парижской бедноте пришлось ждать еще дольше, чем вотиrowанного “в принципе” тогда же общего максимума. По-видимому, здесь не просто сказывалось трение бюрократической машины, но и какая-то не вполне ясная фракционная борьба, только парижская революционная армия еще и в октябре продолжала комплектоваться. Другое дело было в провинции. Там, на периферии, в атмосфере непосредственной контрреволюционной опасности и в огне гражданской войны якобинские власти создавали “революционные армии” походя, всюду, где только имели для этого достаточные материальные возможности. Комиссары Конвента обычно очень быстро обнаруживали, что они, вообще, без такого инструмента не в состоянии установить “государственного единства”, т.е. диктатуры якобинизма. До декабря 1793 собственные революционные армии имеются у Менье в Авиньоне, у Бодо в Тулузе, у Фуше в Мулене, у Тайфера в Ло. Без этих маленьких отрядов, тщательно подобранных и хорошо экипированных, была бы часто немыслима огромная работа комиссаров по снабжению армий и городов. Снабжение армий и городов часто бывало возможным только путем реквизиций, а реквизиции бывали осуществимы только посредством такого инструмента, как революционные армии. Это были настоящие “войска внутренней охраны”, составленные по классовому признаку из городских санкюлотов и предназначенные для борьбы с зажиточной верхушкой деревни.

Трудно сказать, не была ли парижская революционная армия по первоначальному замыслу просто одним из таких отрядов местного значения, предназначенным для подталкивания снабжения столицы и для побивания контрреволюции в пределах, скажем, столичного департамента? Очень похоже, что так оно вначале и казалось, хотя декрет 5 сентября и предусматривал проведение новой армией революционных законов “всюду, где это понадобится”.

Обуславливалась такая точка зрения на революционную армию прежде всего, конечно, тем, что представлялась она институтом очень временным и чрезвычайным. Но в непродолжительности ее существования пришлось разувериться уже довольно скоро, а необходимость централизации экономической и политической диктатуры заставила централизовать и этот ее инструмент. По закону 14 фримера “всякая революционная армия, кроме установленной Конвентом и общей для всей республики, распускается настоящим декретом; всем гражданам, входящим в состав подобных военных отрядов, предписывается разойтись в 24 часа” (раздел III, ст. 18). Можно думать, что к январю 1794 таких местных “военных отрядов” уже, действительно, не оставалось или почти не оставалось.

Но тогда положение создалось странное и в представления современников о политической власти никак не укладывающееся. Орудием проведения революционных законов по всей стране стала сила, составленная из парижских секционеров, - в этом факте нашла свое наиболее рельефное отражение та “муниципальная диктатура Парижа”, которую, как ниже придется увидеть, так усиленно разоблачали буржуазные поклонники “чистой” парламентской демократии.

Фактически революционная армия “уполномочена” только “местными” парижскими властями и, значит, только на Париже должны кончаться ее “полномочия”. Составлена она из санкюотов, намеченных революционными комитетами парижских секций и утвержденных генеральным советом парижской коммуны. Ее штаб и главное командование тоже назначены фактически парижскими властями. Что особенно интересно, так это то, что в назначении штаба участвует и вовсе “не государственная”, а “частная” организация. Якобинский клуб Парижа в течение всей второй половины сентября открыто и, так сказать, цинично проводит чистку руководителей этой государственной организации, отвергает одних и утверждает других, устанавливает, что “начальникам этой армии необходимы не столько военные таланты, сколько патриотизм” получает заверения, что общие приказы по армии будут ежедневно ему сообщаться и т.д.⁴⁰

В результате “санкюлотский” характер революционной армии был обеспечен едва ли не больше, чем в каком бы то ни было другом учреждении якобинской диктатуры. Можно даже заподозрить, что он оказался обеспеченным еще больше, чем того хотелось официальному (робеспьеристскому) руководству из Комитета общественного спасения, т.е. что революционная армия стала недвусмысленным орудием эбертизма. Намечая линию ее поведения, эбертисты советовали смотреть просто на “богатство фермера” и в случае подтверждения факта зажиточности гильотинировать немедленно⁴¹, появлению ее отрядов в округе предшествовали слухи, что они “вешают арендаторов, чтобы заставить их выдать свой хлеб”, так что, вообще, “надо признаться, что ее первые выступления были довольно шумного характера”.⁴²

Переход робеспьеристской мелкой буржуазии к осуществлению своей положительной программы, сопровождавшийся, как мы видели, призывами к “оздоровлению обращения”, должен был прежде всего ознаменоваться упразднением революционной армии. В ней, да еще в институте комиссаров по делам о спекуляции, яснее, чем где бы то ни было, проявлялся анти-капиталистический дух якобинской диктатуры, ни о каком альянсе с буржуазией не могло быть и речи при сохранении этих институтов, - оба они были отменены в одно и то же время (27-29 марта 1794).

Упразднение революционной армии вызывалось, конечно, самым непосредственным образом экономической необходимостью. Но ораторы гражданского добродетелей не могли и тут не стать на высоту общих соображений и не вспомнить - очень кстати, впрочем, - о вопиющем противоречии этого института с принципами демократии. “Действительно, разве не оскорблением для героического дела четырнадцати армий республики было дать новой армии исключительное название революционной”, - изумлялся Барер в докладе от Комитета общественного спасения 27 марта 1794. “Институт революционной армии порочен с точки зрения равенства, лежащего в основе всех наших учреждений, и по ее оплате, и по ее назначению и из-за привилегий... Она несовместима с нашими принципами, так как устанавливает две категории солдат и два класса граждан”.⁴³

Если оставить в покое “принципы”, то в этом рассуждении следует все-таки признать некоторую долю политической истины. Всякая народная революция тем, между прочим, и отличается от революций меньшинства, что она имеет возможность не постоянно сохранять особую “гвардию”, выделенную из общей массы вооруженных сил. Народный характер власти позволяет ей все свои задачи осуществлять при помощи одной и той же армейской организации. Беда только в том, что в данном случае демократизация формальная не совпадала с материальной. Упразднение революционной армии, означавшее отказ от политики максимума, означало разгром эбертизма, т.е. разрыв блока мелкой буржуазии с городской беднотой и начало разгрома массовой организации. Возвращение к блоку с буржуазией было на этом этапе необходимостью для революции; в то же время оно означало ее неминуемый разгром. В этом заключено одно из основных безвыходных противоречий мелкобуржуазной диктатуры; с ним в более общей связи еще придется встретиться дальше.

2. - История секционной военной организации была историей ее классового перерождения. Так же дело обстояло и со всей секционной организацией в целом. Процессу превращения коммунальных органов в аппарат политической власти и орудие революционной диктатуры должен был предшествовать параллельный процесс их классового перерождения.

Можно только пожалеть, что либеральные историки, которые так много труда положили на изучение политических форм массовой организации 1793-4 и так много подготовили ценного материала для настоящей науки, так мало интересовались наиболее существенным для понимания этой организации: ее социальным составом. В результате те социальные слои, которые были движущей силой этой организации (а значит и всей якобинской диктатуры, вообще, ибо эти понятия почти совпадают), до сих пор продолжают фигурировать под расплывчатым псевдонимом “народа” или “мелкой буржуазии”. Здесь работа исторического исследования еще почти целиком лежит впереди. Из скудных имеющихся пока материалов

можно, во всяком случае, установить с бесспорностью два положения. Во-первых, превращение секционной и муниципальной организации в носителя революционной диктатуры, в 1793-4 предполагало предварительно коренное изменение надклассового состава по сравнению с 1789-92. Во-вторых, это изменение классового состава не только не совпадало с демократизацией законодательства о муниципалитетах, не только не покрывалось им, но производилось вопреки ему, методами революционного воздействия и разрушения формально-демократических принципов.

Либеральным историкам следовало бы, в самом деле, обратить внимание на недостаточность их науки, обнаруживающуюся из их же исследований. Нетрудно, ведь, убедиться, что в самом понятии “коммуна”, “секция”, - как и в любой другой политической форме, трактуемой как голая форма, - не заключено еще ничего “имманентно”-революционного и что даже распространение политических прав на всех граждан еще не означает непременно превращения форм их самоорганизации в революционные формы. Если в Париже понятие революционного движения оказалось неразрывно связанным с понятием секционного движения, то в провинции часто положение создавалось обратное, и секции оказывались символом контрреволюции. В период федералистских мятежей для промышленных и торговых центров юга такое положение было даже обычным.

В Марселе секции еще осенью 1792 проявили себя, как реакционная сила на службе у буржуазии, подавив в союзе с муниципалитетом и департаментом попытку народного движения после свержения монархии. При обострении борьбы Горы и Жиронды в Париже весной 1793 марсельские секции образовали “главный”, т.е. Центральный комитет, который “обошелся как с настоящими подозрительными” с монтаньярскими комиссарами М.Бейлем и Буассе, приехавшими для набора нового контингента в армию; они еле унесли ноги 2 мая и через два дня написали Конвенту жалобу на “ужасающую диктатуру секций”, читанную там 12 мая.⁴⁴ Именно эта секционная организация в Марселе разогнала 3 июня якобинский клуб и после получения известия о революции 31 мая в Париже очень энергично организовывала военное сопротивление.⁴⁵

Неподалеку Тулон “представлял странные контрасты. Городские секции, как и национальная гвардия, принадлежат умеренной партии, а клуб в руках якобинцев; департаментское управление работает, над поддержанием порядка, а муниципалитет составлен из сторонников насилия”.⁴⁶ Так же, как и в Марселе и в Лионе, лозунгом контрреволюции в Тулоне становится требование открытия секций или предоставления им перманентности, и комиссары центра Бовэ и П.Бейль грозят даже “смертной казнью всякому, кто будет говорить об открытии секций”. Наконец, самый взрыв контрреволюции 12 июля 1793 получает выражение в самочинном открытии секций. Оно знаменуется (как и всякая контрреволюция) молебнами, учреждением военно-полевого суда, салютом и арестом комиссаров Конвента.⁴⁷

То же, примерно, происходит в центре департамента Жиронды, в Бордо. В борьбе с якобинцами городские секции с самого начала 1793 оказываются постоянным союзником департаментского управления. Департаментское управление еще в апреле становится на путь решительных нарушений демократических свобод, задержав и запретив распространение агитлитературы парижского якобинского клуба; “секции одобряют этот поступок” и составляют 12 апреля общую с департаментом прокламацию по этому поводу. Секции же берут на себя инициативу активных действий после испуганного письма из Парижа их депутата Верньо. Они 8 мая “объявляют себя перманентными и принимают адрес Конвенту; к этому адресу присоединяются коммуна, дистрикт и департамент”. В тот же день они создают чрезвычайную организацию под названием “народной комиссии общественного спасения департамента Жиронды”, - таким образом в Бордо контрреволюция организуется за три недели до якобинского переворота в Париже, и инициатором ее являются секции.⁴⁸

Еще многозначительнее роль секционной организации в Лионе, втором по величине и первом по степени промышленного развития городе тогдашней Франции, в котором федералистский мятеж затянулся с 29 мая до 9 октября 1793. Благодаря замечательному исследованию С. Риффатера теперь легко восстановить не только своеобразие политической роли, которую играли там органы “политической самоорганизации масс”, но отчасти и классовые причины этого своеобразия. Город, имевший уже долгую и драматическую историю классовой борьбы типично-капиталистического характера, Лион после муниципальных выборов 5 декабря 1792 оказался обладателем якобинского руководства. В городе, где экономически господствовала реакционная капиталистическая буржуазия, муниципалитетом управляли не постеснявшиеся в средствах маратисты. Они удержались, применив методы прямого насилия, и в феврале 1793, когда в мэры дважды попробовали переизбрать жирондиста. Наконец, захватив управление дистриктом, сторонники Шалье оказались в большинстве и в “комитете общественного спасения департамента”, образованном 14 мая из представителей департамента, дистрикта и муниципалитета.

Департаментское правление оставалось, конечно, правым, но не в этом была опасность. Опасность заключалась в секциях, откровенно антиякобинских по крайней мере на три четверти. Якобинцам из муниципалитета в течение полугода их господства приходилось управлять, “упразднив или без малого упразднив всякую свободу собраний и обсуждений”.⁴⁹ С 28 февраля вплоть до самого переворота (т.е. в течение почти ровно трех месяцев) муниципалитет ни разу не допускает секционных собраний. Секционные собрания “рисковали стать очагами интриг или буржуазными клубами, т.к. рабочие не имели досуга достаточно прилежно их посещать”.⁵⁰ В сношениях с “гражданами” муниципалитет заменяет секционную организацию, во-первых, назначенными им самим секционными комитетами и, во-вторых, секционными якобинскими клубами, которые имеют и общегородскую организацию и с которыми нам еще придется встречаться.

В результате Лион весной 1793 начинает представлять странную картину: развертывания массовой организации требуют жирондисты против якобинских “установленных властей”! Жирондистам все-таки удается 19 мая открыть секции, объявить их перманентными и переизбрать наблюдательные комитеты, несмотря на сопротивление муниципалитета, угрозы оружием и даже аресты. Через неделю жирондистское департаментское управление открыто рвет блок с якобинцами и к нему тотчас же присоединяются, 18 секций из 34. Секция Конвента - “район крупной торговли” - призывает к восстанию против муниципалитета и выпущенная ею прокламация показывает, как не всегда обязательно выступления “массовой организации” против “установленных властей” бывают революционными выступлениями.

“Крупная торговля” в Лионе, готовя контрреволюцию, оперирует формально теми же аргументами, что демократы в Париже. Суверенитет народа покоится в общих собраниях граждан, т.е. в секционных собраниях, объявляет секция Конвента; “всякое другое собрание, которое присвоит себе право инициативы (подразумеваются якобинские клубы), узурпирует тем самым ту часть суверенитета, которая неизменяема, неотчуждаема и никогда не передоверялась никакой установленной власти”. Установленные власти, вообще, “уполномочены исключительно на исполнительские функции, они обязаны отчетом во всем, что делают, перед теми, кто их выбрал” и т.д.⁵¹ Через три дня происходит контрреволюционный переворот, организованный и произведенный секциями: жирондистский департамент, “рабский и формалистски настроенный, играл в событиях 29 мая пассивную роль”, - “истинным вождем был комитет секций, организовавшийся в последнюю минуту, в ночь с 28 на 29”.⁵²

Своеобразие политической роли лионских секций после контрреволюции только усиливается. Самый переворот “был победой секционеров над клубистами, одновременно с тем, что и мятежом против муниципальной власти, общины клубов. После 29 мая граждане собираются каждый день в большинстве секции и свободно обсуждают все вопросы”.⁵³ Организацией контрреволюции и борьбой с Конвентом руководят фактически сами секции, - временный муниципалитет “был скорее центральным комитетом 34 секций, чем настоящим сонетом коммуны. Он ставит себе задачей централизовать секционные настроения, проводить в жизнь их решения” и только.⁵⁴ При новом режиме секции собираются в течение одного месяца чаще, чем при якобинцах собирались в течение полугода. Они ничего больше и не желают, как только “распространения на город Лион декрета, который уполномочил секции Парижа заседать до 10 часов вечера”, - об этом должна просить в Конвенте их депутация, отправленная на другой день после восстания.⁵⁵

Они при этом настолько законопослушны, что иногда сами отказываются расширять свои полномочия, хотя муниципалитет только того и хочет. Та же секция Конвента 11 июля предлагает всем секциям именовать свои решения мнениями, а не постановлениями (*voeux et non plus arretes*). “Представительное правление было бы извращено, - поучает район крупной торговли, - если бы народ, передоверив свою власть, продолжал бы сам осуществлять ее в секциях. Это злоупотребление, ведь, и произвело все бедствия, от которых мы страдаем”.⁵⁶ Намек многозначительный в устах “крупной торговли”. Он, впрочем, остается только намеком: пусть якобинизм и являлся следствием “злоупотреблений” прямым народоправством, - сейчас-то органами прямого народоправства пользуется “крупная торговля” в целях “законности и порядка”. Вообще, положение лионских секций в событиях 1793 можно сформулировать так: “если якобинский режим был господством клубов, то режим жирондистский или роландистский был царством секций”.⁵⁷

Тут в высшей степени важно вспомнить, что все вышеописанное происходило в тот период, когда политические права распространялись уже на всех граждан и секции были с формальной точки зрения бесспорно демократической организацией. А между тем лионское движение было явно для всех контрреволюционным, антинародным, жирондистско-роялистским движением! Когда Конвент 5 сентября 1793 наводнили толпы эбертистски настроенных секционеров, дантонист Базир имел некоторые основания для демагогических намеков на опасность “секционной контрреволюции на подобие той, что имела место в Лионе, Марселе, Тулоне”.⁵⁸

Секционное движение, даже снабженное четыреххвосткой, совсем не всегда стояло на стороне революции. Кто же тогда был субъектом французской революции, если субъектом контрреволюции там оказывался формально-юридический “народ”? Вне классового анализа противоречие неразрешимо.

Отсутствие классового анализа не позволяет понять многого даже в парижской политике, - в метаморфозах этих обычно революционных секций этого в общем однородно-мелкобуржуазного города. Если там были районы сплошь ремесленные и пауперистские, как секции двух знаменитых предместий, или самая населенная секция Гравилье, то были и секции с значительным классовым расслоением, где “роскошь существовала бок о бок с нищетой”, как центральные районы по правому берегу Сены.⁵⁹ За исключением немногих секций, постоянно проявлявших весьма радикальные настроения во все периоды революции, почти все секции Парижа являли в своей революционной истории картину крайней неустойчивости. Перед 10 августа, например, секции Гоблен [Гобеленов] и Гравилье “из относительно умеренных переходят в ряды секций, возглавляющих революционное движение” и в таком качестве остаются уже до самого Термидора; наоборот, многие секции, “бывшие революционными перед 10 августа, окажутся в мае 1793 на стороне сопротивления”.⁶⁰

Объяснять эти превращения такими туманными причинами, как “общее полевание”, “революционизирование настроений” и т.п., не только недостаточно, но и невозможно. Секции, населенные буржуазией, ее приказчиками, слугами и клиентурой, не имели, ведь, никаких мыслимых оснований постепенно “леветь” вплоть до требований собственной экспроприации! Между тем часто оказывалось, что заведомо буржуазная, упорно контрреволюционная секция вдруг после какого-нибудь очередного политического шока превращалась в секцию наиболее радикальную. Париж видел такие примеры в секциях Пале-Рояль, Библиотеки, Лепельтье, Ломбар. Очевидно, причина лежала не в изменении “настроений” одного и того же состава “граждан”, а в изменении самого состава, - если и не вообще жителей секции, то хоть ее политического актива.

В городах с большей степенью капиталистического развития это открывается еще яснее. Секционная организация была контрреволюционной организацией, пока оставалась организацией буржуазии; устранение влияния буржуазии на трудовую массу, смена руководства и привлечение к политической жизни городских низов превращало секции в организацию революционную.

Как общее правило, в борьбе с жирондистской буржуазией монтаньяры имели пролетариат на своей стороне, говорит Жорес.⁶¹ Точнее было бы сказать, - в потенции имели, могли бы иметь. При той безработице и голодовке, которую вызвала революция в промышленных центрах, при том отсутствии классового сознания, которое отличало тогдашних рабочих, можно скорее удивляться, как еще много революционности проявил пролетариат, как легко его можно было оторвать от "благодетелей"-патронов.

В самом деле, даже в Марселе во время федералистского бунта и переговоров о сдаче англичанам нашлась целая секция, которая "забаррикадовалась в своем квартале, раздобыла пушки и целый день выдерживала борьбу против остального города".⁶² Даже в Тулоне после поражения марсельских бунтовщиков "рабочее население сблизилось с клубистами, и разразился мятеж для освобождения двух осужденных", - после этого-то тулонская буржуазия и решила передаться англичанам.⁶³ Даже в Бордо нашлась одна секция (Франклина) - "чисто рабочий квартал, который открыто высказался за якобинцев; он связался со своими единомышленниками в других секциях и рассчитывал противостоять своим противникам, группирующимся вокруг общества бордосской молодежи". Расчет вполне удался: этот "рабочий квартал" и задавил всю контрреволюцию в сердце Жиронды. Он связался с комиссарами Конвента, удравшими в уездный городишко Реоль, образовал "национальный клуб", заместил им жирондистскую коммуну, и когда эмиссары парижской коммуны явились в Бордо для братания, "вид города настолько изменился, что они почувствовали себя как дома", а комиссарам Конвента пришлось даже извиняться за слишком продолжительное отсутствие.⁶⁴

Наконец, даже в Лионе секционное движение было не сплошь контрреволюционным, потому что не сплошь буржуазным. Детальный анализ распределения рабочих по кварталам, произведенный Риффатером, позволяет сказать, что в Лионе во время наибольшего роста жирондистских влияний "рабочий класс, хотя и разделенный, склонялся скорее к якобинцам" и "в целом стоял за Шалье".⁶⁵ Секции с преимущественным рабочим населением частично защищают якобинский муниципалитет в ночь с 29 на 30 мая, они в большинстве не участвуют в образовании повстанческого временного муниципалитета 30 мая, а представители наиболее пролетарской секции Гургийон "показываются там последними, 9 июня, и после этого их видят там еще только раз".⁶⁶ Эта секция продолжает оставаться явно якобинской даже после смены ее якобинского руководства и 2 июля даже учиняет мятеж против буржуазной узурпации. Соединившись с якобинцами другой рабочей секции, Сен-Жорж, "банда приблизительно из двухсот женщин наводняет около 9 часов вечера зал заседаний секции Сен-Жорж с криками: да здравствует Марат, да здравствует Шалье, идем в тюрьмы, освободим Шалье! Добропорядочные граждане, находившиеся в заседании, были разогнаны манифестантами, которых возглавляли пять хозяйчиков (chefs d'atelier) и один рабочий". Мятеж еле подавили национальной гвардией буржуазных секций, и на следующий день жирондистский муниципалитет приступил к разоружению рабочих районов.⁶⁷

Наличие таких революционных моментов в деятельности секций южных и центральных промышленных городов не меняет, впрочем, положения в целом: секционное движение еще в 1793 было там обычно контрреволюционным движением, и вполне понятно почему. Экономическое могущество буржуазии должно было найти политическое отражение, - механика этого процесса в промышленных городах вскрывается с предельной ясностью.

Секции - это органы прямого народоправства, следовательно, там должны преобладать, как будто, классы, составляющие большинство населения. Но рабочий день на лионских шелковых фабриках продолжается "до шестнадцати и восемнадцати часов", - сколько недоразумений оказалось бы разрешенными, обрати только внимание либеральная историография на этот "незначительный факт"! Местные якобинцы ничего с этим поделать не могут. "Рабочие, патриотизм которых повсюду весьма действителен, здесь обречены на бессилие, - пишет некий П.Шеппи из Лиона 15 мая. - Фабриканты так рассчитали их время и средства существования, что не оставляют им ни одной минуты для отечества. Рабочий поставлен перед плачевной альтернативой: или быть революционером, не имея куска хлеба, или кормиться, не служа своей стране".⁶⁸

Сюда надо еще присоединить безработицу, боязнь очутиться на улице и постоянный продовольственный кризис. Известно, какими средствами выбирались в Париже из подобного положения (положения, к тому же, значительно менее остро): эбертистская коммуна тратила ежедневно 12000 ливров, скупая муку и затем распределяя хлеб ниже себестоимости, неимущие патриоты получали по 40 су за присутствие на каждом секционном заседании, разные чрезвычайные оплаты тоже стали обычным явлением. В Лионе буржуазное влияние было "тем более угрожающим, что в коммунальном бюджете постоянный дефицит: якобинскому муниципалитету не хватает ресурсов, чтобы самому обеспечить регулярное снабжение города и нормальную работу булочных, чтобы поддержать низкие цены на хлеб вопреки дороговизне зерна, чтобы поддерживать безработных и находить им работу".⁶⁹ Весь трагизм положения мелкобуржуазного руководства в буржуазном городе открывается в тех способах, которыми якобинцы из муниципалитета принуждены были добывать муниципальные ресурсы. "Чтобы поддержать сравнительно низкие цены на хлеб, якобинский муниципалитет взимал в марте и апреле одну десятую пошлины с каждого груженого зерном судна, проходящего транзитом через Лион", пытался субсидировать булочников и даже открывать собственные хлебопекарни, которые, как мы видели, не продержались и месяца.⁷⁰

Не ясно ли, что при таких экономических условиях политическая организация “прямого народоправства” не могла оказаться народной организацией! Шалье в марте 1793 прямо признавался, что муниципалитет не допускает секционных собраний, потому что “там господствуют крупные торговцы”.⁷¹ Крупным торговцам там, конечно, принадлежало не численное господство, но господство влияния. За ними шла вся их клиентура, все те экономически зависимые от них элементы, как приказчики и домашние слуги, от которых якобинцы в апреле хотят даже “освободить национальную гвардию, отправив их на фронт”.⁷² Этими группами произведен и переворот 29 мая, - арсеналом утром овладела “толпа, составленная, по словам якобинцев, из приказчиков, конторщиков и домашних слуг”, - эти же группы, т.е. “в большинстве люди наемного труда, но не фабричные рабочие, были и воинствующим активом всего лионского восстания”.⁷³ Эти категории наемного труда почти везде и всегда в течение всей революции оказывались в орбите реакционно-буржуазного влияния. Мелкобуржуазные демократы, зная их идеологию, постоянно зачисляли их в разряд федералистов, парижские якобинцы ни минуты не усомнились, что лионский мятеж - дело рук “буржуазной аристократии”, и Шалье с полным основанием писал в муниципальной прокламации 29 мая: “Этот бунт - открытое объявление войны беднякам босячкам”.

Таким образом, можно выставить, как общее положение, годное для всех городов во все периоды революции: секции оказывались революционной организацией только там где их удавалось вырвать из-под буржуазного влияния и придать им какой-то определенный классовый облик. Точнее этот облик определить трудно. Это был обычно конгломерат промежуточных социальных групп с чисто-рабочей основой, всегда более или менее незначительной. Но всегда это был блок трудящихся групп - без буржуазии и против нее.

В либеральной историографии после 1917 попадаются забавные протесты против подозрений, будто секции и их органы были орудиями диктатуры пролетариата. Нет, доказывают простодушные люди, в революционных комитетах рядом с рабочими сидели буржуа, этих буржуа было даже больше, и потому “там не было никакой классовой диктатуры, а просто акты насилия, как следствие внешней и гражданской войны” и т.п.⁷⁵ Вся аргументация дважды бьет мимо цели. Во-первых, секционный режим, конечно, не был диктатурой пролетариата, - на этом никто никогда и не настаивал. Во-вторых, вопреки всей неясности его классового лица, секционный режим был классовой диктатурой, и наличие отдельных буржуа в его руководящих органах ничего по существу не меняет. Среди “идеологов” якобинства бывали и привилегированные, дворяне сидели даже в Комитете общественного спасения, - превращает ли это якобинскую диктатуру в “внеклассовый режим” по отношению даже к феодалам? Даже в наиболее народных и радикальных движениях французской революции “идеологами” оказывались, обычно, выходцы из буржуазии и буржуазной интеллигенции. Таков был состав и парижской коммуны 10 августа, и лионского муниципалитета, возглавлявшегося крупными торговцами Бертраном и Шалье и актером Гайаром, таков был почти сплошь и состав якобинских клубов.⁷⁶

Классовое происхождение “идеолога” еще ничего не говорит о классовой природе его политики, - можно ли во всей французской революции найти более яркого представителя “революционного класса бедняков”, чем негодник Шалье! Вопрос о классовой природе движения решается не происхождением вождей, а составом массы, и тут можно с уверенностью утверждать, что, как масса, буржуа и их сторонники не только не “заполняли” исполнительные органы секций, но не допускались и к присутствию на тех секциях, которые были революционными секциями.

Превратить секции в революционный орган значило освободить их от буржуазного влияния; освободить их от буржуазного влияния в атмосфере ожесточенной классовой борьбы означало почти всегда не “развивать демократию”, а ломать ее форму, действовать методами революционного насилия. Даже в моменты наибольшего развития политической активности масс формально-демократический критерий “большинства” оказывался недостаточным для разрешения политических тяжб. Так было в Париже перед восстаниями 10 августа и 31 мая, так было и в жирондистском Лионе после 29 мая. Массы индифферентных “граждан” вымывались перед решительными событиями, в секционных собраниях расцветал абсентеизм, иногда бывало даже так, что “действовал как будто один председатель”,⁷⁷ но всегда дело решалось борьбой двух активных “меньшинств”. Как во всяких революциях, в революции 1789-95 приходилось идти на восстания, не оглядываясь назад, не подсчитывая голосов, полагаясь на то, что “большинство” будет завоевано после победы. Реакционные историки без труда находили доказательства “заговорщического”, “бунтовщического” характера даже восстаний 10 августа или 31 мая,⁷⁸ а либеральным историкам приходилось соглашаться, что, действительно, Парижем в эти периоды руководило революционное меньшинство против реакционного меньшинства; им остается при этом еще только пролить слезу о республиканской несознательности тогдашних французов и внести в подсчеты реакционеров несущественные подчистки.⁷⁹

Но нарушения принципов демократии в секционной организации революционерам приходилось применять совсем не только в остро критические периоды революции. Методы революционного давления и революционного насилия, как необходимые методы демократизации секций, были обычны и в их повседневной деятельности. Особенно остро необходимость таких методов сказывалась в промышленно-развитых городах с крепкой и влиятельной буржуазией. В Тулоне, как мы видели, комиссарам Конвента пришлось пригрозить даже “смертной казнью каждому, кто заговорит об открытии секций”.⁸⁰ В Лионе вся история якобинского господства до 29 мая 1793 может быть определена как “постепенное забвение демократами всех принципов (формальной) демократии”: они “отрицали демократию своими актами, нарушали или опровергали свои принципы, чтобы поддержать господство, которое они считали необходимым для блага отечества. Уважения к закону в них почти совсем не осталось”.⁸¹ Для того, чтобы провести на февральских выборах своего мэра им пришлось “прибегнуть к насилию”, - арестовать жирондистского кандидата, и чтобы удержаться дальше, “они упразднили, или без малого упразднили,

всякую свободу собраний и обсуждений”.⁸² Уже в марте они готовы начать радикальную чистку администрации, решив “снять с должности всех лиц, подозрительных с якобинской точки зрения, вопреки народному суверенитету, который их на эти должности поставил”, еще раньше понятие секции фактически замещено понятием секционного якобинского клуба,⁸³ - словом господство демократов в буржуазном Лионе может поддерживаться только ценой нарушений формальной демократии.

Вначале так было везде. Даже в мелкобуржуазном Париже, даже после завоевания права гражданства санкюлотами едва ли не большинство секций оставались еще под жирондистским руководством, и если бы не центральные политические клубы, к началу 1793 окончательно завоеванные демократами, еще неизвестно чем окончилась бы борьба за руководство секциями. Отразив первую атаку монтаньяров, - петицию 35 секций 15 апреля 1793 об изгнании депутатов-изменников, жирондистское большинство Конвента само перешло в наступление. До середины мая можно было еще очень сомневаться, станут ли секции на революционный путь. Борьба за власть принимала в них самые ожесточенные формы, - в это время, доносит агент Дютар 6 мая, когда жирондисты противились набору волонтеров в Вандею, “почти во всех секциях стулья были поломаны”,⁸⁴ и по крайней мере в четырех мелкая буржуазия оказалась отторгнута от руководства.⁸⁵ Рядом героических усилий монтаньярам удалось еще в середине мая восстановить положение, и все-таки даже уже после изгнания жирондистов из Конвента о влиянии на секции им еще очень приходилось заботиться. “Можно сказать с уверенностью, - доносит Дютар министру Гара 13 июня 1793, - что и в наиболее отчаянных (enragees) секциях Парижа модерантизм господствует настолько сильно, что умеренные овладевают ими всякий раз, когда захотят дать себе этот труд. Если бы все виноторговцы и трактирщики Парижа закрывали лавочки одновременно, их приказчики передушили бы всех участников шайки (factieux)”.⁸⁶

При таких условиях классовой борьбы процесс перерастания формальной демократии в материальную, - чем по существу и являлся переход власти в секциях от жирондистов к монтаньярам, т.е. их превращение из органов “местной власти” и орудие революционной акции, - не мог проходить в мирных, законных формах, средствами развертывания самой формальной демократии. Выступая 8 мая 1793 в Конвенте по поводу обнагления “аристократии” в секциях, Робеспьер предложил модифицировать формальную демократию в двух направлениях: чтобы “интриганы, которые стекаются в секции, беспощадно изгонялись оттуда патриотами”; и чтобы “почтенный трудящийся класс мог там присутствовать ежедневно”, для чего ввести оплату присутствия на секциях трудящихся.⁸⁷ Вторая часть предложения прошла в сентябре, для первой же, собственно, можно было и не испрашивать санкции Конвента. Борьба за материальную демократию проходила вне и независимо от Конвента, при чем уже в 1792 приняла характер разрыва демократических форм.

После свержения монархии демократы, не добившись от Легислативы отмены двухступенной системы выборов в Конвент, постановляют, что: “для предупреждения, насколько возможно, неудобств, связанных с этой системой, собрания выборщиков будут вотировать открытым голосованием и в присутствии публики; чтобы сделать действительной эту последнюю предосторожность, они должны собраться в зале якобинцев (!), и назначенные выборщиками депутаты будут подвергнуты пересмотру и исследованию секций или первичных собраний, таким образом, чтобы большинство могло отвергнуть лиц, недостойных доверия народа”.⁸⁸ Это постановление принято официально повстанческой коммуной, а предварительно проведено в демократических секциях, которые мотивируют такое постановление желанием использовать “принадлежащую им часть суверенитета таким способом, который они найдут наиболее разумным и целесообразным”.⁸⁹ Если сюда прибавить, что постановлением отдельных секций сами выборщики должны предварительно “пройти очистительную проверку 48-ми секций” и что собрание выборщиков начинает с “исключения из своей среды... тех, кто был причастен к какому-нибудь контрреволюционному клубу”,⁹⁰ то мы получим полный набор методов демократизации учреждений буржуазной революции путем нарушения формально-демократических принципов. Это - открытые голосования, постоянные проверки и чистки и постоянное давление масс посредством контроля и отзыва.⁹¹

В ноябре того же года Конвент принужден декретировать одностепенность муниципальных выборов; парижская коммуна к тому же избирается открытым голосованием, потому что отдельные секции выносят постановления, что они будут выбирать открытым голосованием, “не взирая на закон” и “не потерпят, чтобы сенаторский деспотизм заменил деспотизм монархический”, а если их председатель будет затребован для объяснений в Конвент, “они все явятся туда при оружии”.⁹² Более того, секция Пантеона решает допустить к выборам только тех своих граждан, которые удостоверяют свои республиканские убеждения, - все прочие “объявляются предателями отечества”, - а новая коммуна, собравшись наконец 2 декабря, начинает с постановления, что каждый избранный должен присягнуть в том, что он “никогда не состоял ни в каком анти-гражданственном обществе”, никогда не подписывал и даже не разносил петиций, “противоречащих правам народа” и т.п.⁹³ Возмущенные жирондисты 5 декабря проводят декрет, объявляющий “ничтожным и посягающим на народный суверенитет всякое голосование, которое было или будет проведено административным, муниципальным или судебным органом с целью удаления из своей среды одного или нескольких членов”. В ответ на это 29 января 1793 собираются уполномоченные всех секций и подвергают избранную коммуну весьма радикальной чистке: 55 ее членов из 288 забракованы и должны переизбираться.⁹⁴ Нетрудно догадаться, что после всех этих пертурбаций коммуна должна оказаться классово-однородной, притом именно в своей демократичности.

Если осенью 1792 требование “классового ценза” носит еще достаточно плотную юридическую маскировку (принятие новой формы правления), то весной 1793, с началом борьбы против Жиронды, классовая природа политики “нарушения неотчуждаемых прав” уже ничем не может быть скрыта. Для характеристики секционной атмосферы в этот период интересно донесение агента Дютара министру внутренних дел Гара 14 мая: “Почти во всех секциях наблюдательные комитеты занимают санкюлоты; они же

занимают председательское кресло, они распоряжаются порядком в зале, расставляют часовых, устанавливают счетчиков и отметчиков. Пять или шесть шпионов, завсегдаев секции, оплачиваемых по 40 су, находятся там с начала до конца заседания; это люди, способные на все” и т.д.⁹⁵ В начале мая в ряде секций руководство захватывают жирондисты; обиженные санкюлоты извещают коммуну и “полицейские администраторы являются с вооруженной силой в мятежные (*agitee*) секции, выкидывают оттуда умеренных, как виновников беспорядка, арестовывают их, а потом освобождают по вмешательству Конвента”.⁹⁶ После ликвидации жирондистов в Конvente, в секциях их ликвидируют без церемоний. Если секция остается безнадежно буржуазной, то, как это происходило 4 июня с секций Люксамбур, туда является “братская делегация” в 100 человек из соседней санкюлотской секции Французского театра, “решения предыдущего заседания отменяются и выносятся постановление, что патриоты из других секций, которые явятся для братания в секцию Люксамбур [Люксембург], будут иметь совещательный голос, как нераздельная часть одной и той же коммуны”.⁹⁷

После консолидации секций и секционных органов на мелкобуржуазной основе, нарушения принципов формальной демократии в них не только не прекратились, но скорее усилились. В очень значительной степени это имело теперь, особенно с весны 1794, совершенно другой социальный смысл. Об этом речь будет идти ниже, пока же следует отметить, что в течение зимы 1793-94, т. е. в период наибольшей активности секций и наибольшего их влияния, продолжались чистки, отсечения, назначенство и т.п. нарушения формального демократизма, - отнюдь не имевшие характера бюрократического загнивания, В острые политические моменты уже давно стало принято подставлять на место секции секционную якобинскую организацию. Когда парижские санкюлоты организуют восстание 31 мая против жирондистского Конвента, патриотическое общество секции Бют-де-Мулен откровенно объявляет: “будучи уверено, что большинство секции или откажет в назначении (комиссаров в повстанческий комитет), или назначит таких комиссаров, которые не будут пользоваться доверием патриотов, общество решило само назначить двух комиссаров, которые облечены полным доверием *патриотов* этой секции и потому могут содействовать спасению отечества”.⁹⁸ Такие подстановки приходится производить и после консолидации революции наверху. В декабре 1793 секции являются самым могущественным рычагом воинствующей демократии несмотря на то (и даже именно потому), что вся высокая политика перешла из их общих собраний в секционные народные общества (клубы), которые “в действительности были не чем иным, как очищенными секциями”⁹⁹ и о которых говорят, что “иногда в общем собрании находится не больше десяти их членов, и этого достаточно, чтобы заставить дрожать остальное собрание”.¹⁰⁰ Замена секционных собраний собраниями секционных якобинских клубов - дело обычное и в провинции. В Лионе до жирондистского переворота 29 мая 1793 секционные клубы постоянно заменяют собой секции, там даже путают понятие секционного общего собрания с понятием секционного “народного общества” и, как выше уже отмечалось, самый переворот 29 мая может быть представлен, как победа “царства секций” после “господства клубов”;¹⁰¹ нам придется еще встретиться ближе с секционными якобинскими клубами.

Революционные комитеты в этот период вынесли на себе всю тяжесть борьбы с феодальной и буржуазной контрреволюцией, спасением демократии Франция “обязана отчасти революционным комитетам”, - признание особо ценное в устах либерала;¹⁰² и все-таки (только ли все-таки?) очень рано в Париже они начинают подбираться почти по классовому признаку на суженой социальной базе, уже с 5 сентября коммуна получает право “временно” назначать их членов, и в январе 1794 революционные комитеты даже просят правительство “не доверять назначений общим собраниям, где иногда ловко одерживают верх краснобаи и тартюфы от революции”.¹⁰³

Можно сказать, что применительно к организациям политической полиции якобинская диктатура даже слишком мало поступилась принципами формальной демократии. Очень хорошо, конечно, что в критический период революции за дело борьбы с внутренней контрреволюцией взялись сами народные массы. Но по положению революционные комитеты должны были существовать при каждой коммуне республики, т.е. их должно было быть до 45000, и хотя до этого не дошло, но 21000 революционных комитетов в 1793-94 все-таки, по-видимому, существовала.¹⁰⁴ Двадцать одна тысяча революционных комитетов, т.е. выборная и административно-самостоятельная единица политического розыска чуть ли не в каждой деревне, - это было слишком. Это должно было в лучшем случае приводить к тому, что дело борьбы с контрреволюцией попадало в руки случайных и чуждых революции людей. Характерный в этом смысле эпизод описывает 19 февраля 1794 Комитету общественного спасения комиссар Дюруа из Верхней Марны. Крохотная деревенская коммуна получает приказ арестовать всех находящихся в ней подозрительных и отправить их в центр дистрикта. В коммуне нет подозрительных, она “достаточно счастлива, чтобы не заключать в себе никаких бывших”. Тогда деревенский мэр, желая все же выполнить предписание, бросает жребий, кому надо арестовываться, а когда жребий падает на него самого, послушно идет к город и просит его засадить, “пока более просвещенные соседи его не разубедили”.¹⁰⁵ Такой агент революционной власти был все-таки лучше сознательного контрреволюционера, а на наличие таковых в деревенских органах розыска жалобы приходится слышать постоянно. “Я призываю пристальное внимание общества, - говорит, напр., Тирион в парижском клубе 9 марта 1794, - к организации наблюдательных комитетов маленьких деревенских коммун. Туда проникли аристократы и слуги бывших сеньоров; самые явные аристократы находятся там в безопасности от всяких преследований благодаря своему перевоплощению и невежеству жителей”.¹⁰⁶ Было вполне естественно, если комиссары писали Комитету общественного спасения о “бесполезности большинства наблюдательных комитетов”, и было бы вполне логично, если бы якобинская диктатура, как неоднократно предлагали местные власти “оставила бы только по одному комитету на дистрикт”.¹⁰⁷

К тому времени, как процесс классового перерождения секций, их превращение в органы блока рабочих, ремесленников и мелкой буржуазии был закончен, закончилось и превращение их из учреждений “местной власти” в орудия революционной самостоятельности народных масс. Если парижские секции не только занимаются политикой, но руководят политикой, выступая инициатором всех значительных преобразований, организуя восстания и форсируя Законодательный корпус, который постоянно плетется у них в хвосте, то очевидно, что формально-демократическая концепция “политической” и “местной” власти здесь разрушена безнадежно. И революционные юристы видят ясно, что их муниципалитеты - совсем не “местная власть”.

Более того, они не могут не видеть, что это - принципиально новая и высшая по типу форма власти. Та грандиозная работа по обороне, которая была проделана в 1793, была бы вообще невысказима вне революционной массовой акции, т.е. без секций и коммун. Прежде всего организовать оборону было невозможно, не согнув, выю той - весьма значительной - части “нации”, которая осуществление своих “национальных задач” видела как раз в победе “иностранцев”.¹⁰⁸ Никакой бюрократически организованной полиции тут бы не хватило. Полицией стали целиком сами народные массы, именно они помешали тому, чтобы “вандейское восстание не соединилось с иностранным нашествием”.¹⁰⁹

В начале мая 1793, когда Вандей грозит сомкнуться с внешним фронтом, у республики исчерпаны, казалось бы, все ресурсы, всякие, и материальные, и людские. Парижские секции берутся поставить требуемый контингент 12000 волонтеров, и справляются с этим собственными силами. Конвенту 9 мая остается декретировать, что “предоставив гражданственности секций Парижа способ их набора, он одобряет все меры, которые каждая секция считает нужным принять”.¹¹⁰ Нынешние либералы могут только удивляться, как это “бессильное Национальное собрание” решилось предоставить органам местной власти полную свободу не только в наборе людей, “но и в определении сумм, необходимых, по их мнению, для комплектования, экипировки и вознаграждения отправляемым и их семьям”.¹¹¹ Что поделаешь, иначе с Вандеей было не справиться! Секции требуют от Конвента по 70000-150000 ливров дотации, а для ее покрытия организуют нечто вроде военного прогрессивного налога в виде принудительного займа 12 миллионов у богачей, что тогда же жирондистской секцией Лепельтье квалифицируется, как “инквизиторская и тираническая операция”.¹¹² Более того, отправив на фронт свой батальон, секция не прекращает с ним связи. Она поддерживает с ним переписку, подкармливает его и снабжает амуницией, подбадривает и требует взысканий за несоблюдение дисциплины, - “никогда, кажется, не бывало более совершенного единения между солдатами и гражданами”.¹¹³

Колоссальная для тех времен армия, выставленная республикой, требует колоссальных запасов пороха, которого у Франции нет. Никакими бюрократическими методами невозможно достигнуть того, чего достигли организованные секциями массы. Они выкапывали селитру из земли, скребли ее на земляной поверхности погребов, хлевов, конюшен, - одна только секция Пантеона обещала по раскладке 30-35 миллионов фунтов.¹¹⁴ Армия не экипирована и не обмундирована, она зависит от частных поставщиков, - слово, которое скоро отождествляется с понятием хищника и спекулянта. Секции организуют пошивочные и сапожные мастерские, кузницы и шорные заведения, они привлекают к работе своих неимущих граждан и приставляют своих комиссаров к частным и военно-пошивочным мастерским.¹¹⁵

Дело прокормления больших городов, особенно Парижа, в условиях зимы 1793-94 и максимума, становится тоже задачей, которая может быть разрешена только революционными методами. “Революционная армия”, составленная из парижских секционеров, рыщет по всей стране, проталкивает обозы, подгоняет заготовки, обнаруживает припрятанное продовольствие и карает “богатых эгоистов”. В самом городе секционные комиссары по борьбе со спекуляцией регулируют базары, блюдают нерушимость максимума, отсутствие перепродаж и обеспечение беднейшей части населения. В октябре 1793 революционные комитеты берут на себя функции контроля и регламентации частной торговли и вводят карточную систему для сахара. С конца октября вводится хлебная карточка, которая с декабря начинает нормально функционировать в столице “к великому удовлетворению населения”, а потом распространяется и на другие города. С апреля 1794 парижская коммуна берет в свои руки мясозаготовки и вводит мясные карточки. Вообще, “необходимость, более могущественная, чем теории, привела мало-помалу к монополизации в руках властей всей торговли предметами первой необходимости... Муниципалитеты и их революционные комитеты стали обширными службами снабжения”.¹¹⁶ Они делают героические усилия, чтобы освободить город от рабской продовольственной зависимости от округа, - чего стоит самое существование “комитетов агрикультуры” при городских секциях, намеревавшихся превратить Тюильри в огород!

Вся эта хозяйственная деятельность секций носит ярко выраженный чрезвычайный характер: все это - хозяйственная работа на оборону. “Понятно, подобная организация, импровизированная в пылу битвы, функционировала несовершенно”.¹¹⁷ Но важно в ней то, что она означает переход центра тяжести в деятельности секций все больше из чисто-политической области в область вопросов социальных, которыми якобинцы из секций всегда интересовались больше, чем якобинцы из Конвента, а в этой области среди “временных ценностей” хозяйствования на оборону все чаще и чаще встречались элементы “постоянных ценностей”, новых массовых и революционно-творческих методов управления хозяйством. Правда, когда в июне 1793 секция Финистер решила открыть собственные пошивочные мастерские, сдав их в аренду желающим “гражданам секции”, только один предприниматель явился на зов и согласился работать в условиях чрезвычайно-стесненной “личной инициативы”,¹¹⁸ но начало весьма интересному опыту было положено, и на мастерских военного ведомства, прибранных секциями к рукам, он получил и продолжение. В течение августа - сентября 1793 государственные пошивочные мастерские оказались в руках секций и от секционных учреждений зависела организация и распределение работ. “Отсюда вышла совершенно новая организация. Секция целиком заменила предпринимателей и интендантство”.¹¹⁹

Получилась своеобразная “общественная организация труда”, которая либералу могла даже показаться “опытом социализма”¹²⁰ и которая действительно была прогрессивной организацией борьбы с безработицей и демократизации производства. “Секция назначает и отзывает комиссаров, управляющих мастерской, определяет их вознаграждение, (назначает цену продуктов производства, рассчитанную таким образом, чтобы не допускать никакой прибыли, но только покрывать общие издержки производства, принимает жалобы рабочих, восстанавливает, произведя расследование, на работе несправедливо уволенных; вообще, секция является истинным хозяином предприятия, в котором она наблюдает за всеми операциями, проверяет все счета и регулирует все расходы”.¹²¹ По мысли инициаторов первой, чисто секционной мастерской, “всякий гражданин или гражданка, живущие в данной секции, могут явиться в мастерскую, снабженные удостоверением личности владельца, и там получить работу”; количество сданной продукции регистрировалось в деле и, потом, по талонам оплачивалось “комиссаром-предпринимателем”, за которым наблюдали еще два “добровольных (gratuits) и чуждых всякой спекуляции” комиссара секции.¹²² Элементы новых методов хозяйствования можно было бы открыть и в комитетах благотворительности, которые только к весне 1793 коммунарами были отвоены от церковных приходов, превращены из учреждений “милосердия” в “общественную помощь” и через которые в значительной части должна была проходить вантозская политика справедливого наделения землей; такие же элементы имелись и в деятельности гражданских комитетов,¹²³ комитетов агрикультуры и т.д.

Не заметили ли авторы вантозских декретов в деятельности секций этих зародышей новых форм управления хозяйством, форм типично революционных и, однако, годных не только для условий гражданской войны? Не подумывали ли они об использовании этих форм и в нормальных условиях “режима свободы”, т.е. для революционного переустройства социальных отношений? Отсутствие документации не позволяет дать на этот вопрос сколько-нибудь уверенного и положительного ответа. Важно, во всяком случае, что с несомненностью устанавливается факт признания монтаньярами в муниципалитетах не только органов “местной власти”, но и орудий массовой революционной политики.

3. - Это признание распространялось, конечно, не только на коммуну и секции Парижа, но и на всю республику. Республика, по мнению монтаньяров, уже по крайней мере с мая 1793 должна быть политическим единством революционных коммун. Не вполне понятная политика департаментского управления последней трети 1793 года получает в этом некоторое дополнительное освещение. Упразднение политического значения департаментских управлений и увязка центра непосредственно с коммунарами и дистриктами по “временной конституции” [14 фримера \(4 декабря 1793\)](#) в марксистской литературе объяснялось всегда тем, что департаменты дискредитировали себя в жирондистском движении, потому что, избранные по двухстепенной системе, они растворяли городские влияния в сельских. Такое объяснение, будучи фактически верным, не является, однако, достаточным. Почему, в самом деле, двухстепенные выборы, не мешавшие революционной мелкой буржуазии достигать власти во многих других органах, оказывались таким непобедимым препятствием именно в департаментских директориях? Почему в больших городах, где собирались департаментские выборщики, организовать революционное влияние оказывалось труднее, чем в мелких коммунах? Почему, наконец, было вместо упразднения департаментов не упразднить двухстепенной системы их выборов? Можно думать, что устранение департаментского звена из политической иерархии якобинской диктатуры обуславливалось не только нуждами текущего момента, но и имело принципиально-структурное значение.

Здесь надо отметить два момента. Во-первых, коммуны являются не только “местным самоуправлением”, но средоточием революционной политики, настоящим выражением народного суверенитета; во-вторых, их акции надо дать единое направление, ибо революционная акция, в противоположность заведованию местными делами, не может не быть централизованной. Оба момента в истории реформы проявляются достаточно ясно, как обуславливающие моменты.

Раньше, чем в борьбе с Жирондой и федералистскими мятежами летом-осенью 1793 новая теория управления получила официальное выражение и начала применяться во всей Франции, она описала полный круг развития в Париже летом 1792, обнаружив и свой классовый смысл, и свою ценность, и свою недостаточность.

Подготовка к восстанию 10 августа до некоторой степени возглавлялась коммуной Парижа, организацией с левым (жирондистским) большинством и [исключительно левым представительством \(мэр Петион, синдикальный прокурор Манюель, заместитель Дантон\)](#).¹²⁴ “Наблюдающее” за столичной коммуной департаментское управление было, конечно, правее, состояло из чистых роялистов и фейанов, которые эмигрировали по большей части еще в течение июля,¹²⁵ и свержению монархии, как могло, противилось. Но как раз в столичном департаменте департаментское управление ничего с коммуной не могло поделать уже в 1792. Много позже генеральный прокурор-синдик департамента [Редерер хорошо пояснил это в своих воспоминаниях об июньских-августовских событиях 1792](#). “Во всех других департаментах главный город составляет только более или менее незначительную часть населения департамента, тогда как в парижском департаменте Париж это - почти все, а дистрикты Со, Бур-ла-Рен и Сен-Дени являются незаметными точками по сравнению со столицей. В других департаментах директория (департаментское управление) может противопоставить муниципалитету главного города другие города, другое население и, значит, может заставить уважать свое законное преобладание... А в Париже мэр, который избран 10-12000 граждан, который является шефом национальной гвардии в 40000 человек и стоит по главе огромных финансов и полиции, равной которой нет во всей Европе... это персонаж совсем другого значения, чем управление, могущее в случае бунта или неисполнения его предписаний противопоставить этому колоссу только мэров из Сен-Дени, Со и Бур-ла-Рен”.¹²⁶

Одной из первых мер повстанческой коммуны в ночь на 10 августа было упразднение департамента “во всем, касающемся города Парижа”;¹²⁷ тогда же Легислатива вынуждена подтвердить эту меру, декретировав немедленные выборы нового, временного, департаментского управления прямым голосованием парижских секций и Сельских округов, “ввиду того, что администрация парижского департамента свелась к очень малому числу администраторов”.¹²⁸

Против этого декрета повстанческая коммуна повела атаку немедленно после закрепления победы революции и тогда же, в течение нескольких дней была использована основная аргументация будущего года. В якобинском клубе 12 августа поднял этот вопрос Антуан, бывший коллега Робеспьера по крайней левой Конституанты, ныне мэр города Метца, только что арестованный своим департаментом за петицию об отрешении короля и после взятия Тюильри освобожденный Легислативой. "Народ снова взялся за осуществление своего суверенитета, - рассуждал он, прощаясь с парижскими якобинцами, - и все-таки Национальное собрание декретирует, что парижские секции должны назначить директорию (департамента). Экая же страсть к директориям у Национального собрания (Quelle soif de Directoires a donc l'Assemblée nationale)! Не знает оно, что ли, что директории-то и объединились против свободы во всем государстве? А между тем, зачем вообще нужны директории? Неужели верят еще в эту максиму аристократа-Монтескье (!), будто необходимо, чтобы власти друг другом уравновешивались? Нет, власти не уравновешиваются, они разрушают друг друга. Национальное собрание начало с того, что стало рабом короля, вот почему народ сверг королевскую власть. Поэтому совсем не следует вводить директории, чтобы препятствовать мерам патриотического, муниципалитета... Национальное собрание не понимает, что такое народ и в чем состоит осуществление его суверенитета".¹²⁹

На следующий день в якобинском клубе изговаряется петиция Легислативе от 48 секций Парижа, в которой секции отказываются приступать к выборам департамента, "потому что абсурдно учреждать две власти в одном и том же городе".¹³⁰ Эта петиция, правда, не подается, зато повстанческая коммуна шлет 12 августа в Легислативу протест через депутацию с Робеспьером и Шометом во главе. Выступление Робеспьера исключительно интересно. "После великого акта, которым суверенный народ только что отвоевал свободу и вас самих (!), не может больше существовать посредствующих звеньев между народом и вами... Народ, вынужденный сам позаботиться о своем спасении, устроил свою безопасность через особых делегатов. Они обязаны принимать самые решительные меры для спасения государства и нужно, чтоб они, избранные самим народом, как его магистраты, имели всю широту полномочий, полагающихся суверену. Если вы создадите другую власть, которая бы господствовала и уравновешивала власть непосредственных делегатов народа, тогда народная мощь не окажется больше единой и в правительственной машине будет существовать вечная возможность раздора... В этой новой организации народ видит новую высшую власть между им и вами, она, как раньше, будет толкать и затруднять деятельность коммуны".¹³¹

Речь, пересыпанная недвусмысленными угрозами по адресу Законодательного собрания и намеками на возможность повторения прямого действия, возымела желаемый результат: тогда же - утром 12 августа 1792, за полтора года до общего упразднения департаментов по закону 14 февраля - Легислатива декретирует, что новый департамент "прекратит осуществлять над всеми актами общей безопасности и полиции, исходящими от представителей коммуны Парижа, присвоенное ему наблюдение"; в дальнейшем коммуна будет сношаться непосредственно с законодательным корпусом и советом министров.¹³²

Этого коммуны все-таки оказалось мало. Новый (временный) департамент собрался 21 августа, и в тот же день повстанческая коммуна решает потребовать переименования его в налоговую комиссию "принимая во внимание, что нынешнее образование нового департамента направлено к созданию власти, которая стала бы соперником власти самого народа" и т.д.¹³³ На следующий день коммуна вызывает к себе новых администраторов департамента, их "распекает" (admoneste) и заставляет доложить Легислативе, "что они не примут другого титула, как только титул налоговых комиссаров".¹³⁴ Суверенное собрание этим недоволено, 29 августа оно декретом отменяет эту перемену названия, но на повстанческую коммуны декрет впечатления не производит: теперь в ее официальных актах департамент величается "временной административной комиссией, избранной народом для замещения департамента", Конвент 28 сентября 1792 должен снова декретом возвращать департаменту потерянное имя.¹³⁵ Во всяком случае, никакой речи о подчинении коммуны департаменту в центре революции не могло быть, уже начиная с августа 1792.

Распространить этот порядок на всю страну оказалось много сложнее, но на парижском опыте у якобинцев выковалась точка зрения для будущей борьбы. Классовый смысл импровизированных теорий, подпиравших в августе 1792 эту точку зрения, достаточно ясен; ниже будет продемонстрирована их недостаточность, а сейчас отметим, что в вопросе о политической организации Франции драматические дискуссии 1793 только повторяли парижский опыт 1792. Столкновения Горы и Жиронды в прениях о конституции часто могут быть, в самом деле, сведены к такой формуле: развязывание революционного движения, как муниципального движения, сопровождаемое необходимым упразднением департаментов, или, наоборот, укрепление департаментов для воспрепятствования коммуна превращаться в очаги массовой революционной акции. Так в дискуссии 15 мая 1793 о районировании Франции по будущей конституции Сен-Жюст выставляет тезис, что "суверенитет нации покоится в коммунах", а "департаментские управления должны быть упразднены, чтобы ослабить там наклонность к независимости". Для связи между коммуна и центром "каждый департамент, разделенный на 3 округа, представляет золотую середину между буйством и бездеятельностью администрации".¹³⁶ Наоборот, жирондисты проводят предложения Салля (Salles), который утверждает, что "муниципализировать Францию значило бы установить анархию и что институт департаментов является гарантией против узурпации".¹³⁷ В жирондистском проекте конституции тенденция к умалению коммун, действительно, проглядывала, поэтому Эро-де-Сешель, докладывая 10 июня свой проект, говорит, что сокращение числа коммун "было бы неблагодарностью по отношению к революции и преступлением против свободы; более того, (que dis-je!) это бы значило впрямь уничтожить народное правление".¹³⁸

Объявление правительства 10 октября 1793 временным революционным влечет немедленное исключение департаментов из иерархии революционных органов, - во всем, касающемся революционных мер, центр отныне будет поддерживать связь непосредственно с дистриктами. В одной фразе доклада

Сен-Жюста к этому декрету дана исчерпывающая формула управления народной революцией, формула неожиданно четкая, редкая для терминологии эпохи: “вы должны гарантировать себя от независимости администрации, раздробить власть, отождествить ее с революционным движением и с вами, и ее умножить”.¹³⁹

Наконец, в декабре по “временной конституции” 14 фримера департаменты официально исключаются из революционных органов. Основные документы, относящиеся к этой реформе, т.е. доклад Бийо-Варенна 18 ноября, и циркуляры Комитета общественного спасения 25 декабря, не оставляют сомнения в органичности этой меры. Бийо-Варенн усматривает “макиавеллистский” план в самой идее формально-демократической администрации, которую приняло Учредительное Собрание, “продавшееся двору”. Наилучшая конституция это та, которая ближе всего “к процессам природы, знающей только три принципа своих движениях - движущую волю, существо, одухотворяемое этой волей, и действие этого индивида на окружающие объекты”.¹⁴⁰ Чудачливая механическая аргументация, о которой Бюше ядовито замечает, что ее как будто “почерпнул школяр в учебнике Кондильяка о силах, точке опоры и рычаге”,¹⁴¹ должна скрыть отсутствие аргументов от политической теории в пользу управления без департаментов. Смысл этих подробно излагаемых “процессов природы” сводится, в самом деле, к тому, что как пишет тот же Бийо-Варенн в циркуляре революционным комитетам, должен быть закон, представляемый Конвентом, наблюдение за применением закона, осуществляемое Комитетами общественного спасения и общей безопасности (*surveillance active*) и дистриктами (*simple surveillance*) и применение закона муниципалитетами.¹⁴² Нет ничего хуже ступенчатости властей, наличествовавшей в системе департаментов: “этот порядок является во всех отношениях дезорганизатором социальной гармонии, ибо он направлен одновременно к разрушению и единства действий и неделимости республики”.¹⁴³

Как будто, сохранение дистриктов несколько противоречит цельности концепции, но нет. Если, как утверждал Барер в прениях 23 ноября, департаменты “беспрестанно оспаривали (*rivalisaient*) законодательство” из-за “огромности” своих полномочий,¹⁴⁴ то, как подчеркивает Бийо-Варенн в том же докладе, “нет оснований опасаться тех же попыток со стороны дистриктов: поставленные непосредственно между внушительной властью Конвента и массой муниципалитетов, они имеют только силу как раз необходимую, чтобы обеспечить исполнение закона”.¹⁴⁵ То же подтверждается и в циркуляре коммуна: “Вы имеете всю необходимую широту деятельности. Дистрикт, власть, от которой вы естественно зависите, осуществляет над вами только наблюдение, которому он и сам подчинен... Вас не ограничивает ничто, кроме законов”.¹⁴⁶

Таким образом, якобинская диктатура это 44000 коммун, объединенных исключительно и непосредственно революционным центром в Париже. Сразу бросается в глаза, что авторы этой системы, укрываясь общими рассуждениями о разделении властей и “процессах природы”, чего-то не договаривают. В самом деле, любому администратору должно было быть ясно, что положение получалось ненормальное. Франция, страна с 25-миллионным населением и обширной по тогдашним условиям сообщения территорией в 24000 кв. лье, оказалась управляемой через уезды (дистрикты), волости (кантоны) и сельские и городские муниципалитеты, - минуя губернские деления! Неудобства должны были получаться страшные, и революционное начальство сразу же их ощутило на самой острой тогда отрасли управления, продовольственной.

Можно прямо сказать, что снабжение армий и потребляющих районов невозможно было бы организовать, если бы в системе революционного правительства вместо нормальной губернской административной единицы, департамента, не оказалась подставленной единица импровизированная - комиссары центра с чрезвычайными полномочиями, распространяющимися на 1-3 департамента. “Из закона 14 фримера получается то опасное неудобство, что какой-нибудь дистрикт, не могущий сам себя прокормить, не может получить помощи из соседних дистриктов, - пишет 31 декабря 1793 комиссар Гарнье из Ламанша Комитету общественного спасения, - потому что эти отдельные административные единицы, не будучи властью одна над другой, не могут распространить своих полномочий со своей территории на соседнюю. Департаментские управления считают, что они не должны заниматься этим существенным предметом; закон им это, как будто, формально запретил, а отсюда следует, что в департаментах, где нет комиссара, один дистрикт осужден на голодную смерть рядом с другим, имеющим излишки, потому что не существует высшей и покровительствующей инстанции, чтобы потребовать вывоза из одного дистрикта в другой”.¹⁴⁷

Подобные нелепости встречались, конечно, сплошь и рядом, и центру оставалось в обход всяких теорий возвращать департаментским управлениям их полномочия везде, где это не представляло политической опасности. После централизации экономической политики в руках комиссии по продовольствию Комитет общественного спасения постановлением 23 декабря 1794, т.е. уже через три недели после закона 14 фримера, разрешил ей “продолжать сношаться как с управлениями дистриктов, так и департаментов по делам о реквизициях”.¹⁴⁸ И через две недели Продовольственная комиссия “факультативно восстановила для реквизиций департамент, как промежуточную инстанцию”.¹⁴⁹

Всего замечательнее, однако, что парижский департамент, еще в августе 1792, как мы видели, выбывший из строя, получил назад самые широкие полномочия, притом по линии политической полиции! После свержения монархии опасений о его политических расхождении с коммуной быть уже не могло. Первый, временный департаментский совет, выбранный тогда же в августе 1792, был умеренный жирондистско-дантонистский, и к тому же совсем неприятельской организацией. Второй, постоянный совет, начавший функционировать только с января 1793, вышел еще однороднее: синдикальным прокурором стал дантонист Люлье, фактическим руководителем совета дантонист Дюфурни. В свержении Жиронды этот департамент играл активную роль: собрав утром 31 мая в помещении якобинского клуба представителей всех сельских муниципалитетов, коммуны и секций столицы и возглавив их, он “придал подобие легальности

образованию центрального революционного комитета”.¹⁵⁰ Так вот, уже через три дня после победы восстания, т.е. 5 июня 1793 этот революционный комитет, несмотря на уверенность многих историков в его исчезновении,¹⁵¹ возродился под названием “комитета общественного спасения парижского департамента”.

В этом качестве он получил верховное заведование всеми революционными комитетами Парижа и сельских кантонов: “в первой половине своего существования революционные комитеты являются почти исключительно исполнителями его приказаний”. На запрос об его компетенции Комитет общей безопасности разъясняет, что “получив свои полномочия от конвентского Комитета общественного спасения (étant une emanation de celui de la Convention), он обладает всеми необходимыми полномочиями для производства арестов, обысков и дознаний”.¹⁵² Совершенно независимый от дантонистского генерального совета департамента, он продолжает свое существование даже после закона 14 фримера. Сразу после этого закона, 12 декабря 1793, Люлье попробовал прикрыть незаконную организацию, но на следующий день, запрошенный центр аутентично разъяснил, что он “осведомленный о заслугах этого комитета перед общественным делом и убежденный в необходимости наблюдать за врагами отечества больше, чем когда бы то ни было, постановляет, что члены этого комитета должны продолжать свою деятельность”.¹⁵³ Так в столичном департаменте почти вплоть до самого Термидора продолжает существовать департаментское управление политической полиции; оно только осенью переименовалось из департаментского комитета общественного спасения в департаментский наблюдательный комитет в соответствии с декретом 25 сентября 1793, запрещавшим какой бы то ни было организации принимать отныне славное имя революционного центра.¹⁵⁴

Объяснялось ли это неожиданное возрождение департаментских полномочий в самом центре революции только желанием устроить теплые местечки руководителям восстания 31 мая, как это утверждает Мортимер-Трено? Или оно было вызвано только стремлением Робеспьера уравновесить дантонистское влияние в департаментском управлении влиянием эбертистским, доминировавшим в повстанческом комитете, как это явствует само собой из немногих имеющихся документов?¹⁵⁵ Не объяснялось ли оно сверх того чисто деловым соображением, - необходимостью организовать в столице борьбу с контрреволюцией таким образом, чтобы полномочия политического розыска не кончались на городских заставах, но распространялись на всю округу, тысячами нитей связанную с Парижем?

По-видимому, некоторым подтверждением последнего предположения служит тот факт, что еще 8 декабря 1792 Конвент, опасаясь серьезных волнений в связи с началом процесса короля, отменяет декрет 12 августа, запрещавший парижскому департаменту вмешиваться в муниципальное управление полиции безопасности.¹⁵⁶ Подтверждается это предположение, как будто, и самым фактом сохранения департаментского наблюдательного комитета много позже уничтожения факций, до самого мессидора, когда робеспьеристское руководство в эбертистском союзнике явно уже не нуждалось. Может быть подтверждением этому предположению служит и обвинительная речь Робеспьера против Дюфурни в якобинском клубе 5 апреля 1794. Дюфурни по словам Робеспьера постоянно бывал на заседаниях правительственного центра, вместо того, чтобы в качестве “председателя департамента” арестовывать контрреволюционеров. “Тогда не было другой власти, которая могла бы их арестовывать, кроме парижского департамента. Они постоянно оставались нетронутыми; постоянно Париж был окружен ими; они стекались во все окрестности этого города”.¹⁵⁷ Очевидно, революционное управление без департаментского посредствующего звена было, вообще, ненормальным положением.

Положение получалось ненормальное, потому что авторы революционной системы управления побоялись продумать свою теорию до конца. Выражена была только половина теории. “Народный суверенитет покоится в коммунах”, т.е. революционное движение это - муниципальное движение. Департаментские управления, оказавшиеся силой, враждебной этому движению, оказались ему враждебны, потому что были внешней для него силой, и именно в качестве организации, внешней муниципальному движению, должны были быть из системы революционного управления исключены. Но значило ли это, что революционная система управления, вообще, не нуждается в посредствующем губернском звене? Совсем не значило, и сами якобинцы за всеми рассуждениями из Кондильяка не могли этого не видеть. Муниципальная система хороша своей наибольшей приближенностью к прямому народоправству. Но прямого народоправства в республике все равно нет, раз муниципальная система возглавляется парламентом (явно еще более далеким, чем департаменты, от самоорганизации масс и юридически, и политически), да и невозможно прямое народоправство в такой большой стране, - это и Сен-Жюст, и Бийо-Варенн хорошо знают. Следовательно, дело идет только о том, чтобы создать нормальные губернские объединения, не минуя муниципальную революцию, а исходя из нее. Проблема департаментов была частью общей проблемы централизации муниципального движения, придания ему единого направления на всю страну.

4. - В одном, во всяком случае, революционные законодатели уже твердо уверены: нет революции вне муниципалитетов, массовые организации являются основной ячейкой революционной власти, французская республика это - единство революционных коммун и секций. Так дело не только обстоит фактически, но так дело и должно обстоять по мысли лидеров Горы. Совершенно необходимо обратить внимание, что с таким пониманием роли муниципалитетов монтаньяры выступают в конституционных спорах с жирондистами, в дискуссиях по органическому закону, что эту же мысль Эро-де-Сешель протаскивает в объяснение к проекту “окончательной” конституции, и что в докладе к закону 14 фримера Бийо-Варенн допускает многозначительную обмолвку: это опыт, “успех которого вам послужит моделью для составления органического кодекса конституции, чтобы стереть, порочные следы, которые могли (!) еще там сохранить застарелая привычка или слабость, свойственная частным соображениям”.¹⁵⁸

Превращение органов “местной власти” в политические органы массовой революционной акции было фактом многозначительным и таившим в себе последствия еще более существенные. Революционная акция, будучи акцией массовой, народной, т.е. осуществляясь мельчайшими низовыми ячейками власти, неизбежно должна быть в то же время акцией централизованной. Здесь мы подходим к вопросу, который является не только центральным пунктом проблемы массовой организации, но, может быть, важнейшим во всей проблеме якобинской диктатуры. Каким образом, на каких основаниях осуществлялось объединение революционной акции секций и коммун в 1793-94? Заимствовался ли принцип ее централизации из нее самой или механически привносился в нее извне?

Что монтаньяры, оставаясь демократами, всегда были централистами, это, как будто, никем не подвергалось сомнению. Но их обычные методы централизации не имеют никакого принципиального интереса. Централизация массового движения путем присылки, на места полномочных комиссаров центра не есть органически революционный способ централизации. Еще высокоревOLUTIONная Легислатива уполномочила в конце августа 1792 своего Ролана разослать в департаменты агентов “для ускорения формирования новых батальонов и способствования нуждам национальной обороны”; правда, после того, как в дело вмешался Дантон, и посланцы Ролана оказались одновременно посланцами наблюдательного комитета повстанческой коммуны, Легислатива испугалась и послала им вдогонку строгий декрет с просьбой “замкнуться в точные рамки полномочий”, в частности не смещать королевской администрации.¹⁵⁹ Но Конвенту приходится дебютировать (с 22 сентября 1792) с посылки комиссаров уже “с неограниченными полномочиями”. Так 30 сентября в Северный департамент комиссары посылаются, “чтобы обеспечить добрый порядок как в армии, так и среди прочих граждан”. В марте 1793 эта мера обобщена, Франция поделена на 41 отдел, в каждый входит по два департамента и в каждый посылается по два комиссара. Просто для обеспечения “добраго порядка” и “национальной обороны” Конвенту приходится идти по линии наименьшего сопротивления, и желающие могут без труда обнаружить целую серию декретов, культивирующих этот способ консолидации революционных сил.¹⁶⁰

Пока дело ограничивается национальной обороной такой способ, пожалуй, достаточен, хотя и явно ненормален. Нет сомнения, что институт комиссаров принес много пользы. Даже жирондистскому Конвенту посылать приходилось людей энергичных, т.е. левых, так что в якобинском клубе даже жаловались, что Гора остается постоянно в разгоне и подумывали уже, не брать ли в миссию людей со стороны.¹⁶¹ После 31 мая жирондисты даже самый институт начали представлять, как результат якобинского насилия над Конвентом. В протесте 74 депутатов, подписанном 6 июня 1793, одним из доказательств несвободы Конвента выставляется тот факт, что он “был принужден (forsee) снабдить неограниченной властью комиссаров, которых он отправлял в департаменты и в армии, и которых назначала исключительно эта факция”.¹⁶² Эти комиссары выполняли колоссальную работу, которую без них выполнить было бы некому. Они заполняли пустоты в революционном управлении, но заполняли в чрезвычайном порядке. Мера была обоюдоострая. Вдали от Парижа в роли местных сатрапов носители мелкобуржуазной добродетели замечательно быстро разлагались, - их-то больше всего и боялся неподкупный Робеспьер, из них-то больше всего и вышло Тальенов, Фуше и Фреронов; от центра они при тогдашних путях сообщения и разрушенном транспорте отрывались очень скоро, - фактически руководить ими Комитету общественного спасения было не менее трудно, чем оседлой местной властью; и действие на революционное управление мест они своими чрезвычайными полномочиями оказывали часто не столько подбодряющее, сколько ошеломляющее. “Большое зло состоит в том, - говорил Карно в докладе 1 апреля 1794, - что появление народного представителя в какой-нибудь пункт, вместо того, чтобы стимулировать общественную администрацию, как будто ее вдруг парализует; каждый считает себя освобожденным от обязанности действовать в присутствии власти, которая может решать все; в результате все пересылается ему”.¹⁶³ Через две с половиной недели Комитет отозвал из миссии 21 комиссара, и по-видимому самый институт должен был прекратить свое существование. На этом этапе революции такой метод централизации уже явно не годился. “Очевидно, что Комитет хотел управлять посредством одних национальных агентов, которых он держал в руках”.¹⁶⁴

Национальные агенты были рождены еще законом 14 фримера в качестве должности, заменяющей бывших синдикальных прокуроров коммун и дистриктов. По тексту закона нелегко разгадать даже смысл новой терминологии: статьи 14-22 отдела II “временной конституции”, толкующие о замещении, скромно умалчивают о том, что национальные агенты являются властью назначенной, в то время как прокуроры-синдики были властью выборной. Но очень похоже, что сами авторы не вполне уяснили смысл своего нововведения. Заменить синдикальных прокуроров “национальными прокурорами” предложил впервые Дантон в дискуссии 23 ноября, при чем смысл реформы указал, как всегда, очень точно: национальные прокуроры назначаются сверху и не имеют привилегии несменяемости.¹⁶⁵ Через 10 дней, 4-го декабря, Бийо-Варенн принес новый, в третий раз переработанный проект закона, где уже фигурировали “национальные агенты” и где о порядке замещения ничего не говорилось. Это вызвало существенные недоразумения в прениях: Барер предложил замещать их по выбору генеральных советов коммун и дистриктов, а Мерлен из Тионвиля даже прямо первичными собраниями. Смысл новой должности разъяснился только в выступлении Кутона. Предложение Мерлена, указал он, было бы уместно в обычные времена, а предложение Барера “противоречит и обычному правлению, и правлению вынужденному обстоятельствами. В обычном правлении право выбирать принадлежит народу и вы не можете этого права его лишить. В чрезвычайном правлении все побуждения должны исходить из центра, выборы должны идти от Конвента... Мы находимся в чрезвычайных обстоятельствах. Следовательно, те, кто взывают к праву народа, хотя воздать его суверенитету ложную честь” и т.д.¹⁶⁶ По большей части в национальные агенты были просто переименованы прежние синдикальные прокуроры и так от муниципалитетов незаметно было отнято право распоряжаться самыми активными своими агентами. По замечанию Бюше, эта мера “доказывает, что прежний муниципальный режим, несколько

федералистский... связан теперь с государственным единством” и закончен процесс “концентрации и консолидации диктатуры в руках Комитета общественного спасения”.¹⁶⁷ Но если это даже и так, то следует заметить, что “закончена” централизация в формах, чуждых самому революционному движению и не имеющих никакого принципиального интереса. Последнее подчеркивается и объяснениями Кутона: это мера, вынуждаемая только чрезвычайными обстоятельствами.

Между тем, для централизации революционного движения вовсе не достаточно механическое стягивание полномочий в какую-то точку наверху: невозможно полностью подменить актами техническо-административными подлинную классово-политическую консолидацию революции. Итак, проблема ставится таким образом: не было ли в практике якобинской диктатуры намеков на централизацию в последнем смысле?

5. - Классически либеральная доктрина власти, которая оставалась и доктриной французской революции, сводится к тому, что весь единый и нераздельный народ избирает политическую власть, которой потом противостоят лишь индивиды, как политически полноправные граждане; сверх того, отдельные части народа, группируясь по своим местным, корпоративным, профессиональным и т.п. интересам, учреждают органы этих частных интересов, - которые никакого политического значения иметь не могут. Мы видели, как опыт развертывания революционной борьбы подшиб эту теорию хотя бы во второй ее части: органы “местной власти” стали органами политическими, и даже решающего значения. Естественным кажется ждать продолжения: материально-демократическая организация власти должна распространяться все выше и выше, вплоть до демократической верхушки власти.

Несомненно, что до самого конца идея необходимости “завершения постройки” так и не ассимилировалась в сознании робеспьеристов: Конвент, ставший явно и для них просто фетишем, лишней организацией, оставался все же почтенным фетишем, расставаться с которым не решались. Но так же несомненно, что необходимость этой организации как обходимость практикой революционных восстаний они постоянно, и реальность осуществимость ее должна была признаваться вполне доказанной.

Поступательное движение революции выработало некий шаблон, который к 1794 году должен был стать ясным для всех. Во-первых, инициатором каждого существенного шага вперед являлись не законодательный корпус, но низовые, муниципальные организации. Во-вторых, осуществить этот шаг постоянно оказывалось возможным лишь ценою более или менее насильственного нажима на законодательный корпус. И в третьих, для достижения эффективного нажима неизбежно приходилось в широком масштабе объединять революционные силы, - вне законодательного корпуса и против него. Третий признак решительно становится фатальным, и если сами революционеры старательно не замечали его значения и его тенденций, то их противники это, конечно, отлично замечали и на это постоянно указывали.

Еще парижские дистрикты с весны 1789, перейдя границы избирательного органа, немедленно же обнаруживают тенденцию к объединению, по крайней мере, в пределах столицы. В июле, за день до восстания, они создают “перманентный комитет”, внесший некоторую организованность в восстание 14 июля и выбранный достаточно революционно, между прочим, с участием “граждан всех классов”.¹⁶⁸ В декабре они пытаются снова создать центральный орган и, вообще, дистрикты “пытаются уже перед лицом официального собрания представителей породить собрание официальное под именем центрального комитета дистриктов”¹⁶⁹ и проявляют “недвусмысленную тенденцию действовать самостоятельно, обойти промежуточное звено представительного корпуса и осуществлять непосредственное правление”.¹⁷⁰

Цветочки 1789 превратились в ягоды 1792. **Восстание 10 августа** готовят фактически уже бесцензовые секции, они создают санкюлотскую по составу повстанческую коммуны и та, организуя движение, связывается с коммунами других городов, возглавляет федератов, вообще организует общенациональное движение. Выделенный ею наблюдательный комитет управляет созданными им органами политического розыска в секциях и в провинции, присваивает себе общую полицию и проводит полицейские меры суверенной и притом неконституционной власти. Вся эта практика не только не кончается с восстанием, но наоборот, усиливается после победы. Коммуна рассылает комиссаров в провинцию, она “вызывает ежедневно для отчетов министров, магистратов, администраторов, которые не обязаны перед ней никакими отчетами”, она принуждает Законодательное собрание признать ее независимой от департаментского управления и наконец, уже в конце месяца, когда Законодательное собрание начинает особенно подчеркивать ее “временный” характер, объявляет себя несменяемой.¹⁷¹ Особенно энергичную деятельность развивает ее наблюдательный комитет, который после закона 11 августа об общей полиции становится фактически неограниченной властью. Он проводит знаменитые повальные обыски 29-31 августа, выловив от 3 до 8000 подозрительных, он организует и их финал в сентябрьские дни в виду неспособности Легислативы создать действительно революционный политический суд, он арестовывает на два часа целое военное министерство и, постановив арестовать министра внутренних дел и председателя комиссии 21, производит обыск в министерстве Ролана и на квартире у Бриссо. Его полицейские связи с департаментами настолько сильны и исключительны, а настроения провинции после переворота еще так неопределенны, что Легислативе приходится терпеть его существование даже в сентябре, когда уже собирается новая коммуна, и Робеспьер бросает там прозрачный намек, что “в этих трудных обстоятельствах нет, как будто, другого средства спасти народ, как возвратить ему власть, которую Генеральный совет от него получил”.¹⁷²

Что означала такая практика? Почти то, что усматривали в ней реакционеры: “коммуна Парижа, благодаря последовательным узурпациям достигла образования государства в государстве: если ее Генеральный совет со своими 288 членами был учредительной властью, то наблюдательный комитет был ее исполнительной властью”.¹⁷³

Ограничимся только несколькими оценками современников. Оценки начались с первых же дней открытия Конвента. Это жирондистское собрание имело много оснований опасаться за свой будущий суверенитет рядом с всемогущей коммуной 10 августа. Поэтому деятельность Жиронды в Конвенте начинается с яростных нападков на учреждение, организовавшее революцию 10 августа, ценность которой не оспаривают и нападающие. Все дело в том, что эта революция повлекла за собой зарождение какой-то новой формы власти. “Вам говорят, граждане, что не существует проекта диктатуры, - восклицает Барбару 25 сентября 1792; - он не существует! Но я вижу в Париже дезорганизаторскую коммуну, которая рассылает комиссаров во все концы республики, чтобы командовать другими коммунами, которая издает приказы об арестах депутатов законодательного корпуса и против министра, - официального лица, принадлежащего целой республике, а не городу Парижу. Проект диктатуры не существует! А эта самая коммуна Парижа пишет ко всем коммунам республики, приглашая вступить с ней в коалицию, одобрить все, что она произвела, признать в ней средоточие властей”.¹⁷⁴

В том же заседании атаку продолжает Камбон, тогда еще скорее жирондист. “Я видел, как муниципальные власти преследовали народных представителей, которых нация объявила неприкосновенными; я видел, как они рылись в бумагах министерств (dans les depots) как вмешивались в отчетность государственных касс и опечатывали их. Какой еще пример диктатуры можно было бы дать?.. Да, нам хотят навязать муниципальный режим древнего Рима” и т.д.¹⁷⁵

Позже, в заседании 29 октября жирондист Луве, перечисляя грехи Робеспьера, так характеризовал это время: в начале сентября “при посредстве слишком хорошо известного городского наблюдательного комитета заговорщики засыпали всю Францию посланием, в котором все коммуны республики приглашались к убийству людей и, что еще более ужасно, к убийству свободы, потому что вопрос был ни о чем меньшем, как о том, чтобы добиться коалиции всех муниципалитетов и их объединения с парижским. Последний должен был стать центром общей власти, - что ниспровергло бы целиком и полностью существующую форму правления. Такова была система заговорщиков; это план, который они частично осуществили”.¹⁷⁶

Собственно, “печальной памяти наблюдательный комитет”, созданный революцией 10 августа 1792, так и не успел отмереть до революции 31 мая 1793, по крайней мере в умах современников. Только что начала на новой основе обостряться революционная классовая борьба, как фикция возглавления революции Конвентом терпит крах и призрак “муниципальной диктатуры” возникает снова. Инициатива революционных выступлений теперь передвигается налево, и современники уверены, что например у эбертистов “ужасная система состояла в распространении муниципального режима коммуны Парижа, по подобию древнего Рима (!), на всю Францию”.¹⁷⁷ Если системы такой и не было, то *необходимостью* для партии, организующей революцию, такой “муниципальный режим” был.

Продовольственные затруднения с февраля 1793 выдвигают этот призрак обычно в весьма “экономическом” облике и на полгода связывают его судьбу с именем бешеных. В помещении якобинского клуба с декабря 1792 заседает центральный комитет “Объединенных защитников 84 департаментов”, - организация федератов, прибывших в Париж к празднованию 14 июля 1792 и принявших весьма активное участие в свержении монархии. Оставленные в Париже жирондистами, как их будущая поддержка, федераты в атмосфере революционного кипения столицы быстро проделали полный круг политического развития, и в петициях 3 и 12 февраля их организация выступает уже рядом с объединением 48 секций под знаменем Жака Ру и Варле.¹⁷⁸ В речи [от депутации 12 февраля в Конвенте](#) их оратор допускает неосторожность: они требуют регламентации цен, как “депутаты 48 секций Парижа, от имени 84 департаментов”, что немедленно вызывает очень понятные протесты не только правой, но и Горы. Чем же тогда оказывается Конвент? “В Париже, действительно, существует второй Национальный Конвент, - говорит жирондист Мазюе (Mazuier), - и я призываю к этому все ваше внимание. В Париже существует общество, которое не похоже на народные общества; это- объединение граждан, именующих себя защитниками республики, с которым официально, постановлениями и комиссарами, сообщаются секции Парижа и которое считает себя полномочным уславливаться об интересах департаментов... Я призываю Конвент внимательно следить за этим обществом, ибо если оно просуществовало бы дольше и осуществляло бы те мнимые права, которое оно себе присваивает, оно ниспровергло бы все основы национального представительства”.¹⁷⁹

Новое обострение продовольственной нужды, новые тревожные вести из армии Дюмурье, - и сразу новая попытка внепарламентского политического объединения. В конце марта и начале апреля одновременно Варле организует в епископстве центральный комитет делегатов секций, “нечто вроде незаконной коммуны”, а Ру - общее собрание секционных наблюдательных комитетов. Их цель добиться установления максимума и расправы с штабными предателями. Движение настолько стихийно, что вначале вызывает косые взгляды не только конвентской Горы, но даже эбертистской коммуны. К 10 апреля согласие, однако, устанавливается не только между Шометом и бешеными, но и с Горой: “коммуна и секции помогут Горе победить Жиронду; за это Гора поддержит социальную программу бешеных”.¹⁸⁰ Получается учреждение, открыто именующее себя “Центральным собранием общественного спасения, сообщающимся с департаментами под охраной народа”,¹⁸¹ - так организуется покуда чисто экономическое движение, приведшее к принятию первого закона о максимуме. Но тенденция политического роста этой организации по крайней мере настолько очевидна, чтобы позволить будущему монтаньяру Бареру в заседании Конвента 2 апреля говорить о “новой, готовой подняться тирании”. “В самом деле, что означает комитет, находящийся рядом с Конвентом и связывающийся со всеми департаментами?.. Секции Парижа имеют право объединяться с нами (!) для наказания виновных; секции Парижа не имеют права образовывать комитета связи со всеми департаментами... Это система тех, кто до настоящего времени хотел деградировать, унижить национальное представительство, чтобы затем узурпировать его власть”.¹⁸² Конвент там же принимает сердитый декрет, “объявляющий всем гражданам”, что он со всею решительностью будет подавлять “новую тиранию, которая возникает и угрожает узурпировать или уничтожить национальное представительство”,¹⁸³

однако новая тирания продолжает существовать, секционные объединения уже не прекращаются до самого переворота 31 мая, они уже явно преследуют политические цели, направленные против Конвента, петиции против депутатов-изменников следуют одна за другой, и жирондистам остается только удивляться, на каком это основании парижские секции присваивают себе право выгонять из Конвента негодных им депутатов или обсуждать, минуя Конвент, меры спасения всей республики.¹⁸⁴

Недостаточность петиций приводит к необходимости более решительных мер. Организация секционного давления на Конвент официально обсуждается в специальных собраниях представителей секционных наблюдательных комитетов по крайней мере с 20 мая. Вечером 29 мая в епископстве начинает заседать центральный повстанческий комитет, куда каждая секция делегировала по два специальных представителя; этот комитет и руководит операцией 31 мая-2 июня.¹⁸⁵

Последующая карьера этого повстанческого комитета менее эффективна, чем судьба его предшественника 10 августа. Заместить конституционную власть, как это фактически имело место в 1792, он не смог, да теперь этой не требовалось, но бытия своего тоже не прекратил: он сам был включен в систему "конституционных властей", правда, не совсем конституционным образом. Протокол Комитета общественного спасения (тогда еще дантонистского) от 4 июня 1793 гласит, что вызванные туда члены повстанческого комитета на некоторых условиях технического порядка "согласились с необходимостью сдать свои полномочия и предложили сделать это перед собранием, которое департамент созывает на четверг (6 июня) или даже раньше".¹⁸⁶ Как выше уже было отмечено, повстанческий комитет превратился в "комитет общественного спасения парижского департамента", управляющий политической полицией секций и кантонов. В этом качестве его существование по собственным протоколам обнаруживается еще 20 августа 1793,¹⁸⁷ на самом же деле он, в обход закону, пережил и закон 14 фримера, просуществовав по крайней мере до 7 июля 1794.¹⁸⁸

При этом еще надо заметить, что столь законопослушное и столь стремительное превращение органа восстания в мелкую "конституционную власть" не для всех явилось делом само собой разумеющимся и не всем пришлось по вкусу. По-видимому, это превращение было делом рук перевешивавшего тогда дантонистского руководства, в частности представлявшего департамент Дюфурни, "который, вызвав движение, старался потом его умерить". Сам Дюфурни и апологетической брошюре, выпущенной после Термидора, представлял дело таким образом: "После окончания кризиса (т.е. 2 июня) я наблюдал еще за подозрительными людьми, боясь, чтобы кровожадные не добились преступной смуты продолжения революционного движения, отныне бесполезного, потому что справедливость была достигнута и Конвент освобожден. Опасаясь с достаточным основанием, чтобы власть временно делегированная народом, не была опозорена или коварно использована диктатурой, которая только ожидала своего диктатора, я содействовал новому собранию народа, которое, упразднив Центральный революционный комитет, заменило его Комитетом общественного спасения департамента. Это настолько верно, что Робеспьер, этот постоянно находящийся за кулисами диктатор... обвинял меня 16 жерминаля у якобинцев в желании задержать тогда народное движение".¹⁸⁹ В этот день, 5 апреля 1794, Дюфурни был действительно исключен из якобинского клуба и арестован после свирепой филиппики Робеспьера, который обвинял его, между прочим, в том, что "31 мая он пробрался в повстанческий комитет, а когда увидел, что народное движение побеждает, вышел оттуда искать средств сделать его бессильным".¹⁹⁰

Нечего и говорить, что Робеспьер не думал вовсе заместить Конвент муниципальной повстанческой организацией; но похоже на то, что он хотел продлить ее существование и укрепить ее организацию.

Превращение Конвента из жирондистского в монтаньярское собрание после переворота 31 мая и образование в его недрах революционного центра с переходом Комитета общественного спасения в июле 1793 в руки робеспьеристов не кладут конец явлению, характеризовавшему буржуазную революцию до сих пор. По-прежнему парламентское представительство оказывается недостаточным, по-прежнему для каждого нового поступательного шага революции требуются самостоятельные организации масс, по-прежнему они находят выражение в формах, заставляющих вспоминать о "муниципальной диктатуре". Продовольственный кризис Париже, обострившийся с началом федералистской контрреволюции, 31 июля 1793 вызывает образование в том же знаменитом епископстве комитета представителей секций, которые хотят контролировать продовольственное управление своего муниципалитета. Это требование выставлено в угрожающем тоне, представители комитета разъясняют муниципалитету, что они представляют "волю народа" и что общественным служащим нечего тут обсуждать, им "остается лишь повиноваться". Только ценой уверток и обманов официальному руководству удается потушить движение к концу августа: 25 числа Конвент декретирует роспуск этой секционной организации и с декабря ликвидирует ее руководителей.¹⁹¹ Движение 4-5 сентября 1793, имевшее значение новой революции, также начиналось как движение масс, организованных в секции, не только против Конвента, но и против коммуны. Эбертисты коммуны, унаследовавшие теперь политику бешеных, смогли устоять перед этим движением только потому, что решили ему подчиниться и его возглавить, и в Конвенте 5 сентября испуганные дантонисты, раньше чем согласиться на максимум и революционную армию, заикнулись все-таки, как мы видели, об опасностях "секционной революции, на подобие той, что имела место в Лионе, Марселе, Тулоне".¹⁹²

Наконец даже после окончательной консолидации революционного руководства на мелкобуржуазной основе, в конце октября начале ноября 1793, имеет место попытка внепарламентской политической организации. По предложению эбертистской секции Пантеона организуется Центральный революционный комитет снабжения, составленный из двух представителей от каждой секции. Он намерен обеспечить продовольствование столицы любыми средствами, в том числе и повальными обысками, о чем и извещает 1 ноября Комитет общей безопасности. Революционный центр теперь не только не одобряет "анархических

действий”, но и имеет возможность им воспрепятствовать. В тот же день Комитет общественного спасения в соединенном заседании с Комитетом общей безопасности запрещает обыски и кассирует самочинную организацию.¹⁹³ На этот раз ликвидация очередной “муниципальной диктатуры” проходит безболезненно.

6. - Все перечисленные тенденции образования новых центров революции были только тенденциями, но они недвусмысленно свидетельствовали о том, что формально-демократическое представительство оказывалось для революции не только недостаточным, но прямо лишним, и логика событий требовала от мелкобуржуазных революционеров создания другого центра, органически вырастающего из массового движения, т.е. из низовых ячеек власти. Об этом можно говорить только как о тенденции, притом тенденции, встречавшей органическое отталкивание в идеологии самих мелкобуржуазных революционеров. Но логика революции сильнее всякой идеологии, и еще неизвестно, чем кончилась бы судьба Конвента, продержись робеспьеристы хотя бы еще полгода. Стоит во всяком случае отметить два момента, способствовавшие изживанию монтаньярами парламентского фетишизма. Во-первых, это та переоценка ценностей в отношении их понимания диктатуры, которая ясно наметилась весной 1794; об этом речь будет в следующей главе. Во-вторых, сама формальная демократия, в том до отказа развитом виде, в каком она существовала на левом фланге буржуазной революции, давала некоторые возможности перерастания в новое качество. Было бы очень интересно проследить, как в течение 1789-1793 политическая практика повторяла диалектику политических учений XVIII века. Либеральная теория государственного устройства в борьбе с абсолютизмом отправлялась от феодальных образцов сословного и корпоративного представительства с императивным мандатом и прочими формами депутатской связанности, в виде права отзыва, последующей ответственности депутата и т.п. Победа чисто буржуазных (фейанских) элементов в Конституанте привела к победе собственно-буржуазных конструкций индивидуального и общенационального представительства. Эти конструкции политически оформили победу над провинциальным и сословным партикуляризмом старой Франции, но в конституции 1791 на основании свободного мандата они освятили строй, “подменявший на деле начало народного суверенитета суверенитетом парламента”. Дальнейшая передвигка власти влево, к последовательным буржуазно-демократическим элементам, вызывает как бы возрождение феодальной системы, но в обновленном виде и на повышенной основе.¹⁹⁴ Возрождение депутатской связанности теперь знаменует общий кризис и (у бабувистов) даже начало преодоления парламентской системы вообще. Государственно-правовые представления периода якобинской диктатуры могут быть схематично изложены так.

Представительное правление хорошо не само по себе, а как выражение народного суверенитета. Народный суверенитет выражается выборным представительным собранием, - но не только им и даже не главным образом им. Деятельность народного представительства должна корректироваться самим народом и эти коррективы, начинаясь от скромных императивных мандатов, депутатской ответственности и народного референдума (без законодательной инициативы), кончаются теорией прямого народоправства, лишь дополняемого представительной системой. Элементы этой теории имеются у всех революционных групп, начиная по крайней мере с жирондистов.

Конвент открывается под лозунгом новой истины, провозглашенной Дантоном: “Не может быть конституции, кроме той, которая текстуально, поименно принята большинством первичных собраний, - вот то, что вы должны объявить народу”.¹⁹⁵ Через 4 дня Конвент отклоняет предложение признать французскую республику представительной,¹⁹⁶ а еще через день жирондист Бюзо при общих аплодисментах требует назначения магистратов первичными, а не выборными собраниями, “потому что народ - действительно народ именно там, в первичных собраниях”.¹⁹⁷ В письменных объяснениях к своему проекту конституции Кондорсе указывает основное его качество в стремлении “дать непосредственному осуществлению народного суверенитета наибольшее возможное применение”. Предлагаемая конституция является “представительной во всем том, что может быть хорошо и во время выполнено только собранием и что безо всякой опасности для свободы может быть поручено представителям; она является непосредственно демократической во всем том, что может быть сделано одновременно отдельными собраниями и чего нельзя перепоручить, не задевая прав народа”, - конкретно в создании конституционных законов “и в цензуре изданных представителями угнетательских или несправедливых законов”.¹⁹⁸

Ту же теорию проводит в своем проекте Эро-Сешель, еще усилив ее обязательным народным утверждением всех законов. Вследствие этого “депутат облекается двойным характером: мандатарий в законах, которые он должен предлагать для санкции народа, он будет представителем только в декретах”.¹⁹⁹ “Французская конституция не может быть названа исключительно представительной, ибо она является демократической не в меньшей степени, чем представительной”.¹⁹⁹

Если жирондисты, дантониисты и эбертисты проповедают, таким образом, нечто среднее между представительным и прямым народоправством, то чистым адептам руссоизма от парламентского фетишизма отделаться и вовсе нетрудно: для них представительная система - только зло, которое вызывается большими размерами государств и должно быть обезврежено, насколько это возможно. “Народ, мандатарии которого дают отчет только другим неприкосновенным мандатариям, не имеет конституции, - говорит Робеспьер в прениях 10 мая 1793 о конституции, - ибо от них зависит безнаказанно предавать его и предоставлять другим его предавать. Если в этом состоит смысл представительного правления, я признаюсь, что я разделяю все анафемы, изрекавшиеся ему Жан-Жаком Руссо”.²⁰⁰ В программной речи 5 февраля 1794 он дает и положительное определение “правительства демократического или (что то же) республиканского”: “демократия это - государство, где народ-суверен, руководимый созданными им законами, делает самостоятельно все, что может делать, и через делегатов то, чего не может сам”.²⁰¹

Словом, людям 1793 года хорошо была известна та сакраментальная формула, которая была обычным у мелкой буржуазии путем для перерастания формальной демократии в материальную и которая и по сей час остается предельной мудростью буржуазной политической доктрины: парламентарная демократия, одобренная референдумом. Надо еще только заметить, что людьми революции она исповедовалась в значительно заостренном виде, без того фетишистского формализма, который она получила у их консервативных потомков. Народ является народом не только, и даже не столько в законно оформленных “первичных собраниях”, сколько в повседневной своей революционной акции и в восстаниях; критерий народности тех или иных политических актов надо, вообще, искать не в формальных признаках, а в материальных, - в их соответствии целям и интересам народа. В только что цитированной речи Робеспьера 5 февраля 1794 рассуждение о демократии начинается с утверждения, что она совсем “не является государством, где народ, постоянно собранный в заседаниях, сам управляет всеми делами”.²⁰² Робеспьеристы всегда выступают против первичных собраний, когда к ним зывают для суда над народным восстанием: это для них “апелляция ко всем тайным врагам равенства” на “то единственное время, когда народ только и выражал свою собственную волю, т.е. время восстания 10 августа”.²⁰³ И понятно, почему мелкобуржуазные демократы, в противоположность жирондистам могут поставить под сомнение народность первичных собраний. Они знают, что “нельзя утомлять продолжительными собраниями” “наиболее многочисленную, несчастную и чистую часть народа”, иначе “надменные буржуа и аристократы... как хозяева собраний, покинутых простой и бедной добродетелью, безнаказанно разрушат дело героев свободы”.²⁰⁴ Они видят, что в жирондистском проекте конституции из-за “постоянных собраний” “богатый класс станет верховным хозяином собраний и из-за избытка плохо понятой демократии необходимо возникнет род ужасной аристократии, почти абсолютной аристократии богатых”.²⁰⁵

Они требуют, словом, материальных критериев суждения о народности и, найдя их в революционной народной акции, не боятся поставить ее выше законодательных собраний. Марат только резче других выражал их общую мысль, когда отвергал все формальные гарантии охраны народных интересов, даже референдум и требовал личной диктатуры. В самом деле “подвергнуть санкции народа все декреты - дело невозможное, подвергнуть же только главнейшие - непрактичное: это значило бы оторвать купца, ремесленника, рабочего, земледельца от их ежедневных занятий, чтобы преобразить их в законодателей; это значило бы опрокинуть все отношения, поставить вверх дном государство, развалить его и сделать из него пустыню”.²⁰⁶ Во время революции устраивать по всей форме первичные собрания это нелепость. “Держать на ногах в течение шести недель пять миллионов человек”, - “это признак безумия, за которое нынешние законодатели заслуживают места в сумасшедшем доме”.²⁰⁷ Наоборот, против участия в событиях народа в форме непосредственной революционной акции Марат никогда возражать не станет. Потеряв надежду на благополучный для демократов исход выборов в Конвент, он требовал его разгона еще раньше, чем тот собрался. “Нас предают со всех сторон, - писал он 15 сентября 1792 года в *Ami du Peuple*, - министры, административные власти, высшие офицеры, военные комиссары, и разложившееся большинство Национального собрания, этого центра всех измен... Важно, чтобы Конвент был постоянно под наблюдением народа, чтобы народ мог побить его камнями, если он забудет свой долг”.²⁰⁸

Монтаньяры отождествляют законодательный корпус с народом только тогда, когда они твердо уверены, что законодательный корпус завоеван их влиянием. Тогда они защищают его от нападков со стороны. Выступая против Жака Ру в якобинском клубе 28 июня 1793, Робеспьер говорит, что самую народную в истории конституцию выработало “Собрание, которое некоторое время было контрреволюционным, но предварительно претерпело крупные изменения”; поэтому “теперь те, которые выступают против конвентской Горы, суть единственные враги народа”.²⁰⁹ То же рассуждение повторяет он 7 февраля 1794, против эбертиста Брише, предложившего “исключение жаб из болота”: “Если бы национальное представительство страдало от угнетения, я приветствовал бы рвение предыдущего оратора; но я принужден сказать, что этот оратор молчал в то время, когда Конвент был угнетен Бриссо и его соучастниками”.²¹⁰ Таким воззрением далеко до парламентского фетишизма, до голого отождествления парламента с народом. Наличие таких элементов в мировоззрении монтаньяров и позволяет думать, что уцелей якобинская диктатура несколько дольше, она сумела бы изжить нелепую форму централизации и перейти к такой форме, которая вынуждалась всем ходом массовой революционной борьбы.

7. - Эта форма, конечно, не была только парламентаризмом, дополненным референдумом, она не могла быть и прямым народоправством, увенчанным парламентом. Та политическая организация, которая является единственно возможной рациональной формой массовой народной революции и в которую и упирались постоянно мелкобуржуазные революционеры в практике восстаний, является чем-то принципиально новым и высшим по типу по сравнению со всеми видами государственного устройства, имевшимися в формально - демократическом арсенале либерализма.

Это материальная демократия, чуждая частнособственническому (или юридическому) существу либерализма, но способная зато организовать аппарат власти, подчиненный действительным интересам большинства, - это то и осталось непонятным для революционеров мелкой буржуазии. “Прямая демократия” была бы наилучшим решением в пределах одной городской секции, но как о политической форме национальной революции о ней думать не приходилось. В период революции 10 августа 1792 “у некоторых политиков как будто была идея чего-то вроде непрямого правления парижских секций, которые, руководясь народными обществами, навязали бы свою волю Национальному собранию”, говорит Ф.Брэш. “Но эта политика фактической власти через парижские секции была неосуществима (*impraticable*), - прибавляет он тут же. - Было и могло быть только два собрания, способных приобрести право говорить от имени суверена: Легислатива и коммуна”.²¹¹

Вопрос, следовательно, заключался в том, как связать столичную коммуну, фактически руководившую революцией, с ее собственными секциями и с другими коммунами и их секциями? Как добиться такой формы политической связи, которая, не нарушая первого совершенно необходимого условия народной революции, покоящейся в коммунах и секциях, - демократизма власти, удовлетворяла бы и второму необходимому условию, - ее единству? Эта форма как будто естественно открывалась в устранении из политической иерархии всего, постороннего коммунам, и в построении суверенной власти посредством ступенчатой иерархии между коммунами. С точки зрения мелкобуржуазных демократов здесь мог обнаружиться только один недостаток - многостепенность выборов. Но, действительный недостаток при парламентской системе, многостепенность здесь как раз с точки зрения политической утрачивала все свои отрицательные черты: политическая акция здесь на всех ступенях продолжала бы оставаться в недрах классово-однородных органов.

Во всяком случае, именно в такую форму организации упиралась политическая практика 1792-4. Ведь дело было не только в том, что, например та же повстанческая коммуна 10 августа рассылала своих комиссаров по всей Франции, давала политические директивы самым отдаленным департаментам и получала из самых разных мест запросы о линии поведения в вопросах, подведомственных явно общенациональной власти.²¹² Дело было в том, - и против этого как раз Легислатива, а потом Конвент "протестовали особенно горячо", - что "коммуна подумывала даже о том, чтобы отправлять комиссаров в другие коммуны Франции, минуя не только правительство (т.е. связь с Временным исполнительным советом), но и департаментские управления. Пример был дан ее наблюдательным комитетом, знаменитый циркуляр которого 3 сентября (с приглашением перерезать заключенных в тюрьмах, как в Париже) был отправлен прямо другим коммунам".²¹³ Оставалось сделать последний и логически из всего предшествующего вытекавший шаг. Столичная коммуна, которая все равно, дошла до того, что стала "суверенным собранием вне Национального собрания и даже над ним",²¹⁴ должна была оформить свой суверенитет, превратившись в центральное представительство всех революционных коммун французской республики. Этого последнего шага якобинская диктатура не сделала, она к нему только приближалась. Революционный центр в ней до конца оставался по происхождению и по структуре инородным телом, но даже та степень приближения к рациональной политической организации революции, которой она достигла, сделала анализ ее с точки зрения либеральной политической доктрины почти невозможным.

Была ли якобинская диктатура, создавшая всесильную, ничем не ограниченную, максимально единообразную власть, централизованным государством? Или же, перенеся центр тяжести в "органы местного самоуправления", снабдив муниципалитеты никогда невиданной широтой чисто политических полномочий, она была государством децентрализованным? Эта антитеза, либеральному сознанию предстоящая как антиномия, вне учета специфической природы революционной и массовой власти, действительно, неразрешима.

Известно, что в эпоху французской революции слово федерализм представляло просто феодальные тенденции старинных провинций к сепаратизму и потому было жупелом для всех решительно революционных групп. В новейшем и очень основательном немецком исследовании Гедвиги Гинтце, посвященном "государственному единству и федерализму" во Франции, фиктивное противопоставление буржуазии и мелкой буржуазии, Жиронды и Горы, по этому признаку, как будто, полностью отвергается. Жирондисты так же не были "федералистами", как и монтаньяры; некоторое увлечение политическими образцами американской революции у отдельных жирондистов встречается не чаще, чем у отдельных монтаньяров (в том числе у Бийо-Варена в 1792) и, обвиняя жирондистов в федералистических замыслах, "люди Горы сами не слишком сильно верили в опасности как раз этого жирондистского федерализма".²¹⁵ Это не мешает автору утверждать, что именно вследствие падения жирондистов федералистская идея была во Франции убита на целый век, что вследствие перехода власти к монтаньярам "малейшая мысль о федералистских экспериментах должна была исчезнуть" и что, вообще, якобинская диктатура означает "неумолимую централизацию" и "утрировку идеи единства" (*Ueberspannung des Einheitsgedankens*).²¹⁶ Если к этому прибавить, что по признанию того же автора жирондистский проект конституции еще перещеголял якобинцев в отношении централизации, ликвидируя политическое значение коммун,²¹⁷ то представления автора о централизме и де-централизме во французской революции потеряют последнюю вразумительность. Это результат такого исследования якобинской диктатуры, которое произведено без учета политического опыта Коммуны 1871 и одиннадцати лет. Октября, и ограничено представлением о политической форме широчайшего массового движения как об импровизации, порожденной военной обстановкой. Почти сорок пять лет тому назад Энгельс, обогащенный опытом революции 1871, смог дать государственной форме якобинской диктатуры более правильную оценку, которую стоит привести полностью ввиду незаслуженно малой ее популярности. В изданных Мерингом "Разоблачениях к кельнскому процессу коммунистов" Маркса приведено обращение центрального комитета к Союзу от марта 1850, где Маркс, выступая против де-централизаторских планов буржуазных демократов и указывая на опасность подобных планов в Германии, "где надо устранить еще так много остатков средневековья", выставляет общее положение: "Проведение строжайшей централизации является в нынешней Германии такой же задачей действительно революционной партии, как это было во Франции в 1793". Это писалось в 1850, а к новому изданию в 1885 Энгельс счел необходимостью присоединить следующее примечание: "Теперь следует напомнить, что это место покоится на недоразумении. Тогда - благодаря бонапартистским и либеральным фальсификаторам истории считалось решенным, что французская централизованная машина управления была введена Великой революцией, и именно Конвентом была, как необходимое и решительное оружие, направлена на подавление роялистской и федералистской реакции и внешнего врага. Однако, теперь является признанным фактом, что в течение всей революции до 18 брюмера общее управление департаментов, округов и общин находилось в избранных

самими управляемыми органами, которые в пределах общегосударственных законов действовали с полной свободой. Признано, что эти провинциальные и местные самоуправления, подобные американским, были как раз сильнейшим рычагом революции, именно в массах, так что Наполеон непосредственно после своего государственного переворота 18 брюмера поспешил заменить их управлением через префектов, которое существует до сих пор и было, таким образом, с самого начала реакционным орудием. Но как мало местное и провинциальное самоуправление противоречит политической, национальной централизации, так же мало необходимо оно связано с тем ограниченным кантональным и коммунальным эгоизмом, который так отвратительно проявляется в Швейцарии (*uns in der Schweiz so widerlich entgegentritt*) и из которого в 1849 все южно-германские федеративные республиканцы хотели сделать в Германии правило".²¹⁸

Конечно, политическая обстановка тех годов, когда писались эти строки, повлияла на оценку Энгельса в сторону преувеличения и качеств децентрализации вообще и ее роли в 1793 (как политическая обстановка 1850 влияла на Маркса в обратном направлении). Борьба с реакционной гегемонией Пруссии в Союзном совете заставила Энгельса смазать одним миром все периоды французской революции и отождествить 1793 (о котором говорит Маркс) с термидорианской реакцией, которая, действительно, отменила национальных агентов, восстановила выборных синдикальных прокуроров, восстановила департаменты и таким образом вернула к жизни прежний дух "местного самоуправления". И все-таки оценка Энгельса ближе всего к действительности: если уж сравнивать якобинскую диктатуру с типами буржуазного государства, следует признать, что она во всяком случае дальше от империи префектов, чем от швейцарских кантонов, лишенных "противного ограниченного эгоизма".

Ближе всего политическая организация якобинской диктатуры - по заложенным в ней *тенденциям* - подходит к новому типу государства, которое создано еще более широким и мощным народным движением и которое получило название советской системы. Конечно, говорить можно только о наиболее внешних признаках родства. Не касаясь уж того, что элементы "советской" организации власти в 1793-1794 существуют лишь как тенденция, государство якобинской диктатуры навсегда должно было бы остаться лишенным всех коренных признаков советской организации. Гегемоном в ней является не пролетариат, а мелкобуржуазные трудовые массы, отсюда три фундаментальных отличия. Во-первых, революционное представительство должно неизбежно осуществляться по территориальному, а не по производственному признаку, - это первое отличие, которое бьет в глаза при сравнении коммун и секций с советами.²¹⁹ Во-вторых, классовая природа якобинской диктатуры не позволяет ее государственной организации превратиться в экономическую организацию, прежде всего характеризуемую сращением "базиса" и "надстройки". Наконец, вследствие той же своей классовой природы государство якобинской диктатуры не рассчитано на самоуничтожение, что - вне капиталистических перспектив - лишает его, вообще, смысла существования. Важно лишь то, что в тенденции самое мощное народное движение, какое видел мир до Октября, сразу показало недостаточность формально-демократической, парламентской государственной организации и уперлось в необходимость какой-то новой формы, высшей по типу.

8. - Еще раз стоит повторить, что эта новая форма провиделась только очень смутно. Фактом во всяком случае остается, что до своего падения монтаньярам не удалось выработать рациональной формы объединения, которая органически выростала бы из массового движения, и этим отчасти определяются две несчастные особенности якобинской диктатуры. Во-первых, мешая консолидации революционных сил, организационные недостатки страшно затягивали и обостряли процессы двоевластия во французской революции; во-вторых изжить элементы двоевластия окончательно оказалось возможным только ценой ликвидации самих массовых организаций, и таким образом одним из противоречий якобинской диктатуры оказалось, что момент полной политической консолидации революции почти совпадает с моментом ее разгрома.

Двоевластие, в самом деле, там характерно не только для периодов больших кризисов, как напр., перед 10 августа 1792 или 31 мая 1793, и не только в отношении двух принципиально противоположных по классовой сущности властей, как, скажем, жирондистский Конвент, и монтаньярская коммуна, - двоевластие является постоянным атрибутом якобинской диктатуры в самые, казалось бы, консолидированные ее периоды и в зародыше существует в отношениях между всеми органами власти и претендентами на власть.

Наиболее глубокая причина этого явления коренится, конечно, не в технико-организационных недостатках, а в самом существе классовых отношений якобинской диктатуры. Носителем революционного движения секций и коммун был тот классовый агломерат, который тогда обозначался термином "народ", а теперь обозначается немного более определенным термином "мелкая буржуазия" и составные части которого нелегко определить даже только в городе. Заполнявшая парижские секции толпа состояла из промышленных рабочих, ремесленных рабочих, чернорабочего и деклассированного пролетариата, массы богемистой интеллигенции, мелких торговцев и мелких предпринимателей, - все публика, одинаково поддающаяся организации только по территориальному признаку, одинаково анархичная, и делящая свои симпатии между дантонистами, робеспьеристами, разнообразнейшими течениями эбертизма и бешеными. Сюда нужно прибавить, что органы, представляющие революционную акцию этой массы, возникают стихийно, в разное время и без связи друг с другом, а единого идейного центра у них нет, или, если угодно, их целых четыре: два центральных клуба, коммуна и Конвент. Малейшее обострение партийной борьбы между представленными в секциях идейными течениями немедленно обнаруживает классово-разномастную сущность соподчиненных органов одной и той же якобинской диктатуры и тенденцию одной их части к принципиальному противопоставлению себя другой.

Эту постоянную тенденцию, которая на языке эпохи называется федерализацией, центр старается изжить чисто бюрократическим путем, что в результате дает такую ведомственную чрезполосицу, в которой даже разобраться трудно. Так, например, если просто хронологически перечислить декреты и постановления, определявшие ведомственную иерархию секционных революционных комитетов в Париже, то окажется, что они подчинены, по крайней мере, пяти инстанциям. Возникают они в период 10 августа 1792 в качестве отделений наблюдательного комитета коммуны и следовательно подчинены последней. С 13 марта 1793, перекрестившись в революционные комитеты, они освобождаются от подчинения коммуне,²²⁰ но с 21 марта, ставши официальным государственным органом, подчиняются шефу политической полиции - Комитету общей безопасности, особенно после декрета 17 сентября о подозрительных. Прямо в законе эта подчиненность, однако, не определена, поэтому параллельно продолжается связь с коммуной.²²¹ Постановление коммуны 8 августа 1793 обязывает революционные комитеты ежедневными отчетами, "чтобы Она могла сама представлять доклад Комитету общей безопасности".²²³ Двумя постановлениями, 25 июня 1793 и 18 апреля 1794 (об образовании бюро высшей полиции) революционные комитеты подчиняются непосредственно Комитету общественного спасения. Наконец, сверх всего этого с 8 июня 1793, вплоть до самого термидора (или, по крайней мере, до 7 июля 1794) они подчинены повстанческому комитету 31 мая, перекрещенному, как мы видели, в комитет общественного спасения парижского департамента.

Конечно, эта бюрократическая иерархия революционных органов не могла не быть только видимой и уже во всяком случае она не могла помешать сепаратистским тенденциям и зародышам двоевластия. Когда задачи какой-либо из революционных групп требовали активизации действий, она использовала свои связи для расширения своих сил, минуя "законную иерархию", и, пожалуй, даже не вполне о ней догадываясь. Отсюда проистекают бесчисленные столкновения всех этих революционных органов, дерущихся и коалирующихся в самых различных комбинациях. Эти столкновения заполняют всю историю якобинской диктатуры и до сих пор в них не всегда возможно разобраться.

Трудно объяснить, почему эбертистский представитель в официальном руководстве, Колло-Дербуа, 15 октября 1793 в якобинском клубе начинает настраивать общественное мнение против парижских революционных комитетов, выражая в этом, конечно, точку зрения Комитета общественного спасения.²²⁵ Трудно понять, почему Шомет 1 декабря 1793 "упрекает революционные комитеты, забывшие, что коммуна была их автором, их центром и их единством, обвиняет их в том, что они секционизировали и федерализировали (!) Париж" и даже в том, что они арестовывают слишком строго и произвольно, требует их подчинения коммуне во всем, что касается полиции и мер безопасности и т.п.²²⁶ Все невозможно понять, что это за "Центральный революционный комитет, заседающий в секции Общественного договора", с которым революционный комитет робеспьеристской секции Пик 25 июня 1793 отказывается вступить в связь, "объявляя, что он признает только Комитет общей безопасности". Характерно, что даже такой осведомленный исследователь, как Мелье, по очевидному недоразумению принял это, очевидно, эпизодическое объединение за продолжение повстанческого комитета 31 мая и, усмотрев в нем намерение "вступить в соперничество" с Комитетом общей безопасности, противопоставил его законопослушному и с ним никак не связанному комитету общественного спасения парижского департамента (который, как мы видели, на самом деле как раз и был продолжением повстанческого комитета 31 мая).²²⁷

Повторяем, элементы двоевластия, никогда не исчезающие из якобинской диктатуры, в основном определялись особенностями ее классовой природы. Но ее запутанная бюрократическая организация, являясь сама следствием мелкобуржуазной неоднородности класса-диктатора, придавала еще большую жизненность этим элементам.

Якобинская диктатура все-таки знает период, когда элементы двоевластия были в ней окончательно изжиты и революция как будто полностью консолидирована. После уничтожения "факций" и частичного отзыва комиссаров, т.е. по крайней мере с апреля 1794, Комитет общественного спасения может руководить революцией опираясь на достаточно однородный аппарат. И вот, именно с апреля 1794, массовое движение оказывается задавленным и, значит, якобинская диктатура обреченной на гибель. Самый факт, по отношению, по крайней мере, к Парижу констатируется даже историками вполне демократичными и даже апологетами робеспьеризма. Ко времени Термидора, говорит Мишле, "в течение пяти месяцев общественная жизнь в Париже была уничтожена... Париж убили, Париж, столь живой во времена Шомета".²²⁸ Но объяснение этого факта даже у серьезных историков сводится к поверхностному политико-организационному моменту: робеспьеристы убили народное движение, посадив на жалование его функционеров и злоупотребляя назначенством.²²⁹

Проистекает такое объяснение из общего для всех мелкобуржуазных идеологов (анархисты его только откровеннее формулируют) убеждения в абсолютной невозможности государственной организации народных движений. В "абсолютной" форме такое убеждение, конечно, вздорно, но следует признать, что в отношении к французской революции оно не прямо противно истине. Для мелкой буржуазии государственная организация народного движения, т.е. консолидация революции на платформе вантозских декретов была, действительно, невозможна. Такая консолидация предполагала, как мы видели, предварительное восстановление производительных сил. Но восстановление производительных сил было возможно только на капиталистической основе, т.е. ценой сделки с буржуазией, отмены максимума и нажима на пролетариат. Это, в свою очередь, означало неизбежный разрыв блока мелкой буржуазии с городской беднотой, что и осуществилось в марте-апреле разгромом эбертизма. Но раздавив эбертизм, робеспьеристы тем самым раздавили массовое движение и погибли сами.

Интересно, что первое же их открытое выступление против эбертистов, - речь Робеспьера против Брише 7 февраля 1794 в якобинском клубе, - формулировало необходимость блока с буржуазией.²³⁰ В течение того же вантоза, когда Комитет общественного спасения через посредство Сен-Жюста оповещает о начале глубоко-демократической социальной реформы, через посредство Барера он объявляет эру покровительства торговле. В докладе 4 марта 1794 Барер формулирует цель революции, как "исцеление, а не убиение торговли", 10 марта он же устанавливает, что "могущественной республике не подобает изолировать себя от внешнего мира и отказываться от всех своих торговых связей".²³¹ В конце марта декретами 27 и 29 числа упраздняются продовольственные комиссары и революционная армия.²³² Это значило, что "купец перестал рассматриваться, как враг". Через одиннадцать дней после декрета об упразднении революционной армии некий Лельевр в своей секции внес предложение "подвергнуть чистке всех торговцев и затем позволить открыть лавки только тем, кто прошел чистку. На следующий день Лельевр был арестован по распоряжению Комитета общей безопасности. Времена эбертизма прошли".²³³

Покровительство торговцу в таких условиях не могло не означать одновременно нажима на пролетариат. Максимум заработной платы, который в провинции местами и раньше соблюдался не менее строго, чем максимум на цены продуктов, теперь начинает строго применяться и в Париже. Новый национальный агент столичной коммуны, Пэйан, 21 апреля арестовывает явившуюся к нему с требованием о повышении зарплаты депутацию рабочих-табачников за незаконную организацию профессионального собрания.²³⁴ Конвент 4 мая декретирует под реквизицией всех рабочих, занятых в производстве предметов первой необходимости с угрозой революционным трибуналом за "преступную коалицию против народного питания".²³⁵ Ровно за месяц до Термидора, 27 июня 1794, Пэйан поучает трибуны коммуны новым методам революционной политики: "Те пагубные следствия, которые имели доносы Эбера для снабжения Парижа... должны послужить для граждан полезным уроком и напомнить им, что следует уважать все сословия, особенно те, которые непосредственно занимаются народным питанием... Не будем же никогда нападать на отдельные части общества, будем карать дурных граждан безразлично во всех классах".²³⁶

Едва ли эту новую фразеологию можно считать признаком буржуазного перерождения робеспьеристов. Но даже как временная необходимость этот поворот вел к катастрофе. Парижская коммуна ввела новые расценки заработной платы как раз за несколько дней до 9 термидора и еще утром этого дня выдержала враждебную манифестацию рабочих. Забастовки вообще не прекращались с весны, несмотря на все угрозы репрессий, и к моменту переворота в Париже бастовали даже рабочие военных производств.²³⁷ В этих условиях рецидив эбертистских симпатий и успех эбертистской агитации были неизбежны. И интересно, что чем дальше продвигается исследование истории последних месяцев якобинской диктатуры и переворота 9 термидора, тем больше вырастает роль эбертистов в этом событии:²³⁸ на поверхности, в Конвенте, могло казаться, что главной опасностью является буржуазная оппозиция, составленная из дантоновских жуликов, но в глубине парижских секций продолжали существовать эбертистские настроения, и это-то и решило дело ночью 27 июля 1794. Таким образом, дело заключается не в том, что выборное руководство секций сменилось казначейским и в коммуне Шомета и Паша сменили Пэйан и Леско-Флерио, а в том, что начинать этим последним пришлось с установления настоящего максимума заработной платы, чтобы "восстановить равновесие между ценой рабочей силы и ценами продуктов", с подавления стачек угрозой революционным трибуналом и с массовых реквизиций рабочей силы в ряде отраслей производства, транспорта и торговли. Что делать, "пароль дня теперь - покровительство обращению!"²³⁹ Этим и объяснялось то явление, что "база режима суживалась пропорционально его концентрации": городская беднота отброшена в стан врагов, о буржуазии говорить нечего, а будущий "совершенно новый социальный класс" пока что является для якобинской диктатуры "скорее обузой, чем поддержкой". Так и оказалось, что к моменту якоби полной консолидации революции на мелкобуржуазной основе от нее "выиграли только толпы новой бюрократии, да разныя остатки..."²⁴⁰

Логическое завершение аппарата власти материальной демократии в условиях буржуазной революции было невозможно; все-таки она дала лучший до Октября образец массовой организации.

ПРОБЛЕМЫ ЯКОБИНСКОЙ ДИКТАТУРЫ

1 Moniteur du 1 decembre 1789, № 107; t.II, p.280.

2 Moniteur du 5 mai 1790, № 125; t.IV, p.282.

3 Moniteur du 18 fevrier 1791, № 49; t.VII, p.401.

4 Moniteur du 2 octobre 1791, № 275; t.X.p.8.

5 Reimpression, t.X, p.139.

6 Срв. *F.Braesch*, *La Commune du Dix aout*, 1911, p.III.

7 См. образцы у *A.Bougeart*, *Les Cordeliers*, 1891, pp.100, 103, 144, 231.

8 *Ibid.*, pp.231, 144.

9 *F.Braesch*, *op.cit.*, p.4; срв. *E.Mellie*, *Les sections de Paris pendant la Revolution francaise*, 1898, pp.23-37; *H.Wallon*. *La revolution du 31 mai et le federalisme en 1793 etc.*, 1886, t.II, p.210; *C.Riffaterre*, *Le mouvement antijacobin et antiparisien a Lyon etc.*, 1912, t.I, p.103-5.

10 *E.Mielle*, *op.cit.*, pp.58.91-20; срв. *Braesch*, *op.cit.*, p.161.

- 11 *F.Braesch*, op.cit, pp.127- 9.
- 12 Срв.*Mellie*.op.cit., p.244
- 13 *Mortimer-Ternaux*, op.cit., t.VI p.296, t.VII pp.231, 234.
- 14 Ibid., VII, p.,280; *Mellie*, op.cit., p.213.
- 15 *Moniteur*, t.XV, p.139.
- 16 *H.Wallon*. La revolution du 31 mai et le federalisme en 1793 etc., pp.81.91.
- 17 Ср. *Н.М.Лукин*, Из истории революционных армий, 1923, с.110.
- 18 Ср. *Wallon*, op.cit, t.II, p.216.
- 19 Петиция секции Круа-Руж от 9 мая 1792; *E.Mellie*. Les sections de Paris, p.248; ср. *Ph.Sagnac*, La revolution du 10 aout etc..1909, p.80.
- 20 *F.Braesch*, op.cit., pp.125-6.
- 21 Тут же ехидно прибавлено: "Ее рождение было освящено проповедью и молебном. Ничего, от благодарственных молебнов недалеко и до панихиды". *Moniteur* du 10 octobre 1793, № 19; t.XVIII.p.74.
- 22 Цит. у *С.-А.Dauban*, La Demagogie en 1793 a Paris, 1868, p.218.
- 23 *E.Mellie*, op.cit, p.250.
- 24 *C.Riffaterre*, Le mouvement antijacobin et antiparisien a Lyon et dans e Rhone-et-Loire en 1793 etc., 1912,t.1, p.351.
- 25 *A.Mathiez*, La vie chere et le mouvement social sous la Terreur, p.338.
- 26 Цит. у *C.Riffaterre*, op.cit, p.28.
- 27 Ibid., p.18-19.
- 28 Ibid., pp.29, 32-3, 35.
- 29 *Mathiez*, La vie chere et le mouvement social sous la Terreur, p.205.
- 30 *Moniteur*, t.XVI, p.73.
- 31 Приводится в сборнике *A.Schmidt*, Tableaux de la Revolution francaise, 1867, t.1, p.219-20.
- 32 *Societe des Jacobins*, t.V, p.187-8.
- 33 *Moniteur*.t.XVI, pp.534.
- 34 *Moniteur*, XVI, p 564.
- 35 См. *Moniteur*.t.XVI, p.536.
- 36 *A.Mathiez*, La vie chere et le mouvement social sous la Terreur, p.318.
- 37 *Moniteur*, t.XVII, pp.520-1.
- 38 *Moniteur*, t.XVII, p.18.
- 39 *Moniteur*, t.XVII, p.532.
- 40 *Societe des Jacobins*, t.V, pp.422, 425-7, 429, 488.
- 41 Выступление Брише в якобинском клубе 14 октября; *ibid.*, p.457.
- 42 *A.Mathiez*, La vie chere et le mouvement social sous la Terreur.p.421.
- 43 *Moniteur* du 8 germinal an II, № 188; t.XX, p.67.
- 44 *Moniteur*, t.XVI.p.371.
- 45 *H.Wallon*, La revolution du 31 mai et le federahsme en 1793 etc., 1886, t.II, pp.208-9, 212, 214.
- 46 Ibid., p.216.
- 47 Ibid., p.221-2.
- 48 Ibid., pp.66, 68-9, 72.
- 49 *C.Riffaterre*, Le mouvement antijacobin et antiparisien a Lyon en 1793 etc., 1912.t.I, pp.36-9.
- 50 Ibid., p.42.
- 51 Ibid., p.73.
- 52 Ibid., p.82-3.
- 53 Ibid., p.101.
- 54 Ibid., p.228.
- 55 Ibid., p.97.
- 56 Ibid., p.244.
- 57 Ibid., p.102.
- 58 *Moniteur*, t.XVII, p.583.
- 59 См. *F.Braesch*, La commune du Dix aout, pp.6-27; ср. *Ph.Sagnac*, La evolution du 10 aout.- La chute de la royaute, pp.65, 67, 73,112, 114-17.
- 60 *F.Braesch*, op.cit, pp.163, 171, 173.

- 61 *J. Jaures*, Histoire socialiste de la Revolution francaise, 1924, t.VIII, p.278.
- 62 *H. Wallon*, op.cit., t.II, p.240.
- 63 Ibid., p.241.
- 64 Ibid., pp.92, 96, 99.
- 65 *C. Riffaterre*.op.cit., t.I, pp.176-7, 103-5, 350.
- 66 Ibid., pp.174, 176, 178.
- 67 Ibid., p.252-3.
- 68 Ibid., p.42 note.
- 69 Ibid., p.10.
- 70 Ibid ., p.338.
- 71 Ibid., p.42.
- 72 Ibid., p.26.
- 73 Ibid., pp.84, 352.
- 74 Ibid., pp.322-4, 335.
- 75 Ср. *A.Aulard*, La theorie de la violence et la Revolution franchise (Revue La Revolution francaise, 1923, t.LXXVI, pp.111 - 12); *G.Belloni*, Le Comite de surete generale de la Convention nationale, 1924, pp.305, 308.
- 76 См. *F.Braesch*, op.cit., pp.266-7; *C.Riffalerre*, op.cit., pp.63, 335; Annales historiques de la Revolution francaise, 1928, № 6, p.528.
- 77 *C.Riffaterre*, op.cit., p.231.
- 78 Ср. *Mortimer-Ternaux*, op.cit., t.II pp.139, 198, t.VII pp.215, 307-8, 329, 353.380, 391-2; *Wallon*, op.cit., t.I, pp.115, 287.
- 79 Ср. *Ph.Sagnac*, La revolution du 10 aout 1792 etc., 1909, p.72; *F.Braesch*, op.cit., pp.147, 160, 161.
- 80 *H.Wallon*, op.cit., t.II, p.221.
- 81 *C.Riffaterre*, op.cit., t.I, pp.45, 48.
- 82 Ibid., pp.37-8.
- 83 Ibid., pp.39, 44, 45, 46-8.
- 84 *A.Schmidt*, Tableaux de la Revolution francaise, 1867, t.I, p.189.
- 85 *Mellie*, op.cit., p.134.
- 86 *Adolphe Schmidt*, op.cit., t.II, p.37.
- 87 *Mortimer-Ternaux*, op.cit, t.VII, p.221-2; срв. Moniteur du 10 mai, № 130; t.XVI, p.339.
- 88 *Mellie*, op.cit., p.66.
- 89 *Mortimer-Ternaux*, op.cit., t.IV, p.30.
- 90 *Mellie*, op.cit., p.66.
- 91 Не совсем без основания реакционеры прибавляют сюда еще давление масс непосредственное, в виде террора (*Mortimer-Ternaux*, op.cit., t.IV, p.33): парижские выборщики в Конвент заседали как раз в дни сентябрьских убийств!
- 92 *Mellie*, op.cit., pp.70-1, 69.
- 93 Ibidem, pp.71, 75.
- 94 Ibidem, pp.75, 77.
- 95 *Schmidt*, op.cit., t.I, p.223-4.
- 96 *Mellie*, op.cit., p.134; срв. *Mortimer-Ternaux*, op.cit., t.VII, p.218-19.
- 97 *Mellie*, op.cit, p.144.
- 98 *Mortimer-Ternaux*, op.cit., t.VII, p.308.
- 99 Ibid., p.276.
- 100 *Schmidt*, op.cit., t.II, p.201.
- 101 *C.Riffaterre*, op.cit., pp.39, 44, 45, 102.
- 102 *Aulard*, Histoire politique de la Revolution francaise, 1913, p.352.
- 103 *Mellie*, op.cit., pp.219, 220.
- 104 См. *L.Blanc*, op.cit., I.XI, ch.1, p.376; эта цифра указывается обычно, только в новейшей работе по политической истории революции она разрастается до "приблизительно 40000.(*G.Belloni*, Le Comite de surete generale de la Convention nationale, 1924, pp.305-306); источник, впрочем, не заслуживает никакого доверия.
- 105 Recueil des actes du Comite de salut public, t.XI, p.282.
- 106 Societe des Jacobins, t.V, p.678.
- 107 См.напр, донесение Бантаболя 12 февраля 1794 и инструкцию Комитета общественного спасения 14 февраля комиссару Ру-Фазийаку,-Recueil des actes du Comite de salut public, t.XI, pp.100-1,147.

108 А.Матье говорит даже о “целой половине Франции”, против которой должны были бороться революционеры и которая “желала победы врагу” (*La vie chere et le mouvement social sous la Terreur*, 1921, pp.472, 608).

109 *Aulard*, op.cit., p.352.

110 *Moniteur du 11 mai 1793* № 131: t.XVI, p.352

111 *Mellie*, op.cit., pp.136-7.

112 *Ibid.*, p.200.

113 *Ibid.*, p.254-5.

114 *Ibid.*, p.264.

115 *Ibid.*, pp.288-90, 291, 294.

116 *A.Mathiez*, *La vie chere et le mouvement social sous la Terreur*, pp.394-5, 489, 502, 507.

117 *Ibid.*, p.508.

118 *Mellie*, op.cit, p.289.

119 *Ibid.*, p.291.

120 *Ibid.*, p.296.

121 *Ibid.*, p.294.

122 *Ibid.*, p.289.

123 *Ibid*, p.171-3.

124 Об их отношениях с генеральным советом см. *Ph.Sagnac*, *La revolution du 10 aout 1792.- La chute de la royaute*, 1909, p.101.

125 *S.Lacroix*, *Le departement de Paris et de la Seine pendant la Revolution*, 1904, p.45.

126 *P.-L.Roederer*, *Chronique de cinquante jours*, Paris, 1832, p.278-9.

127 *S.Lacroix*, op.cit., p.52.

128 *Moniteur du 13 aout 1792*, № 226 ; t.XIII, p.390.

129 *Societe des Jacobins*, t.IV, p.197.

130 *S.Lacroix*, op.cit., p.57.

131 *Moniteur*, t.XIII, p.399.

132 *Ibid.*, p.400.

133 *S.Lacroix*, op.cit., p.81.

134 *Mortimer-Ternaux*, op.cit., t.III, p.108.

135 *Moniteur*, t.XIV, p.72

136 *Moniteur du 17 mai*, № 137; t.XVI, p.396.

137 *Ibid.*, p.398.

138 *Moniteur du 13 juin 1793*, № 164; t.XVI, p.618.

139 *Moniteur du 14 octobre 1793*, № 23; t.XVIII, p.108.

140 *Moniteur du 2 frimaire l'an II*, № 62; t.XVIII, pp.474, 475.

141 *Histoire parlementaire de la Revolution francaise*, t.XXX, p.252.

142 *Recueil dcs actes du Comite de salut public*, t.IX, p.166-7.

143 *Moniteur du 2 frimaire*, t.XVIII, p.475.

144 *Moniteur du 5 frimaire*, № 65; t.XVIII, p.502.

145 *Moniteur*.t.XVIII, pp.475-6.

146 *Recueil des actes du Comite de salut public*, t.IX, p.178.

147 *Recueil des actes du Comite de salut public*, t.IX, p.783.

148 *Ibid.*, p.601.

149 *A.Mathiez*, *La vie chere et le mouvement social sous la Terreur*, p.468.

150 *S.Lacroix*, *Le departement de Paris et de la Seine pendant la Revolution*, p.176.

151 Срв. *L.Blanc*, op.cit., t.VIII, p.479; *E.Mellie*, op.cit., p.193.

152 *Mellie*, op.cit., p.195.

153 *Recueil des actes du Comite de salut public*, t.IX, p.356; *Mellie*, op.cit.,p.196.

154 *Moniteur*, t.XVII, p.756.

155 *Histoire de la Terreur*, t.VIII, p.30.

156 Срв. *Mellie*, op.cit., p.196; *Lacroix*, op.cit., pp.176-7, 183; *Mathiez*, *La vie chere et le mouvement social sous la Terreur*, pp.207, 511.

156a *Moniteur*, t.XIV, p.694.

- 157 Societe des Jacobins, t.VI, p.49.
- 158 Moniteur du 22 novembre 1793, № 62; t.XVIII, p.475.
- 159 *Mortimer-Ternaux*, op.cit., t.IV, pp.9, 16.
- 160 См., напр., Recueil des actes du Comite de salut public, t.I, pp.LV- LXIV; *P.Mautouchet*, Le gouvernement revolutionnaire, 1912, pp.16-24.
- 161 Выступление О.Робеспьера 5 апреля 1793 в якобинском клубе; *Buchez et Roux*, t.XXV, p.295. В сборнике Олара отмечено только, что О.Робеспьер требует "отзыва комиссаров, чтобы вернуть силу Конвенту", Societe des Jacobins, t.V, p.125.
- 162 *Mortimer-Ternaux*, op.cit, t.VII, p.542.
- 163 Moniteur du 14 germinal l'an II, № 194; t.XX, p.115-16.
- 164 *A.Mathiez*, La reorganisation du gouvernement revolutionnaire; Annales historiques, 1927, № 19, p.52.
- 165 Moniteur du 5 frimaire № 65; t.XVIII, p.501.
- 166 Moniteur du 16 frimaire l'an II, № 76, t.XVIII, p.591.
- 167 Histoire parlementaire de la Revolution francaise, t.XXX, p.311.
- 168 См. Actes de la Commune de Paris, pub.par *S.Lacroix*, 1894, t.1, p.XI.
- 169 Ibidem, p.XVI.
- 170 Ibidem, t.II, pp.XV, XVI, t.III, pp.XII, 625.
- 171 *Braesch*, op.cit, pp.342, 374, 377, 379, 384-7.
- 172 *Mortimer-Ternaux*, op.cit., t.III, p.205; *Braesch*, op.cit.pp.324-5, 350-1, 354, 356, 358, 371-3.
- 173 *Mortimer-Ternaux*, op.cit., t.III, p.93.
- 174 Moniteur du 27 septembre, № 271; t.XIV, p.46.
- 175 Moniteur du 27 septembre, № 271, t.XIV, p.47.
- 176 Moniteur du 31 octobre 1792, № 305, t.XIV, p.343.
- 177 *Vilate*, Causes secretes de la revolution du 9 au 10 thermidor.Paris l'an II, p.23.
- 178 *A.Mathiez*, La vie chere et le mouvement social sous la Terreur, pp.121, 140.
- 179 Moniteur du 15 fevrier 1793, № 46; t.XV, p.435.
- 180 *A.Mathiez*, La vie chere et le mouvement social sous la Terreur, p.177.
- 181 *E.Mellie*, op.cit., p.130.
- 182 Moniteur du 4 avril 1793, № 94, t.XVI, p.35.
- 183 Ibid., p.36.
- 184 Moniteur du 17 avril, № 107, du 1 juin, № 152; t.XVI, pp.150, 523.
- 185 *Mortimer-Ternaux*, op.cit., t.VII, pp.255-6, 269, 307 suiv.; *Wallon* La revolution du 31 mai et le federalisme etc., 1886, t.I, pp.181, 249-50.
- 186 Recueil des actes du Comite de salut public, t.IV, p.441.
- 187 *Mortimer-Ternaux*, op.cit., t.VIII, p.30.
- 188 *Mellie*, op.cit.pp.194-7; *Lacroix*, Le departement de Paris et de la Seine pendant la Revolution, pp.177, 183.
- 189 L'Homme libre (Dufourny), "Sentinelle, prends garde a toi" etc.; цит.у *S.Lacroix*, op.cit., p.176-7.
- 190 Societe des Jacobins, t.VI, p.52.
- 191 *A.Mathiez*, La vie chere et le mouvement social sous la Terreur, pp.263-4, 288-9.
- 192 Moniteur du 7 septembre.№ 250; t.XVII, p.583; *A.Mathiez*, La vie chere et le mouvement social sous la Terreur, pp.316-17, 321, 334, 338.
- 193 Recueil des actes du Comite de salut public, t.VIII, p.159-60.
- 194 Богатый материал по этому вопросу у *В.М.Устинова*. Учение о народном представительстве, 1912, I, сс.309, 345, 348-9, 359, 403-4, 423-4, 438, 452, 455, 460, 503-4, 514, 535, 538-9, 547, 533-4 и др.
- 195 Заседание 21 сентября 1792; Moniteur du 22 septembre, № 266, t.XIV, p.7.
- 196 Moniteur du 26 septembre, № 270; t.XIV, pp.42, 44.
- 197 Moniteur du 27 septembre, № 271, t.XIV, p.54.
- 198 Статьи в Chronique de Paris, №№ 48, 49; цит.по *Buchez et Roux*, op.cit., t.XXIV, p.103.
- 199 Доклад в Конвенте 10 июня 1793; Moniteur du 13 juin, № 164; t.XVI.p.617.
- 200 Moniteur du 13 mai, № 133; t.XVI, p.363.
- 201 Moniteur du 19 pluviose l'an II, № 139; t.XIX, p.402.
- 202 Moniteur du 19 pluviose, l'an II, № 139, t.XIX, p.402.
- 203 Речь Робеспьера 28 декабря 1792 в дискуссии о судьбе короля.Moniteur du 30 decembre, № 365; t.XIV.p.877.

- 204 Ibid., p.878; срв.его же речь 10 мая 1793 о необходимости оплаты бедняков за участие в собраниях.Moniteur du 13 mai, № 133, t.XVI, p.364.
- 205 Речь Робера в Конвенте 26 апреля 1793; Moniteur du 27 avril, № 117; t.XVI, p.231.
- 206 Oeuvres de J.-P.Marar ed. par A.Vermorel, 1869, p.268.
- 207 Ibidem, p.275.
- 208 Цит. по *Buchez et Roux*, op.cit., t.XVIII, p.40-2.
- 209 Societe des Jacobins, t.V, pp.277, 278.
- 210 Ibid., t.V, p.644-5.
- 211 *F.Braesch*, La Commune du Dix aout, pp.386, 387.
- 212 Ibidem, pp.342, 379, 394.
- 213 Ibid., p.84.
- 214 Ibid., p.350.
- 215 *H.Hintze*, Staatseinheit und Foderalismus im alten Frankreich und in der Revolution, 1928, S.312, 415.
- 216 Ibid., SS.4-5, 353, 475.
- 217 Ibid., S.419.
- 218 *K.Marx*.Enthullungen uber den Kommunistenprozess zu Koln, 1914, S.S. 135-6.
- 219 Интересно, что в книге, вышедшей за шесть лет до Октябрьской революции, секционная организация сравнивается с профсоюзами, "хотя организация современного пролетариата происходит по производству, по специальностям, как было в средние века (!), а народ революционного Парижа организовался по кварталам" (*F.Braesch*, La Commune du Dix aout, p.VIII).
- 220 Ср.*E.Mellie*, op.cit., p.181.
- 221 Ibid., pp.187.190.
- 222 Ibid., p.203.
- 223 Societe des Jacobins, t.V, p.461.
- 226 Moniteur du 14 frimaire № 74; t.XVIII, p.570.
- 227 *Mellie*, Les sections de Paris, pp.193-6.
- 228 *J.Michelet*, Histoire de la Revolution francaise, t.III, p.1834; срв.*A.Mathiez*.La Revolution francaise.t.III, p.166-7.
- 229 Срв.*Mellie*, op.cit., pp.176, 211; *Mathiez*, La reorganisation du gouvernement revolutionnaire, - Annales historiques 1927, №19, p.50; *Кропоткин*, Великая французская революция, 1919.с.529-530.
- 230 Societe des Jacobins, t.V, p.645.
- 231 Moniteur du 17 ventose № 167.du 23 ventose №173: t.XIX, pp.631,683.
- 232 Moniteur du 8 germinal №188, du 11 germinal №191; t.XX, pp.67,91.
- 233 *A.Mathiez*, La vie chere et le mouvement social sous la Terreur, pp.567, 568-9.
- 234 Ibid., pp.586, 590.
- 235 Moniteur du 16 floreal, № 226; t.XX, p.382.
- 236 *A.Mathiez*, op.cit., p.570.
- 237 Ibid., pp.605, 591-4.
- 238 Срв., напр., *A.Matiez*, La campagne contre le gouvernement revolutionnaire a la veille du 9 thermidor; Annales historiques de la Revolution francaise 1927, № 22, pp.313-14.
- 239 *A.Mathiez*.La reorganisation du gouvernement revolutionnaire: Annales historiques de la Revolution francaise, 1927, № 19, pp.56-8.
- 240 Ibidem, pp.51, 61, 60.

Яков Владимирович СТАРОСЕЛЬСКИЙ

ПРОБЛЕМЫ ЯКОБИНСКОЙ ДИКТАТУРЫ

По изданию: Л., 1930

Веб-публикация: [Eleonore](#), [Ната Мишлетистка](#), Люсиль, Э.Пашковский, А.Алексеева, И.Стещенко *Vive Liberta* и Век Просвещения ©

Начало публикации здесь: http://vive-liberta.narod.ru/biblio/starsl_jc_1.htm

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ЦЕНТР

1 - Рудиментарный характер парламентской надстройки над революционным правительством. 2 - Классовый смысл привязанности мелкобуржуазной революции к буржуазным законодательным палатам. Подозрительное отношение к исполнительной власти и боязнь соединения властей. 3 - Случайный характер происхождения революционного центра. Природа власти Комитета общественного спасения. 4 - Следствия образования революционного центра: изменение официальных представлений о классовой борьбе, разрешение вопроса о политических гарантиях народа. 5 - Вопрос о личной диктатуре.

1. - Естественную форму объединения массовые движения народной революции могут получить, во-первых, в заранее готовой и сознательно руководящей событиями революционной партии и, во-вторых, в такой центральной власти, которая органически вызревает из стихийно создавшихся низовых ячеек революционной власти. Ни того, ни другого условия рациональной централизации буржуазная революция не имела. В качестве бесконкурентного претендента на возглавление революции существовал законодательный корпус. За него цеплялась идеология эпохи, так как он давал революции законный титул. Но для целесообразной организации движения этот титул обходился накладно, ибо возведение законодательного корпуса в чин революционного центра означало, что центральную власть революции приходилось искусственно вырабатывать из неревolutionного учреждения. Процесс выработки знал разные формы, в том числе и насильственные, в виде прямого давления народных масс, в результате чего в убытке оказывалась уже не только революция, но и ее законный титул. Представление о Конвенте как о величественном руководителе буржуазной революции, это миф. Своим "возглавлением революции" Конвент может только проиллюстрировать то положение, что когда политику делает действительно народ, делению власти на законодательство и исполнение не может быть места, и перманентное представительное собрание законодателей оказывается совершенно излишним механизмом. Пока Конвент оставался законодательным собранием, он не возглавлял революции, это она его постоянно форсировала, когда же он стал революционным центром, он перестал быть законодательным корпусом, превратившись в нелепый придаток при Комитете общественного спасения.

Всеобщее избирательное право, Конвент и якобинскую диктатуру вызвала к жизни [революция 10 августа 1792](#). Так вот, авторство в ней Законодательного собрания сводится только к тому, что оно не имело сил ей помешать. Для его роли и его настроений достаточно вспомнить, что за два дня до переворота оно отвергает большинством 406 голосов против 244 предание суду Лафайета; что самую ночь революции оно проводит в заслушивании длинных адресов и в обсуждении вопросов о специальных налогах и о долгах бывших провинций; что на утро оно не может даже распространить своих декретов и депутатам приходится переписывать их от руки, так как все типографские рабочие заняты, - они штурмуют королевский дворец; что декрет об отрешении "исполнительной власти" и выборы министров проходят при 284 голосующих из 749 членов собрания; что в департаментах долго не решаются опубликовать эти декреты, настолько они расходятся со всей практикой Легислативы вчерашнего дня.¹ Действительные отношения между революцией и Легислативой хорошо сознаются и Легислативой и народом. В петициях отдельных секций ей пишут: "Законодатели, мы вам оставляем еще честь спасти отечество; но если вы откажетесь, придется нам самим взяться за его спасение".² Депутация повстанческой коммуны после завоевания дворца выражается так: "Народ, который послал нас к вам, уполномочил нас объявить, что он снова облакает вас своим доверием (!); но в то же время он уполномочил нас объявить вам, что судьей чрезвычайных мер, к которым его вынудила необходимость и сопротивление угнетению, может быть признан только французский народ, ваш суверен, как и наш, объединенный в первичных собраниях".³ И сама Легислатива в обращении к парижанам утром 10 августа выражается буквально так: "Если первая из установленных властей еще уважается, если представители народа, друзья его благополучия, имеют еще влияние, основанное на доверии и на разуме, они просят граждан и во имя закона приказывают им (!) снять печати с мэрии и выпустить пред народные очи магистрата, которого любит народ".⁴ Так ли разговаривает с революционными массами революционный центр!

Позиция Конвента по крайней мере до революции 31 мая 1793 ничем не отличается от положения Легислативы. Тут надо только вспомнить, что хотя выборы в Конвент происходят в тот период, когда верховной властью Франции оказывается парижская коммуна и несмотря на более или менее энергичное давление, оказываемое массами на выборы, первые результаты оказываются столь неутешительными, что Марат советует разогнать это собрание, как только оно соберется.⁵ В дальнейшем монтаньяры убедились, что перспективы не так безотрадны и что при существующем подъеме революционной волны Конвент можно оседлать (*maitriser*), вместо того, чтобы разгонять, но поистине в этом была заслуга не самого Конвента. По существу это было, сколь сие ни странным может показаться, такое же фейанско-жирондистское собрание, что и предыдущее, разве только чуть радикальнее. Из 782 его членов первое время не больше 50 заседало на Горе,⁶ не меньше 100 было активно-правых, жирондистов,⁷ а всю остальную массу составляли “жабы из болота”, которым и в кошмарном сне не могла присниться роль возглавителей якобинской диктатуры; освобожденная от “тирании” переворотом 9 термидора, она вполне доказала, на что она годилась, а пока что она создает жирондистам постоянное большинство.

После революции 31 мая монтаньяры уже не скрывают, что “некоторое время” это собрание “было контрреволюционным”.⁸ В революционное собрание оно превратилось тоже не само собой. Участие его в событиях 31 мая - 2 июня 1793 совсем бы напоминало участие Легислативы в событиях 10 августа 1792, если бы не та отличительная особенность, что здесь операция производилась над самим законодательным корпусом. Решительная невозможность изображать эту операцию, как нормальный законодательный акт, проведенный парламентским большинством, явствует хотя бы уже из того, что еще 17 мая 1793, за две недели до переворота, монтаньяры в жаркой дискуссии выставляют себя угнетенным меньшинством, “которому большинство не может навязывать закона”, потому что “это - меньшинство, которое сделало революцию 10 августа”. В официальном протоколе зафиксировано заявление Кутона тогда же, что Гора это - “внушительное и, прибавлю, почтенное меньшинство, ибо оно состоит по крайней мере из 150 членов”.⁹

Еще через три дня, 20 мая, в чрезвычайную комиссию двенадцати, предложенную жирондистами для расследования готовящегося анархистского заговора, проходят исключительно жирондисты большинством 197 из 325 голосующих; еще через неделю, в совершенно хаотическом заседании с участием “партикулярных граждан” и ценой отчаяннейших нарушений парламентского регламента, монтаньярам удается кассировать эту комиссию; и наконец на следующий день, 28 мая, т.е. за три дня до переворота, жирондисты проводят ее восстановление большинством 279 против 239 голосов.¹⁰

Чтобы окончательно оторвать болото от жирондистов, революционной коммуне пришлось продержаться под ружьем всех санкюлотов 48 секций в течение трех дней, форсировать 2 июня все выходы Конвента (так что, как констатирует протокол якобинского клуба, депутаты “не могли выйти из зала, *теме pour faire leurs besoins*”),¹¹ направить на него пушки и, приставив к ним фитили, объявить суверенным законодателям: “народ устал видеть, как откладывают его благо; это еще в ваших руках: спасите его или он сам спасет себя”.¹²

Декрет о задержании 22 депутатов под домашним арестом принимается вечером 2 июня после того, как генерал Анрио продержал часов семь взаперти суверенное собрание и чуть не расстрелял его из пушек, после того, как многие депутаты, в том числе и члены дантонистского Комитета общественного спасения, были изрядно помяты толпой, после того, как дантонистскому руководству не удалось провести компромисс о “самоотставке” жирондистов - и можно было серьезно опасаться, что движение сметет уже не только правую Конвента, но и весь Конвент: дантонистский Комитет общественного спасения, “вначале бывший почти в стачке с жожаками коммуны”, к вечеру 2 июня понял, что “буря, которая вначале, казалось, нависла только над жирондистской частью Конвента, теперь угрожает самому Конвенту и может каждую минуту его затопить”.¹³ “Счастлиую революцию”, которую Конвент скоро произведет в национальный праздник, он пока еще считает “злоупотреблением силы”. Так выражается в официальном докладе 5 июня Барер, требуя упразднения революционных комитетов. Тогда же предлагается “послать в департаменты, депутаты которых арестованы, равное число депутатов в качестве заложников”.¹⁴ Что стало бы с будущим революционным центром, если бы в порядок дня 2 июня не было поставлено 80000 солдат и 160 пушек эбертистского генерала!

Дальнейшее превращение Конвента в революционный центр сопровождается непрерывным сокращением его суверенности, его характера законодательного органа и даже его законности. Якобинское руководство более или менее откровенно признает, что Конвент сохраняет право на существование ценой отказа от политической активности его огромного большинства, его болота. Робеспьер не стесняется прямо восхвалять Конвент за беспрекословное послушание Горе. Когда эбертисты в якобинском клубе демагогически требуют очищения Конвента от апеллянтов (депутатов, голосовавших за обращение к народу по поводу участи короля) и замены их заместителями, робеспьеристы справедливо возражают, что “нечего бояться болота, которое не решается больше подавать голос; если же оно начнет завоевывать влияние”, тогда и разговор будет другой; что же касается до заместителей, то “это значило бы только на место заведомых контрреволюционеров поставить контрреволюционеров неведомых и по одному этому более опасных”.¹⁵

С законными нормами, определяющими деятельность суверенных собраний, революции вообще не везет. Легислатива, долженствовавшая законодательствовать три года (до мая 1793), не продержалась и года; наоборот, Конвент, созданный только для выработки конституции и долженствующий быть тотчас замененным “нормальным” законодательным собранием, существует почти четыре года и издает за это время 11200 декретов, в том числе по крайней мере два “органических”. Дело объясняется тем, что якобинцам вовсе невыгодно расставаться с уже оседланным официальным сувереном. После принятия конституции 1793 слышатся отдельные голоса, призывающие Конвент разойтись, согласно закону, но кончаются такие призывы плохо. Во время заседаний первичных собраний,

французами”; поднимается оживленное недовольство, после чего “этой сцене кладет конец декрет, отправляющий петицию в Комитет общей безопасности, а петиционера в тюрьму Аббэ [тюрьма Аббатства]”.¹⁶ То же предложение возобновляется 11 августа дантонистом Делакруа: “Мы были посланы сюда для двух главных предметов: чтобы судить последнего тирана и чтобы дать затем конституцию французскому народу. Наша миссия выполнена” и, чтобы опровергнуть “клевету федералистов”, будто Конвент хочет превратиться в долгий парламент, Конвент должен декретировать свой роспуск, - Делакруа допускает только отсрочку, необходимую для утверждения нового районирования и нового порядка выборов.¹⁷ Утром 11 августа Конвент принимает это предложение, а вечером того же дня Робеспьер в якобинском клубе объявляет при общем одобрении, что “ничто не может спасти республику, если примут сделанное сегодня утром предложение, чтобы Конвент распустился и был заменен законодательным собранием”, потому что это коварное предложение “стремится только к тому, чтобы подставить на место очищенных членов Конвента посланцев Питта и Кобурга!”¹⁸ Утреннее постановление отменяется и Конвент продолжает благополучно существовать и дальше.

Но с этих пор вопрос о заместителях встает особенно остро: отдельные депутаты, пользуясь благовидным предлогом для спасения кожи, подают в отставку, “мотивированную тем, что собрание исчерпало свой мандат”,¹⁹ множество депутатов сбежало и раньше, другие перерезаны, вообще, без заместителей не обойтись. Но сделаться из заместителя депутатом теперь не так то легко. Для этого недостаточно квоты департаментского собрания выборщиков, для этого нужно утверждение якобинского центра. Робеспьер 14 декабря 1793 предлагает в клубе, чтобы все вновь прибывающие депутаты предварительно “высказывались о событиях, которые имели место в революции”,²⁰ через день этот порядок устанавливается декретом, 18 апреля 1794 декретируется общий порядок утверждения новых депутатов “по благоприятному докладу” Комитетов общественного спасения, общей безопасности и декретного,²¹ и только в III г. термидорианцы отменяют этот порядок на том основании, что “народное избрание равняется удостоверению благонадежности”.²²

Так очищенный и непрерывно очищаемый, законодательствует Конвент. Законодательствует, надо сказать, в условиях, которые трудно назвать “нормальной парламентской атмосферой”. Сильно сдается, справедливо жалуется Демулен в декабре 1793, что “из-за тучи соперников Конвента во Франции сейчас только и осталось, что 1200 тысяч солдат наших армий, которые не законодательствуют; потому что комиссары Конвента законодательствуют; департаменты, дистрикты, муниципалитеты, секции, революционные комитеты законодательствуют; и, прости боже, мне кажется, что братские общества тоже законодательствуют”.²³ Другими словами, во Франции происходит революция.

Это значит, что у учреждения, исключительной задачей которого является производство декретов, должно оказаться, действительно, много соперников, притом часто таких, с которыми конкуренции ему явно не выдержать.

“Центральное народное общество, заседающее в Париже у Якобинцев” - даже не государственное учреждение. Это частная организация, и однако, чтобы попасть в ее члены совсем не достаточно быть членом Конвента: для этого требуется та же процедура рекомендаций, как и для простых смертных, отсюда можно вылететь, если заявление о вступлении подано позже, чем через месяц после начала парламентской сессии, туда могут и вовсе не принять, когда прием закрывают.²⁴ Комиссары Конвента, которым для престижа на местах не хватает чина “народного представителя”, просят заочно провести их чистку, чтобы давить департамент весом якобинского клуба;²⁵ вернувшись из миссии, они обычно, формально отчитавшись перед Конвентом, приходят всерьез отчитываться в якобинский клуб,²⁶ а если кто-нибудь пытается увильнуть от этой обязанности ссылкой на отчет, уже представленный Конвенту, то ему прозрачно намекают, что бывает такое положение, когда “такой-то сидит в Конвенте, а был выкинут от якобинцев”.²⁷

Рядом с этой организацией Конвент заседает каждодневно, без праздников, по регламенту 6 часов в день, а фактически дважды - по 8 и 4.²⁸ Может быть от этого обилия заседаний, не оставляющих времени для органической работы, и происходит тот странный результат, что революция постоянно делается где то за стенами Конвента? Демулен утверждает, что “не было народа, который бы обрекал законодателей производить законы, как слепая лошадь вертит жернов, день и ночь” и требует 3-4 заседаний в неделю, “чтобы остальные дни были посвящены работами комитетов”. Увы, из этих-то комитетов и вышла окончательная гибель Конвенту, очевидная уже и невооруженному глазу.

Авторитеты того Комитета общественного спасения, которому удалось стать действительным руководителем революции, создались не в Конвенте, а в якобинском клубе, в повстанческой коммуне 10 августа и в восстании 31 мая; и как только им удалось внутри Конвента сколотить действительно революционный, т.е. объединяющий все политические функции орган, так сразу машина “для производства законов день и ночь” остановилась вовсе. По крайней мере с апреля 1794, после уничтожения дантонистов, дискуссии в Конвенте прекращаются; заполняя долгие часы ожиданий докладчика от Комитета, он заслушивает доклады секретарей о корреспонденции, принимает депутации и, вообще, не знает чем заняться: вся деловая работа сосредоточена в Комитете общественного спасения, Конвент превратился в “палату для регистрации его постановлений”. По закону Комитет общественного спасения полностью подчинен Конвенту, сменяется каждый месяц и меры общего характера может только представлять на благоусмотрение Конвента. Фактически Комитет управляет Конвентом, с 10 июля 1793 до самого Термидора он не переизбирается, - дело ограничивается каждый месяц тем, что его оставляют в прежнем составе “par acclamation”, а последний раз, 12 июля 1794, докладчик Комитета даже забывает поставить вопрос о переизбрании,²⁹ все предлагаемые им меры Конвент принимает безмолвно и безропотно и не принимает никаких мер со своей стороны без инициативы Комитета.

За четыре последние месяца Комитет общественного спасения два раза испытывает некоторую оппозицию со стороны Конвента, и нет ничего характернее для понимания истинного положения “законодательной власти”, чем реакция Комитета на эту оппозицию. Первый раз она имеет место в заседании 31 марта 1794, на утро после ареста дантонистов. Жалкую вылазку дантониста Лежандра, который просит только, чтобы Конвенту дали выслушать обвиняемых до предания их революционному трибуналу, Комитет отражает тучей громовых речей. Надо вслушаться в тон ответной речи Робеспьера: “По тому волнению, давно неизвестному, которое сейчас царит в собрании... легко заметить, что дело идет о большом интересе, о том, чтобы узнать, должны ли несколько человек одержать сегодня верх над отечеством”; если кто-нибудь выражает сомнение в виновности арестованных, значит он “бросает вызов национальной юстиции, людям, которые облечены доверием Конвента, Конвенту, который облек их этим доверием, общественному мнению, которым это доверие санкционировано. Я заявляю, что всякий, кто трепещет в этот момент, преступен”, и вообще, “дискуссия, только что разгоревшаяся, является опасностью для отечества; она уже представляет виновное покушение на свободу...”.³⁰

Второй раз безгласный Конвент подает голос 10 июня 1794 в дискуссии по страшному закону 22 прериаля, когда один из депутатов осмеливается даже заявить, что он застрелится, если закон будет принят в предложенной редакции.³¹ Отсрочить вотирование декрета все-таки не удалось, но на следующий день храбрые законодатели, воспользовавшись отсутствием комитетчиков, проводят в закон поправку, гласящую, что на них, законодателей, его предписания не распространяются. А еще через день встревоженный Кутон, совершенно соглашаясь с поправкой, отчитывает Конвент... только за внесение ее без ведома Комитетов. “Всякий раз, как закон представляет неясность, - говорит он, - (а мы без сомнения не непогрешны), почему ожидать момента, когда на заседании нет ни одного члена Комитета, чтобы требовать объяснений, почему не затребовать их братски в их присутствии?” Надо было дожидаться комитетчиков, “всякое иное поведение нелояльно”, и надо видеть, как униженно извиняется Бурдон из Уазы в “парламентской инициативе”.³²

После этого закона Конвента, вообще, не остается: с 400 членов обычный кворум спускается до 200-260 (на 782 депутата!), при чем постоянных мест законодатели предпочитают не занимать, слоняясь по залу, чтобы улизнуть, как только дело пойдет о серьезных решениях, - перед докладом по делу о покушении на Робеспьера Амар требует предварительного закрытия дверей,³³ и даже “более шестидесяти депутатов не имеют больше до 9 Термидора определенного жилища”.³⁴ Человек революционного дела, эбертист Венсан, имел много оснований утверждать, что Конвент это - собрание разряженных марионеток. После удачного переворота, говорит он согласно обвинительному акту, “он оденет манекенов в костюм народных представителей, расставит их в Тюильри и скажет народу, созданному на этот спектакль: вот славные представители, которых вы имеете”.³⁵ И чтобы покончить с Конвентом приведем заключительную характеристику еще одного человека дела, вождя революционной улицы Фурнье-Американца: “Если бы народ, чтобы производить революции, дождался всегда своих представителей, несомненно он был бы еще рабом; французские законодатели проявляли настоящую энергию только тогда, когда сам народ поднимался и насильственно принуждал их ввязаться. Кроме этих случаев как часто могло показаться, что они действовали в союзе с заговорщиками!”³⁶

2. - Это скромное место Конвента в организации революции замечали, конечно, не только эбертисты. Его видели и официальные революционеры, и справедливость требует отметить, что значение Конвента нельзя сводить к нулю именно потому, что всегда при всех обстоятельствах, отражая чужеродные натиски на Комитет общественного спасения или натиск большинства Комитета на триумvirат, революционеры, как последним аргументом оперируют Конвентом:³⁷ Конвент им нужен как законный титул революции, как материальное воплощение идеи народного суверенитета, - “все поведение Робеспьера доказывает, что он верил в абстракцию, именуемую Конвентом”.³⁸

Необходимо заметить, что это цепляние за Конвент было не только “верой в абстракцию”: для организации революционного центра “законный титул” имел и некоторое реальное значение. Если уж для его организации приходилось выбирать между существующими центрами власти, приспособляя их к целям революции, то конечно, “законодательная власть” подходила для этого больше власти “исполнительной”. И по идее, и в действительности до 10 августа 1792 вторая оставалась орудием “феодализма”, а первая выступала представителем “гражданского общества” и неудивительно, что мелкобуржуазная подозрительность и недоброжелательство к власти вообще, концентрировались именно на исполнительной власти.

Только в моменты высшего подъема революции, когда народное движение готово, как будто, выработать из самого себя революционный центр, минуя законные инстанции, идеологи мелкой буржуазии вспоминают, что и собранию “народных представителей” доверять особенно не следует. Такие штришки можно подметить в движении июля - августа 1792, которое проходит целиком за стенами Законодательного собрания и которым руководят люди, не участвующие в собрании. Так, 3 августа в петиции, требующей отрешения короля, коммуна подчеркивает, однако, что временная исполнительная власть должна быть назначена не из среды Легислативы.³⁹ Смысл такой оговорки объясняется в речи Робеспьера 29 июля в якобинском клубе: “Отрешение короля необходимо, но после того, как исчезнет фантом, именуемый королем, кто будет править? Будет ли исполнительная власть осуществляться законодательным корпусом? В таком смешении всех властей я усматриваю самый невыносимый деспотизм. Имеет ли деспотизм одну голову или семьсот голов, все равно это деспотизм. Я не знаю ничего более ужасного, чем идея безграничной власти, врученной многочисленному собранию, будь это хоть собрание мудрецов”.⁴⁰

Подобные высказывания, - обычные некогда у роялистов в их защите королевской прерогативы от “узурпации” Конституанты, - революционерами делаются очень редко и едва ли не только в течение периода июля-августа 1792. В течение всего периода деятельности Конвента они предпочитают развивать обратную тезу: законодательная власть это представительство народа и всякий спор ее с исполнительной властью должен решаться в ее пользу. В докладе 18 ноября 1793 Бийо-Варенн усматривает “макиавеллистский план” продавшей двору Конституанты в том, что создав два центра власти, законодательный и исполнительный, она “не забыла сделать последний единственным двигателем, а другой нейтрализовать, отняв у него всякое управление, всякое наблюдение”.⁴¹ Наоборот, в руках законодательной власти даже смешение властей не опасно, утверждает он в докладе 4 декабря 1793: “Есть ли еще какая-нибудь власть, ответственность которой была бы так ужасна? Все политики знают, что большое собрание не может прийти к деспотизму; особенно этой опасности нечего бояться, когда его прения публичны”.⁴² Этот мотив становится доминирующим, собственно, с самых первых месяцев 1793, как только жизнь ребром поставила вопрос о руководстве. Проще всего этот мотив выразил именно буржуазный революционер, жирондист Иснар в докладе 4 апреля 1793 о Комитете общественного спасения: “вы должны (создать этот орган), потому что в такой момент, когда представляется, что все, не являющиеся вами, вас предадут, благодарим вас, доверяясь только самим себе”.

Таким образом, пока формально-демократическому представительству (остававшемуся всегда, во всех легислатурах, буржуазным представительством) еще противостояла наследственно-полицейская исполнительная власть, использование народной революцией буржуазных образцов не имело смысла. Несмотря на ярлык Конвент и дальше сохранял к исполнительной власти “пренебрежительное отношение, как к чему-то низшему”, и однако до апреля 1794 института “исполнительной власти” не упразднял из уважения к принципу разделения властей. Это приводило к новому, затаянному и совершенно лишнему трению в аппарате, которое уж никак иначе, как идеологическими переживаниями, не объяснить. После упразднения короля, который составлял министерства своей властью, министры назначаются законодательными собраниями, только не из депутатов. Теперь опасаться их конкуренции законодательному собранию решительно нечего. И, однако, в полной силе сохраняется тот курьез, который министр Гара в своих мемуарах выразил сжатой формулой: “положение министра в эту эпоху было странно и ужасно”.⁴⁴ Еще в марте 1792 умеренный депутат Легислативы Рабюсон-Ламот пишет своим избирателям: “После того, как министров пресытили доносами, после того, как их принудили одного за другим покидать их места из-за отвращения, после того, как короля довели до того, что он не может больше их найти, я не буду удивлен, если попытаются отменить его заведование исполнительной властью и учредить нечто вроде диктатуры, взятой из самого собрания”.⁴⁵ Декретом 10 августа 1792 такая “диктатура” и устанавливается, министров назначает собрание и, однако, отношение к ним не меняется: из классово-враждебной, конкурирующей власти они только превратились в козла отпущения, - на их горбе сводятся все партийные счета, на них нападают, когда хотят напасть на Комитет общественного спасения и на его руководство.

После консолидации робеспьеристского руководства в Комитете, т.е. с 10 июля 1793 и до упразднения министерств 1 апреля 1794 можно насчитать по крайней мере девять открытых нападений на министерства справа и слева. В сентябре 1793 (18-25) эбертисты, еще сохраняющие за собой военное министерство и желающие освободить его от опеки Комитета общественного спасения в последний раз атакуют непосредственно Комитет.⁴⁶ Полученный рипост заставляет менять тактику: Комитет становится неприкосновенным, его поражают через министерства. Мерлен из Тьонвиля [Тионвиля] и Бурдон из Уазы требуют отмены “монархического учреждения” 4 декабря, при обсуждении закона 14 фримера;⁴⁷ 10 декабря Бурдон снова возвращается к этому предмету, пугая Конвент невозможностью установить конституцию при наличии “министров монархии”: “никогда вы не увидите конца революционного режима, сохранять который они имеют выгоду... Вы представите собой Долгий парламент Англии, нас будут сравнивать с ним, против нас возбудят народную ненависть”, - и все из за министров!⁴⁸ Через три дня, 13 декабря, Бурдон выставляет против военного министерства уже конкретные обвинения, - оно не выполнило декрета Конвента о переводе денег для выкупа республиканских гарнизонов Майнца и Валансиена;⁴⁹ новая атака 16 декабря и, наконец, решительное наступление 17 декабря всей дантонистской коалиции: агенты исполнительного совета арестовывают на местах комиссаров Конвента, Бурдон снова объявляет, что “революционное правительство не сможет действовать, пока будет существовать исполнительный совет”, исполнительный совет вызывается для объяснения.⁵⁰ Одновременно не прекращаются атаки эбертистов, которые, с одной стороны, требуя “организовать правительство согласно конституции, так как военные власти устали быть лакеями Комитета общественного спасения”,⁵¹ с другой стороны подкапывают Комитет критикой не завоеванных ими министерств, - этот мотив звучит и в заключительном, “инсurreкционном” заседании кордельерского клуба 4 марта 1794.⁵² Вызванные а la barre после разоблачений Бурдона, министры 18 декабря 1793 дают объяснения, исчерпывающая убедительность которых равна только их униженности. Конечно, агентов Конвента они арестовали, потому что Комитет общественного спасения велел арестовать и, конечно, деньги на выкуп пленников не посылались, потому что Комитет не велел посылать. “Граждане, - клянутся они после этого, - одно только слово, название министр, служит причиной мертвящего недоброжелательства, в котором костенеет (languissait) исполнительный совет... Все, вплоть до языка должно быть возрождено в республиканской системе. Мы больше не министры деспотов, мы агенты народного правления” и т.д.⁵³ Казалось бы, что есть неоспоримее последней незатейливой мысли? Сам Робеспьер, защищая министров 23 августа 1793 в якобинском клубе, признавал, что “министерства - в руках Горы и должны быть сохранены, потому что она может их менять, если бы они уклонились от принципов”;⁵⁴ он же 8 января 1794, после повторных дантонистских атак, усматривал в нападениях на министерства - “так как еще не осмеливаются выставить на сцену Комитет общественного спасения”, - не что иное, как интриги Питта.⁵⁵

Дело было ясно: министрам, взятым вне Конвента, просто не хватало авторитета, либеральная идея “исполнительной власти” проваливалась в условиях революции. Но вовсе упразднить министерства долго не позволял фетиш разделения властей; и упразднены они оказались не тогда, когда один из парламентских комитетов был переименован в исполнительную власть, а тогда, когда он организовался в революционный центр, проглотив самые понятия и законодательной и исполнительной власти.

3. - История Комитетов общественного спасения и общей безопасности могла бы быть рассказываема, как иллюстрация к учению о случайности в истории. У национального Конвента, как у всякого порядочного парламента, существуют, кроме множества временных комиссий для специальных поводов, 22 постоянных комитета, оставшихся ему в наследство от Легислативы и предназначенных “для того, чтобы изучать некоторые вопросы, готовить проекты законов, словом, чтобы обсуждать, а не действовать”.⁵⁶ В их числе по инструкции 1792 любознательный читатель рядом с комитетами архивным, инспекторов зала, счетоводства, агрокультуры и т.п. обнаруживает Комитет общей безопасности.

Наличие такого учреждения среди парламентских органов, “предназначенных для того, чтобы обсуждать, а не действовать”, объясняется одной тенденцией, привнесенной в парламентские комитеты революционной обстановкой. Несмотря на искреннее отвращение законодателей из Конституанты и Легислативы к смешению законодательных функций с исполнительными, каждый такой комитет, если только он сразу же не оказывался пустой мертворожденной затеей, постепенно становился по своей отрасли общим начальством,⁵⁷ - и поистине не вина превысших либералов, если сильнее всего их узурпации проявлялись по полицейской линии. На заре буржуазной революции, 28 июля 1789, Конституанта вынуждена учредить “розыскной комитет”, несмотря на указания правой, как “опасно объединять в наших руках всякую власть, все полномочия”.⁵⁸ В самом деле, комитетом розысков законодательная власть “вторгалась разом в судебную власть, давая законодателям право производства дознания о подозрительных лицах, и но власть исполнительную, от которой отнимались ее функции высшей полиции”.⁵⁹ Этот розыскной комитет Конституанты 25 ноября 1791 превратился в комитет надзора Легислативы и 2 октября 1792 в Комитет общей безопасности Конвента, дожидаясь революционных комитетов и закона о подозрительных, чтобы стать страшным и всемогущим орудием террора.

История Комитета общественного спасения определялась второй тенденцией, привнесенной в деятельность парламентских комитетов революцией: они не только по одиночке вторгались в функции “исполнительной” власти, но постоянно стремились объединяться для совместного руководства ею. Уже Легислатива с 9 марта 1792 завела такое объединение под именем комиссии двенадцати, которая с 19 июля 1792 превращается в комиссию двадцати пяти и продолжает существовать вплоть до созыва Конвента. Конвент 1 января 1793 учреждает Главный комитет обороны (Comite de defense generale) из членов семи комитетов, который “совместно с министрами” должен заняться “мерами, требуемыми ближайшей кампанией”.⁶⁰

Этот Комитет состоит из 25 человек, почти сплошь правых, заседания его публичны, - “это клуб или национальное собрание”, “одержимое манией рассуждательства”, жалуется Барер в заседании 5 апреля 1793.⁶¹ Между тем, дело идет как раз о создании органа, который бы действовал. Еще в знаменитом заседании 10 марта 1793, сразу после известия о поражении в Бельгии, Робеспьер требует, чтобы “исполнение законов было поручено надежной комиссии испытанного (epuie) патриотизма, так как сейчас “между Конвентом и исполнительным советом существует барьер, который нужно разрушить”.⁶² Подобное предложение в разнообразных, но одинаково робких вариациях возобновляется в заседании 22 марта,⁶³ и 25 марта 1793 Главный комитет обороны переименовывается в “Комитет обороны и общественного спасения”. Он по-прежнему состоит из 25 членов, притом правых, потому что недовольная Гора даже не принимает участия в его обсуждении, но теперь министры обязаны ему отчетом “по крайней мере два раза в неделю”.⁶⁴ Этого снова явно оказывается недостаточно. После измены Дюмуре, 3 апреля 1793, Робеспьер требует “чтобы эта комедия кончилась”: Конвент должен, наконец “принять революционные меры”, а это невозможно с нынешним Главным комитетом обороны, “так как в этом комитете господствуют принципы, осуждаемые свободой”.⁶⁵ На следующий день Иснар от имени Главного комитета обороны предлагает проект “исполнительного комитета” из 9 членов, заседающего закрыто и облеченного “правом смещения всех агентов исполнительной власти”.⁶⁶

Длительная и бестолковая дискуссия суверенных законодателей, напуганных известием о движении корпуса Дюмуре на Париж, переносится на следующий день. На следующий день законодатели подвигнуты всемогущим доводом Барера. Барер советует не бояться диктатуры, потому что она все равно уже существует, - “единственная законная диктатура, которой желает нация: Конвент, посредством которого нация осуществляет диктатуру над самой собой”.⁶⁷ После этой речи избирается дантонистская комиссия для выработки проекта нового комитета и, наконец, 6 апреля 1793 вотируется долгожданный декрет: Комитет общественного спасения учреждается “для наблюдения и ускорения администрации” и для “принятия неотложных мер внешней и внутренней охраны”, учреждается только на месяц и без права распоряжения финансами.⁶⁸

В дальнейшей истории Комитета общественного спасения, бывшей непрерывным процессом превращения его в верховную революционную власть, нужно еще отметить замену дантонистского в нем руководства робеспьеристским 10 июля, усиление его полицейских полномочий тогда же, 50-миллионный секретный фонд 1 августа и крепкую опору в массовых революционных организациях, с 5 сентября 1793. В общем, к началу 1794 массовые революционные организации имели уже свой настоящий, снабженный всеми атрибутами революционной власти, центр, а Конвент оказался лицом к лицу с нечаянным, не предусмотренным ни конституцией, ни идеологией, начальством. Перечисляя компетенции Комитета общественного спасения, либеральный исследователь может отнести только казначейство и юстицию; впрочем, прибавляет он тут же, право распоряжения казной фактически заменялось “неограниченным кредитом”, а “юстиция была хоть не непосредственно, в его руках”.⁶⁹

Естественно вставал вопрос, что оставалось Конвенту и в каком отношении к нему находилась эта новая, государственному праву неведомая власть? В этом вопросе превосходная практическая сметка Дантона оказалась недостаточной. Творец Комитета и постоянный сторонник усиления его полномочий, он, так же как и подавляющее большинство Конвента, видел в новом органе только чрезвычайный орган, инструмент войны: и, умея в вопросах тактики мыслить последовательно, сразу же предложил решение вопроса о природе Комитета, логически вытекавшее из его, Дантона (да и всего почти Конвента), установки: Комитет общественного спасения это - правительство, исполнительная власть, подчиненная Конвенту и только временно в нарушение правил из него заимствованная. Еще 11 марта 1793 Дантон прямо предлагает избрать совет министров из среды Конвента. Предложение могло только эпатировать честных либералов,⁷⁰ и 1 августа 1793 Дантон к нему возвращается в новой, замаскированной форме. Отстранив от себя красивым жестом подозрение в честолюбии, отказавшись “во имя отечества” когда бы то ни было войти в Комитет, он предложил, предоставив Комитету 50-миллионный фонд, возвести его в звание правительства.⁷¹ К этому же предложению Дантон возвращается к заседанию 6 сентября 1793,⁷² а 30 ноября в дискуссии к закону 14 фримера его поддерживает дантонист Мерлен и в косвенной форме, в виде требования ответственности министров, сам Дантон.⁷³

На этом попытки окрещения Комитета общественного спасения в правительство кончаются: это затея явно ненужная и даже прямо вредная, потому что дает враждебным партиям в руки лишнее орудие критики. После первого предложения в этом смысле эбертисты, испугавшись за свое военное министерство, поднимают страшный крик о “посягательстве на суверенитет народа, противоречии конституции” и требуют выработать меры, “чтобы подобный декрет не мог никогда иметь места”.⁷⁴ Соглашаясь на дотацию в 50 миллионов, Эро-Сешель от имени Комитета 2 августа по поводу второй части предложения Дантона не без цинизма замечает, что “бесполезно давать Комитету новое название, которое ничего не прибавит ни к его власти, ни к его энергии”.⁷⁵ В дискуссии к закону 14 фримера Бийо-Варенн и Барер объясняют, почему новое название может быть и прямо вредным: “Конвент сам правит и должен править сам”, “назвать нас правительственным комитетом значит дать нам имя, которое нам не подходит, и придать Комитету недоброжелательство, которое сможет повредить доверию, коим он облечен и в котором нуждается”.⁷⁶ Наконец, после падения Дантона робеспьеристы прямо усматривают в этом плане превращения Комитета общественного спасения в правительство “западню, которую ему ставили”⁷⁷ и план “разрушения правительства под предлогом его усовершенствования”.⁷⁸

В самом деле, робеспьеристам уже по крайней мере с осени 1793 должно было быть ясно, что в вопросе о Комитете общественного спасения дело шло о чем-то неизмеримо большем, чем создание “исполнительной власти” временно из недр “законодательной”. Дело шло о создании революционного центра, т.е. органа, который, прикрываясь псевдонимом Конвента, объединял бы все полномочия, снимал бы самые понятия “законодательной” и “исполнительной” власти, был бы “работающей машиной”. Намеки на такое понимание проблемы исполнительной власти мелькают во всех обсуждениях Конвента, начиная с первых дней 1793, и в целях самоутешения законодателя постоянно стараются найти революционной необходимости законный титул, истолковать диктатуру в терминах правового государства.

Перечислять все эти “теории” было бы достаточно праздным занятием: тут и утверждение, что в этом нет смешения властей, но лишь делегация власти Конвентом одному своему органу,⁷⁹ и теории учредительной (т.е. правомочной на все) власти Конвента, которые Альберу Матье показались даже прямо революционной доктриной,⁸⁰ и многое аналогичное. Интересно только отметить, что в то время, как правым ограниченность их задач позволяла формулировать требования диктатуры достаточно трезво, последовательные революционеры, сами боясь своих развернутых выводов, путаются в крайне косноязычных формулировках. В апреле полужирондист Барер не стесняется говорить о необходимости “законной диктатуры”, учреждаемой “на месяц”⁸¹ и Дантон ссылается на невозможность во время бури “действовать по всем правилам искусства”.⁸² А Сен-Жюст 28 января 1793, обосновывая необходимость Конвенту взяться за управление армией, разводит целую философию и притом сбивчивую философию: “Монархия состоит не в правлении одного, а в независимости правительственной власти” и поэтому, при наличии исполнительного совета, у нас “имеется нечто от монархии”; при этом, однако, “в некоторых отношениях обе власти нуждаются во взаимном уравнивании, так как без равновесия властей свобода, быть может, окажется в опасности... если бы законодатели в некоторых случаях были без сдержек”; и требуется все это рассуждение для доказательства того положения, что “управление военной властью... неотделимо от законодательной власти, то есть (!) суверена”, чем однако, “разделение властей (la responsabilite) не нарушается, потому что вы отнюдь не управляете, но министры отвечают перед вами непосредственно за исполнение законов”.⁸³

Может быть, конечно, эта обратная ожидаемому диспропорция между высказываниями о разделении властей Барера и Сен-Жюста объясняется просто тем, что последний делал их еще до обострения обстановки, внесенной мартом-апрелем 1793. И все-таки робость формулировок Сен-Жюста способна вызвать удивление. Никому не было так легко в это время критически взглянуть на фетиш разделения властей, как именно робеспьеристам, поклонникам “Общественного договора”. Они ведь хорошо знали, что Руссо третировал разделение властей, как “фокусы японских шарлатанов, которые разрубая ребенка на глазах у зрителей, потом подбрасывают в воздух все его члены и дитя падает обратно целым и невредимым”.⁸⁴ Это рассуждение всегда привлекало внимание своей парадоксальностью и резкой противопоставленностью всей политической доктрине Просвещения, но его социальный смысл оставался достаточно туманным. С редкой для мировоззрения эпохи ясностью социальный смысл мелкобуржуазного отрицания теории равновесия властей вскрыл не кто иной как Робеспьер в речи 10 мая 1793 по конституционным вопросам. “Это равновесие может быть только химерой или бичем, - говорил он: - оно предполагало бы абсолютную ничтожность правительства, если бы не приводило необходимо к союзу

соперничающих властей против народа”; пример - Англия. “Искать возможности вздохнуть свободно народы должны не в ссорах их господ, - гарантия их прав должна находиться в их собственной силе”.⁸⁵ В апреле 1794 институт министров все-таки упразднили, - министерства, объединенные в исполнительном совете, заменили двенадцатью “комиссиями”, т.е. попросту канцеляриями Комитета общественного спасения, - и именно с той мотивировкой, которая вытекала из всего мировоззрения Робеспьера. Министерства это институт “несовместимый с республиканским режимом, - говорил Карно в докладе 1 апреля 1794. - Институт, созданный королями для наследственного единоличного правления, для поддержания трех сословий, их институтов и их предрассудков, мог ли он, в самом деле, стать регулятором представительного правления, основанного на принципе равенства?..”⁸⁶

4. - Упразднение министерств это последний формальный признак превращения Комитета общественного спасения в неограниченную власть. С этого момента якобинская диктатура получила свой революционный центр, - налицо не только материальные, но и все формальные его признаки. Два чрезвычайно существенных вывода отсюда необходимо отметить.

Во-первых, в корне меняются все представления мелкобуржуазных революционеров об отношении власти и общества. Недоверчиво-недоброжелательное отношение всех идеологов мелкой буржуазии к власти вообще имело первостепенное значение для всего мировоззрения эпохи. Именно, классовую борьбу, раздиравшую единую в общем представлении “нацию”, можно было представить как борьбу узурпаторских правительств с всегда угнетенным народом. Очень ясно выразил эту мысль какой-то безвестный член якобинского клуба в учиненной Робеспьером дискуссии 15 января 1794 об английской конституции. “Обсуждая пороки английского правительства, не следует терять из виду, что если английский министр виновен, то английская нация только невежественна. Всякая нация, - которая не составлена из свободных и равных людей (!), - разделена на два класса, класс угнетателей и класс угнетенных. Состояние, в котором эти два класса по отношению друг к другу находятся, является необходимо состоянием войны. Откроем же глаза угнетенным. Покажем им и их собственную силу, о которой они не знают, и слабость их угнетателей”.⁸⁷ В январе 1794 безымянный якобинец предпочитает уже кончать историю классовой борьбы на превращении людей в “свободных и равных”. Но еще до осени, или по крайней мере до лета 1793 робеспьеристы все беды принципиально перекладывают на голову правительства. В декабре 1792 Робеспьер утверждает, что всяким недостатком продовольствия “может быть вменен в вину только порочности администрации или самих законов”,⁸⁸ в мае 1793 он же повторяет, что все пороки “порождают власть и богатства” и “нищета граждан есть не что иное, как преступление правительств”,⁸⁹ наконец, он прямо требует “отправляться всегда от того бесспорного положения, что народ добр, а его уполномоченные подкупны, что предохранения от пороков и деспотизма правительства надо искать в добродетели и верховенстве народа”.⁹⁰

С осени 1793 многое меняется. Уже 25 сентября 1793 в якобинском клубе Робеспьер берет под свою защиту власть от народа, “страдающего и всегда склонного жаловаться на правительство, которое не может помочь всем его бедам”, чем и пользуется коварный Питт.⁹¹ В дальнейшем Питт становится универсальным объяснением всех фактов классовой борьбы в народной республике: волнения внутри нации, которые не могут производиться народом против самого себя, производятся Питтом посредством “factieux”, - низких людей и иностранных заговорщиков.

Когда робеспьеристы декламируют теперь против властей, это имеет уже совершенно иное, новое значение: речь идет о необходимости подчинить народу, *то есть* революционному центру недисциплинированную администрацию мест. На противопоставление народа Конвенту (т.е. Комитету общественного спасения) в этих декламациях нельзя найти и намека, наоборот, всячески подтверждая неограниченные полномочия революционного центра, робеспьеристы хотят только довершить централизацию введением (как мы бы сказали теперь) революционной законности, искоренением бюрократизма и пережитков власти на местах. Когда Сен-Жюст в докладе 10 октября 1793 утверждает, что “народ имеет только одного опасного врага - свое правительство” и что “наше правительство это вечный заговор против нынешнего порядка вещей”, - это значит только, что Конвент “слишком далек от всех покушений”, что ему нужно “гарантировать себя от независимости административных властей” и прекратить “невыносимую наглость чиновников (des gens en place)”.⁹² Тот же мотив в выступлениях Сен-Жюста 26 февраля, 13 марта и 15 апреля 1794: вся беда в том, что “власти и все промежуточное между народом и вами сильнее, чем вы и народ” - “принудьте промежуточные власти строго почитать национальное представительство и народ”;⁹³ бюрократы, присваивают себе абсолютную власть, под тем предлогом, что они действуют революционно, как будто революционная власть находится в них... Революционно правительство, но не власти сами по себе; они революционны постольку, поскольку выполняют революционные меры, продиктованные им; если бы они стали действовать революционно сами собой, - вот тирания;⁹⁴ общий вывод - в “неизменном принципе, что общественные власти должны религиозно исполнять декреты” Конвента.⁹⁵

Утвердив таким образом ничем не ограниченное полномочие революционного центра, якобинцы должны были разрешить вопрос, являющийся, после вопроса о способе организации массового движения, основным вопросом всякой народной революции. После освобождения революционного центра от всех формальных сдержек, после устранения всех юридических гарантий “народа” от “правительства”, где нашли якобинцы истинные критерии правомерности своей власти? Или, говоря современным языком, как была разрешена проблема руководства, как думали якобинцы обеспечить правильное руководство и избежать отрыва верхушки от масс? Тут революционная мелкая буржуазия, - так же как и ее духовные отцы среди просветителей, - додумалась до очень хорошего решения, и это было вторым чрезвычайно ценным результатом появления такого нового органа власти, как революционный центр.

Решение сводилось к тому, что никакие формальные критерии правомерности власти не нужны, хотя бы уж потому, что невозможны; вместо формальных гарантий народ должен иметь гарантии материальные, которые находятся в "чистоте принципов" власти, в ее служении добродетели или эгалитаризму, т.е., как сказали бы теперь, конечным классовым целям мелкой буржуазии. Здесь революционная практика еще один раз прорывает формально-демократическую идеологию, переводя ее в новое качество. Закон, благословенный закон с большой буквы, остававшийся все время туманной абстракцией, материализовался теперь в революционном центре: законно (т.е. благо) все то, чего хочет Комитет общественного спасения, - так прямо и не стесняясь формулировать эту идею комиссары, ища на местах линии поведения.⁹⁶ Так оно и должно быть, следует только пояснить, как неустанно делает Робеспьер, начиная с доклада 25 декабря 1793 о принципах революционного правительства, что "доверие французского народа относится больше к характеру деятельности Конвента, чем к самому институту".⁹⁷ Дело, вообще, не в институтах, т.е. не в форме: у англичан, например, "фантом свободы уничтожает самую свободу",⁹⁸ так что "отнюдь недостаточно декретировать права человека, может статься, что явится какой-нибудь тиран и даже вооружится этими правами против народа; и самым угнетенным из всех народов будет тот, который... будет угнетен во имя своих собственных прав".⁹⁹ Конкретно-политический смысл этого положения состоит в том, что руководство революционным правительством должно быть добродетельно: "в тот день, когда эта власть попадет в нечистые и вероломные руки, свобода будет погублена; ее название станет предлогом и извинением для самой контрреволюции, ее энергия будет силой разрушительного яда".¹⁰⁰ Вот мысль, которую Робеспьер крепко затвердил. Ее развивает его младшим брат в якобинском клубе 21 июля 1794,¹⁰¹ ей посвящена в значительной части и его "речь-завещание" 8 термидора.¹⁰²

Полностью застраховаться от неправильного руководства, т.е. предохранить себя от перерождения самой верхушки власти, трудно, если не невозможно (так же, впрочем, как и в любом снабженном "гарантиями" правовом государстве). Но робеспьеристы знают все мыслимые, и достаточно реальные, методы обеспечения. Высшая власть, т.е. Конвент, должна "беспрестанно наблюдать за всеми общественными чиновниками и их обуздывать. Но кто обуздает ее самое, если не ее собственная добродетель?" - говорит Робеспьер в докладе 5 февраля 1794 о принципах политической морали. "Выведем отсюда великую истину: особенностью народного правления является быть доверчивым к народу и суровым к самому себе".¹⁰³ "Нечего надеяться на благоденствие, - утверждает Сен-Жюст в докладе 10 октября 1793, - если вы не установите такого правительства, которое будучи мягким и умеренным по отношению к народу, будет страшным по отношению к себе самому".¹⁰⁴ В противоположность монархии, где народ угнетен, а власти свободны, "в республике народ свободен, а люди, облеченные властью, не будучи угнетены, подчиняются правилам, долгу, самой суровой скромности"¹⁰⁵ - это подчинение должно быть тем строже, чем "больше их власть, чем свободнее и стремительнее их акция".¹⁰⁶

Доклад Карно 1 апреля 1794 указывает три конкретных метода "подчинения чиновников добродетели", т.е. обеспечения мелкой буржуазии от перерождения ее представителей. Здесь уже речи нет о формальной ответственности, это все методы материального порядка, обеспечивающие классу верность его руководства его интересам. Во-первых, это "подбор людей, которые должны составлять правительство", подбор, который якобинцы давно уже осуществляют по признаку, приближающемуся к классовому, и в партии, и в аппарате власти, особенно судебной, и даже в командном составе армии. Во-вторых, "постоянная сменяемость и ответственность" всех властей, поскольку никто; не застрахован от перерождения, - "даже добрая воля не является достаточной гарантией": человек, который "одно время располагает силой, чтобы служить своему отечеству, в один прекрасный день, если ему оставить эту силу слишком долго, использует ее для порабощения отечества". Наконец, в-третьих, гарантия народа должна быть положена в "подразделение исполнительных функций при уменьшении каждой из них насколько это возможно, не вредя единству и быстроте действий", чем, надо отметить, достигается не только гарантия против "узурпации честолюбцев", но и возможно большее растворение государственных функций в обществе.¹⁰⁷ Если заметить, что по крайней мере первая гарантия не осталась в течение этого периода пустой нормой, если вспомнить, что не кто иной, как Робеспьер, постоянно и по всякому поводу возвращался к вопросу о классовом подборе аппарата, указывая в этом существеннейшую (если не единственную) гарантию правильности революционного руководства, то надо признать, что разрешение основного вопроса, связанного с организацией революционного центра здесь дано совершенно удовлетворительно.

5. - В заключение надо отметить, что к концу своего существования якобинская диктатура готова была разрешить последнюю свою организационную проблему, проблему по существу весьма второстепенную, но приобретающую в этот период неожиданную и крайне тяжелую для революции значительность. Если якобинская диктатура больше всего боялась слова "диктатура", если оно все время оставалось там бранным словом, то это потому, что с ним связывалось римское понятие о единоличной неограниченной магистратуре. Политическое мышление людей 1793 ограничивалось предельными юридическими понятиями: свободы, осуществляемой народом прямо или через представительное собрание, и деспотизма, который в разных своих видах, в том числе и в виде римской диктатуры, является подчинением народа господству одного. Буржуазная революция как бы предчувствовала, что гибель ее придет в форме бонапартизма, так постоянно и упорно возвращалась она к призраку этой опасности. Самое открытие Конвента ознаменовывается программным выступлением левых, которых подозревают в симпатиях к диктатуре по их практике в коммуне 10 августа. "Важно удалить от нашей конституции не только монархию, - говорит Кутон, - но всякий род индивидуальной власти, которая стремилась бы к сокращению прав народа и нарушала бы принципы равенства". Сейчас ходят слухи о чьих-то стремлениях "к триумvirату, к диктатуре, к

протекторату... Так поклянемся же все в верности суверенитету народа, его полному суверенитету, предадим проклятию равно и монархию, и диктатуру, и триумвират".¹⁰⁸ И через три дня он предлагает даже "смертную казнь всякому, кто предложит диктатуру".¹⁰⁹ Смертной казни, правда, не декретируют, но взаимные обвинения в диктатуре, как главный аргумент в партийной борьбе, с тех пор уже не прекращаются.

Личная диктатура, однако, не только жупел в партийной борьбе. Призрак генерала на белом коне не перестает тревожить монтаньяров и после завоевания ими власти, о нем говорит и Сен-Жюст в докладе 10 октября к декрету об объявлении правительства революционным,¹¹⁰ и Бийо-Варенн в докладе к закону 14 фримера,¹¹¹ предохранительные меры против бонапартизма включаются и в самый этот закон (отд. III, ст.ст. 18-20). Можно было бы сказать, что подобные меры там доходили до курьезов, если бы эти курьезы не отражались так болезненно на организационном оформлении революции. Вот факт, который не могут одобрить даже современные либералы: Конвент не знает постоянного президиума, председатели избираются там только на две недели, и с 21 сентября 1792 до 25 ноября 1795 там сменяются 76 председателей, причем только три депутата имели честь вторичного переизбрания.¹¹² То же положение и в непосредственном органе диктатуры - Комитете общественного спасения: только первые заседания дантонистского Комитета имели президиум и председателя (Приера из Марны); "это длилось недолго" и в дальнейшем заседания Комитета проходят без постоянного председателя, и общего руководства его отделами нет.¹¹³

Этих, предосторожностей все еще кажется мало. Если 12 членов Комитета общественного спасения взаимно "уравновешиваются" друг другом, то весь Комитет общественного спасения уравновешивается Комитетом общей безопасности. Как иначе, если не страхом личной диктатуры, можно объяснить тот факт, что рядом с всемогущим революционным центром, якобинская диктатура оставляет существовать - на равных с ним правах и безо всякой подчиненности - центр революционной политической полиции! Подобное положение без особых трений может существовать лишь при том условии, что между всеми членами обоих комитетов господствует полнейшее единодушие, не только в общих вопросах политической линии. И во всяком случае малейшее расхождение между ними будет страшно обостряться подобным положением, приводя в расстройство всю государственную машину. Уже 25 августа 1793 Робеспьер жалуется в якобинском клубе на "пороки в форме и организации" Комитета общей безопасности: "Комитет общественного спасения, уполномоченный предотвращать комплоты всякого рода, арестовывает часто таких лиц, которых разыскивал также Комитет общей безопасности, функции которого приблизительно те же. Получаются конфликты о подсудности, которые часто вредят благу государства. Комитет общей безопасности освобождает и оправдывает того, кого Комитет общественного спасения арестовал и осудил, потому что оба не судят на основании тех же материалов".¹¹⁴

Начало серьезных расхождений между робеспьеристами и их союзниками весной 1794 раньше всего выразилось в трениях между двумя Комитетами, во взаимном шпионаже, конкуренции функций и попытке робеспьеристов "узурпировать" функции второго Комитета посредством организации при переезде "Бюро Высшей полиции". Примерно за две недели до Термидора робеспьерист Пейан назначенный национальным агентом в парижскую коммуну, писал Робеспьеру, что при нынешнем положении получится два правительственных центра и их постоянное трение", и предлагал подготавливать общественное мнение и том смысле, что "Комитет общественного спасения спасет общественное дело... хотя и второй не бесполезен".¹¹⁵ В речи 8 термидора Робеспьер уже открыто заявляет, что враги народа натравили Комитет общей безопасности на Комитет общественного спасения, создали два правительства и теперь необходимо "подчинить его Комитету общественного спасения, очистить самый Комитет общественного спасения, создать единство правительства под высшей властью Конвента".¹¹⁶

Речь теперь приходится вести, таким образом, уже не только о создании единства между двумя Комитетами, но и о создании единства внутри самого Комитета общественного спасения. Некоторые прозрения на этот счет вынуждены всей предшествующей обстановкой. Прямо в пересмотре своих взглядов на личную диктатуру Робеспьер не признается, но он намекает на то, что самое значение проблемы сильно преувеличивали. "Слово диктатура, - говорит он там же, - получило магический эффект: оно клеймит свободу, унижает правительство, разрушает республику; оно развенчивает все республиканские учреждения, представляя их, как дело одного человека... Какое ужасное употребление враги республики сделали из одного названия римской магистратуры!"¹¹⁷ В конце концов не так уж трудно было додуматься, что вопрос о личной диктатуре не является (или по крайней мере может не являться) вопросом принципиальной политической важности, а может ставиться в пределах просто административной техники. Предположим, что все разновидности существовавшей доселе единоличной власти, действительно, находились в противоречии со свободой; но что, если сама свобода, вследствие окружающих ее заговоров, временно нуждается в абсолютном "единстве воли", а лицо, могущее воплотить это единство, никем не может быть заподозрено в своекорыстии? Марат, человек, лучше всех понимавший логику революционной борьбы, давно уже проповедовал необходимость единоличной диктатуры. И когда Бийо-Варенн, узнав про это, кричал 31 мая 1793 "перед якобинцами, перед целым миром", что он "не хочет согнуть выю ни под какого господина", Марат через три дня разъяснял, что он, "видя невозможность народу спасти себя без главы, которая направляет его движения", требовал "руководителя, а не господина, а эти слова не синонимы".¹¹⁸

По-видимому, за несколько месяцев до своего падения робеспьеристы убедились в необходимости если не личной диктатуры, то хоть личного руководства в коллективных органах. "Надо исследовать систему коллективных магистратур, - записывал Сен-Жюст в своих Институтах, - ... и посмотреть, не лежит ли секрет прочного установления революции в распределении их функций единоличным магистратам".¹¹⁹ По удостоверению разнообразных термидорианцев Сен-Жюст незадолго до переворота открыто говорил о необходимости личной диктатуры и даже намекал на это в Комитете,¹²⁰ того же ожидали и сторонние

наблюдатели иностранцы,¹²¹ и как о факте, о робеспьеристских проектах диктатуры говорят историки, даже вполне расположенные к робеспьеристам.¹²² Проекты личной диктатуры, конечно, не имели бы принципиального интереса, если бы даже не остались только проектами; интересны они, как показатель ликвидации идеологии формального демократизма даже в наиболее живучих ее отрогах.

Через два года революционеры уже окончательно разделяются с пугавшими их фетишами. Слова диктатура после Термидора продолжают бояться только контрреволюционеры. Собрание распоясавшихся нуворишей, с полным правом именуемое теперь суверенным Конвентом, разгромив народное движение, придумывает разнообразные декреты против диктатуры, надеясь этими бирюльками откреститься от призрака генерала на белом коне. Революционеров возможность революционной личной диктатуры уже не пугает, - была бы только революция. Бабувисты знают связь диктатуры с революцией, Бабёф указывает в инструкции тайным агентам, что самое восстание есть уже диктатура, что революция требует "от наиболее смелых и способных к самопожертвованию", чтобы "они по собственной инициативе облекли себя диктатурой восстания".¹²³ Сразу после победы восстания предлагалось по проекту Дебона установить единоличную диктатуру. Проект был, правда, отвергнут, но только потому, что бабувисты боялись технических трудностей, - "общего предубеждения, которое казалось невозможно победить".¹²⁴ Принципиальной политической проблемой революции единоличие уже перестало казаться.

1 *Mortimer-Ternaux*, op.cit., t.II, pp.205, 253, 264, 350, 348; t.III, p.43.

2 Петиция секции Гравилье 4 августа 1792; *ibid.*, t.II, p.179.

3 *Ibid.*, t.II, p.337.

4 *Ibid.*, p.340.

5 *Oeuvres de J.-P.Marate* ed. par A.Vermorel, 1869, pp.229-31.

6 *H.Taine*, *Les origines de la France contemporaine*, 1899, t.IV, p.143-4.

7 *J.W.Zinkeisen*, *Der Jakobiner-Klub*, 1853, Bd.II, S.525, 528-9.

8 Речь Робеспьера 28 июня 1793 в якобинском клубе - *Societe des Jacobins*, t.V, p.277; срв. там же речь Ренодэна 10 ноября 1793, t.V, p.507.

9 *Mortimer-Ternaux* op.cit., t.VII, pp.232, 233; срв. *Moniteur*, t.XVI.p.412.

10 *Ibid.*, pp.249, 296, 304, 425-6.

11 Этот же факт, очевидно как наиболее материальное доказательство нарушения свободы суверенных законодателей, приводится во многих протестах и письмах депутатов правой, см. *Mortimer-Ternaux*, t.VII, pp.547, 562 и др.

12 *Ibid.*, pp.388-92.

13 *Ibid.*, pp.402, 404-7, 410, 420, 398.

14 *Moniteur*, t.XVI, pp.578, 584, 585-6.

15 Выступления Л.Бурдона, Гастона, Руайе в якобинском клубе 9 сентября 1793; *Societe des Jacobins*, t.V, p.395-6.

16 *Buchez et Roux*, t.XXVIII, p.406-7; срв.*Moniteur*, t.XVII, p.302.

17 *Moniteur* du 12 aout 1793, № 224; t.XVII, p.366.

18 *Societe des Jacobins*, t.V, p.343.

19 *Buchez et Roux*, t.XXVIII, p.463; *Moniteur*, t.XVII, p.382.

20 *Societe des Jacobins*, t.V, p.560.

21 *Moniteur* dti 20 germinal, № 200; t.XX, p.168.

22 *G.Dodu*, *Le parlementarisme et les parlementaires sous la Revolution*.1911, p 206.

23 *Le Vieux Cordelier*; № 3; *Oeuvres*, 1874, t.II, p.172.

24 См.заседание 13 ноября 1793; *Societe des Jacobins*, t.V, p.510-11.

25 Заседание 16 февраля 1794; *ibid.*, p.654.

26 Срв.заседание 20 октября 1793; *ib.*, p.471.

27 Заседание 18 декабря 1793; *ib.*, p.565.

28 См.*G.Dodu*, op.cit.p.232.

28a Fragment, de l'histoire secrete de la Revolution; *Oeuvres de C.Desmoulins*, 1874, t.I, p 348.

29 *Moniteur* du 25 messidor l'an II.№ 295; t.XXI, p.199.

30 *Moniteur* du 12 germinal, № 192; t.XX.pp.95, 96.

31 *Moniteur* du 24 prairial, № 264; t.XX, p.697.

32 *Moniteur* du 26 prairial.№ 266; t.XX, p.716.

33 *G.Dodu*, op.cit., p.199.

34 *J.Michelet*, *Hisl.oire de la Revolution francaise*, t.III, p.1757.

- 35 Цит. по *H. Wallon*, *Histoire du Tribunal revolutionnaire de Paris*, 1881, t.III, p.48
- 36 *Memoires secrets de Fournier l'Americain*, 1890, p.71.
- 37 Срв. напр., *Societe des Jacobins*, t.V p.596, t.VI p.234; *Buchez et Roux*, t.XXXIII, pp.410-415.
- 38 *Buchez et Roux*, t.XXXIII, p.19.
- 39 *Mortimer-Ternaux*, t.II, p.173.
- 40 *Buchez et Roux*, t.XVI, p.222-3; в сборнике Олара приведено только резюме, - *Societe des Jacobins*, t.IV.p.158-9.
- 41 *Moniteur du 2 frimaire l'an II*.№ 62; t.XVIII, p.474.
- 42 *Moniteur du 16 frimaire*, № 76: t.XVIII, p.590,
- 43 *Moniteur du 7 avril*, № 97; t.XVI, p.57.
- 44 Цит. по *Gaston Dodu*, *op.cit.*, p.270.
- 45 *Ibid.*, p.262.
- 46 *Buchez, et Roux*, t.XXIX, p.123.
- 47 *Moniteur du 16 frimaire l'an II*, № 76; t.XVIII, p.591.
- 48 *Moniteur du 22 frimaire*, № 82; t.XVIII, p.638.
- 49 *Ibid.*, p.662.
- 50 *Ibid.*, p.694
- 51 Разоблачения Лебона в том же заседании 17 декабря; *ibid.*, p.695.
- 52 *Buchez et Roux*, t.XXXI, p.329.
- 53 *Moniteur du 30 frimaire*, № 90; t.XVIII, p.702.
- 54 *Societe des Jacobins*, t.V, p.371.
- 55 *Ibid.*, p.602.
- 56 *J.Gros*, *Le Comite de salut public de la Convention nationale*, 1893, p.11.
- 57 Так, напр., с законодательным комитетом, который до Термидора к высокой политике, как будто, вовсе не имел отношения, оказывается, "обстояло в этом отношении так же, как и с Комитетом общественного спасения. Законодательный комитет объединял в себе власть законодательную, исполнительную и судебную под верховным контролем Конвента. Он подготовлял гражданские и уголовные законы. Он был занят организацией судебной власти и административных органов, а также и наблюдением за исполнением законов, порученных этим властям. Он толковал законы, давал в ответ на массу петиций настоящие юридические консультации, заранее разрешая, таким образом, отдельные казусы, беспрестанно кассировал вынесенные приговоры. Хотя он часто защищался от обвинений его во вторжении в полномочия судебных органов, но в действительности это был настоящий трибунал, поставленный над кассационным трибуналом" (*Ph.Sagnac*, *La legislation civile de la Revolution francaise*, 1898, p.49).
- 58 *Moniteur du 29 juillet 1789*, № 27; t.I, p.230.
- 59 *J.Gros*, *op.cit.*, p.10.
- 60 *Moniteur du 3 janvier 1793*, № 3; t.XV, p.26.
- 61 *Moniteur du 8 avril*, № 98; t.XVI, p.71.
- 62 *Moniteur du 12 mars*, № 71; t.XV, p.674.
- 63 *Moniteur du 24 mars*, № 83; t.XV, p.774.
- 64 *Moniteur du 27 mars*, № 86; t.XV, p.795.
- 65 *Moniteur du 6 avril*, № 96; t.XVI, p.52.
- 66 *Moniteur du 7 avril*, № 97; t.XVI, p.57.
- 67 *Moniteur du 8 avril*, № 98; t.XVI, p.71.
- 68 *Moniteur du 9 avril*, № 99; t.XVI, p.76.
- 69 *J.Gros*, *op.cit.*, p.169.
- 70 *Moniteur du 14 mars*, № 73; t.XV, p.686.
- 71 *Moniteur*, №№ 214, 215; t.XVII, pp.245, 288.
- 72 *Moniteur du 8 septembre*, № 251; t.XVII, p.536.
- 73 *Moniteur du 12 frimaire*, № 72; t.XVIII, p.558-9.
- 74 Выступление Венсана в заседании якобинского клуба 5 августа 1793; *Societe des Jacobins*, t.V, p.329.
- 75 Цит. по *J.Gros*.*op.cit.*, p.67 и *P.Mautouchet*, *op.cit.*, p.184; *Moniteur* резолюцию приводит без мотивировки, - t.XVII.p.304.
- 76 *Moniteur*, t.XVIII, p.502.
- 77 Речь Сен-Жюста 31 марта 1794; *Moniteur du 12 genrminal*, № 192: t.XX, p.102.
- 78 Проект речи Робеспьера против Фабра д'Эглантина; *Buchez et Roux*, t.XXX, p.159.
- 79 Выступление Тюрю 6 апреля 1793; *Moniteur du 9 avril*, № 99; t.XVI, p.75-6.

- 80 Выступление Камбасереса и Дантона 10 марта 1793, Иснара и Дантона 4 апреля 1793, - *Moniteur*, t.XV p.681, t.XVI p.57.
- 81 Выступление 5 апреля 1793; *Moniteur*, № 98; t.XVI, p.71.
- 82 В заседании 4 апреля 1793; *Moniteur* № 97; t.XVI, p.57.
- 83 *Moniteur du 30 janvier 1793*.№ 30; t.XV, p.307.
- 84 *Contrat social*, I.II, ch.2; *Oeuvres 1790*, t.VIII, p.48.
- 85 *Moniteur du 12 mai*, № 132; t.XVI, p.359.
- 86 *Moniteur du 14 germinal*, l'an II, № 194; t.XX, p.114.
- 87 *Societe des Jacobins*, t.V, p.613.
- 88 Выступление 2 декабря 1792: *Moniteur*.t.XIV, p.636.
- 89 Речь 10 мая 1793; *Moniteur*, t.XVI, p.358.
- 90 *Ibidem*, p.359.
- 91 *Societe des Jacobins*, t.V, p.421.
- 92 *Moniteur du 14 octobre*, № 23; t.XVIII, p.108.
- 93 *Moniteur du 9 ventose*, № 159; t.XX, pp.568-9, 686
- 94 *Ibid.*, p.690
- 95 *Moniteur du 27 germinal l'an II*, № 207; t.XX, p.224
- 96 Срв., напр., донесение Лапорта из Лиона 13 апреля 1794; *Recueil des actes du Comite de salut public*, t.XII, p.571-2.
- 97 *Moniteur du 7 nivose l'an II*, № 97; t.XIX, p.52.
- 98 Речь Робеспьера 10 мая 1793; *Moniteur*, t.XVI, p.359.
- 99 Речь Сен-Жюста 24 апреля 1793; *Moniteur*, t.XVI, p.215.
- 100 Речь Робеспьера 25 декабря 1793; *Moniteur*, t.XIX, p.52.
- 101 *Societe des Jacobins*, t.VI, p.235.
- 102 *Buchez et Roux*, t.XXXIII, pp.417-18, 423, 438.
- 103 *Moniteur du 19 pluviose l'an II*, № 139; t.XIX, p.403.
- 104 *Moniteur du 14 octobre*, № 23; t.XVIII, p.108.
- 105 Речь Сен-Жюста 15 апреля 1794; *Moniteur*, t.XX, p.221.
- 106 Речь Робеспьера 25 декабря 1793; *Moniteur*, t.XIX, p.52.
- 107 *Moniteur du 14 germinal*, № 194; t.XX, p.114-15.
- 108 *Moniteur du 22 septembre 1792*, № 266; t.XIV, p.7.
- 109 *Moniteur du 27 septembre*, № 271; t.XIV, p.52.
- 110 *Moniteur*, t.XVIII, p.107.
- 111 *Moniteur*, t.XVIII, p.590.
- 112 *Gaston Dodu*, op.cit., pp.221, 337.
- 113 *J.Gros*.op.cit.p.147.
- 114 *Societe des Jacobins*, t.V, p.376-7.
- 115 *Buchez et Roux*, t.XXXIII, p.396.
- 116 *Ibidem*, pp.417, 430, 448.
- 117 *Ibid*.p.418.
- 118 *Societe des Jacobins*, t.V, pp.217-226.
- 119 *Oeuvres completes de Saint-Just*, 1908, t.II, p.502, 530.
- 120 *J.Gros*, op.cit., p.114; *Buchez et Roux*, t.XXXIII, p.359.
- 121 *Buchez et Roux.*, t.XXXII, p.390.
- 122 Срв. *J.Michelet*, *Histoire de la Revolution francaise*, t.III, pp.1743, 1748; *A.Mathiez*, *La Revolution Francaise*, t.III, p.168
- 123 *Ph.Buonarroti*, *Conspiration pour l'egalite dite de Babeuf*.1828 t.II, p.113-114.
- 124 *Ibid.*, t.1, p.140.

ГЛАВА ПЯТАЯ. ВЛАСТЬ И ПАРТИЯ

1 - Понятие о партии в эпоху революции. 2 - Три истока и три концепции якобинских клубов: объединение парламентариев, организации общественного мнения, орган народного контроля над властью. 3 - Степень активности контроля, участия клубов в управлении. 4 - Незавершенность государственного характера клубов, параллелизм официального и партийного руководства, перевес первого. 5 - Невозможность партийного руководства революцией из-за недостатков партийной организации: неопределенность классового лица. 6 - Продолжение: отсутствие единой партии. 7 - Незавершенность организации прессы как выражения революционного общественного мнения.

1. - Нет другой области в организации и идеологии якобинской диктатуры, где бы так остро сказывался ее промежуточный характер, как партийная организация. Естественные тенденции революционного развития в этой области оказались максимально незавершенными, и это обстоятельство отчасти объясняет специфические трудности исследования якобинских клубов.

Естественная тенденция революций заключается в выделении из революционного класса его авангарда, который и осуществляет классовую диктатуру. Так дело обстоит в высшей по типу пролетарской революции. Если государственная организация пролетариата может сложиться стихийно и уже в процессе революции; то его партийную организацию революция предполагает заранее данной, централизованной и сознательно руководящей событиями. Если учение о революционной партии, как о единой и единственной партии, может точно сформулироваться позже, то во всяком случае с самого начала партия выступает в революции, как претендующее на гегемонию представительство класса, которое управляет его государством. Партия именно управляет государством, а не только надзирает за его управлением и не только воплощает общественное мнение управляющего класса. Такое положение, на степень теории возведенное пролетарской революцией, существует, как тенденция во всякой революции. Но в якобинской диктатуре хронологический порядок был как бы обратный: тенденция партийного развития осталась незавершенной даже тогда, когда государственный центр революции уже сложился, - главу о якобинской партии не случайно приходится ставить после главы о якобинской власти.

Рабочее движение XIX века почти с самого своего возникновения знает понятие партии, как материального представительства рабочего класса, его авангарда, руководящего им в осуществление его наиболее общих классовых интересов. Буржуазное освободительное движение XVIII века не выработало такого понятия. Смысл партии или вовсе не уясняется, или шокирует революционное сознание. Нормальное представительство интересов народа это публичная власть, именно та власть, которая учреждена демократическим путем (то есть путем выборов) и воплощена в парламенте. Только так ставится вопрос в 1789-90. Каким тут еще общественным организациям может быть место? Аббат Сьейес, политический оракул феианской буржуазии, обладавший прямо-таки замечательной способностью вещать невпопад, изрек в конце 1789 о клубах: "И как могут только рассчитывать и стараться создать оппозицию (королю) посредством этих организаций, которые окажутся или несостоятельными сами по себе, или скоро будут задавлены двором!"²

Очень скоро обнаружилось, впрочем, что двору подкупить эти организации много труднее, чем законно избранных депутатов и что "сами по себе" они не только не "несостоятельны", но явно перерастают в решающую политическую силу революции. Последнее обстоятельство те только было неожиданностью для современной политической идеологии, но труднее всего поддавалось ассимиляции в ней. То, что в рабочем движении всегда понималось, как представительство класса отбором лучших, в юридическом мировоззрении XVIII века должно было преломляться, как узурпация "частным интересом" интереса "общего", воплощенного выборными магистратами. На место лиц, законно уполномоченных подставляется организация, возникшая "самочинно", пополняющаяся методом "кооптации" и на осуществление публичных функций не уполномоченная никаким "мандатом".

При этом положении было отчего приходиться в возмущение; возмущение, вызывавшееся, конечно, причинами политическими, оказывалось всегда идеологически оправданным. Интересно, однако, что возражения "от идеологии" бывали не только справа, но и слева. Так, редактор одной из наиболее демократических газет первого периода революции, Прюдом, нападая, очевидно, в начале 1791 на слишком умеренный парижский клуб, восклицал: "Обязательно, что ли, иметь якобинский билет и квитанцию об уплате взноса в 6-8 ливров за триместр, чтобы слыть добрым гражданином и горячим патриотом? Корпоративный дух завладел этим обществом. Можно было бы прямо сказать, что оно восприняло эту максиму религиозного фанатизма: нет спасения вне церкви! нет цивизма вне якобинцев!"³

Но обычно, конечно, это со стороны контрреволюционеров "чувство равенства оказывалось оскорбленным аристократической надменностью этих исключительных собраний". В Лориане в начале революции заведомо реакционный листок риторически вопрошал, "по какому праву некоторые граждане присваивают себе выдачу удостоверений патриотизма, кто уполномочил их на надзор за законными властями и на критику решений законодательного корпуса?"⁴ После Термидора эта фразеология стала у бывших революционеров общим местом. "Что такое эти народные общества? - восклицал прозревший Бурдон из Уазы 16 октября 1794. - Сборище людей, которые, подобно монахам (!), набираются сами собой. Я не знаю во всем мире более устойчивой и лучше организованной аристократии, чем эта".⁵ Выступление

Бурдона неоднократно прерывается аплодисментами. Нелегко, наверно, было признаваться термидорианским нуворишам, состоявшим в чине суверенных законодателей, что до июля 1794 ими управляли “частные организации”!

Едва ли неосторожным было бы утверждение, что буржуазной революцией с осени 1793 более или менее управляла партия - народные общества или клубы. И однако, как трудно было мелкобуржуазным революционерам завершить эту материально-классовую организацию партии, если даже до безобидного формально-демократического утверждения партийности они боялись дойти! Партия, как политическое содружество единомышленников, подвизающихся на парламентских пажах, партия, в этом качестве, вошедшая в железный инвентарь буржуазных демократий XIX в., оставалась запретным словом для их революционных зачинателей. Это факт общеизвестный и не подвергается сомнению; все же на нем стоит несколько остановиться.

Во-первых, партии, как политические объединения частных граждан, недопустимы, потому что разрушают естественное и необходимое единство нации: общей воле, т.е. политическому представительству нации должны противостоять только индивиды. Во-вторых, недопустимы и партии, как политические объединения внутри национального представительства, т.е. как парламентские фракции, ибо это “несовместимо с независимостью законодательного мандата”.⁶

Какой круг в течение полувека описала эта буржуазно-демократическая теория! Выдвинутая с догматической непреклонностью доктриной просвещения против сословного и провинциального сепаратизма, она в революции стала сначала орудием борьбы против народного движения и потом помехой для его материально-демократической организации. Заключительный аккорд деятельности Учредительного собрания, декрет 29-30 сентября 1791, разгонявший якобинские клубы, мотивировал это тем, что “никакие общества, клубы, ассоциации граждан не могут иметь ни в какой форме политического существования, ни осуществлять никакого влияния на действия установленных властей и законных инстанций”.⁷ И в самом деле, не будет ли осуществление такого декрета только возвращением к исконным началам революции? К лету 1791 клубы безнадежно превратились в политические учреждения и притом достаточно радикальной окраски; но возникали-то они два года назад, как частные полуобразовательные организации, в соответствии с духом муниципального закона 14 декабря 1789 (ст. 62). Лешапелье в уже цитированном докладе 29 сентября 1791 к декрету о роспуске клубов твердо стоит на почве законности и существующих представлений о партиях. Для поддержания единства нации “конституция устранила по всему государству все корпорации и оставила в силе только социальное целое и индивидов”. Поэтому “общества, возникающие для изучения конституции и поддержания ее максим, суть только собрания друзей, которые являются стражами конституции не больше, чем вес прочие граждане. Они могут обучаться, рассуждать, обмениваться мнениями; но их конференции, их внутренние постановления не должны никогда переступать порог их собраний: никакой публичный характер, никакое коллективное выступление не должно отмечать их”.⁸

Можно очень опасаться, что как ни изменилась политическая обстановка 1793-1794 по сравнению с 1791, представления о партии в основном остались прежними. Как ни существенна перемена в конфигурации классовых сил, все узоры партийной борьбы продолжают разворачиваться на прежней канве: отрицания законности партий. Если Робеспьер остерегается формулировать эту мысль во всей ее догматической прямолинейности, оставляя лазейки для возможных маневров, то потому же так и сбивчивы его формулировки по этому вопросу. В декабре 1792 он признает законность партий в парламенте, защищая в жирондистском Конвенте права меньшинства: “Большинство это - большинство добрых граждан и оно отнюдь не постоянно, потому что не принадлежит ни к какой партии (!) ... Меньшинству всюду принадлежит вечное право - заставить выслушивать голос истины... Добродетель всегда была в меньшинстве на земле”.⁹ Через год, подбираясь к эбертистам в якобинском клубе, он как будто начинает нащупывать теорию закономерности двух партий: честного большинства и меньшинства жуликов.¹⁰ Еще через полгода, в прениях 12 июня 1794 по прериальскому закону, попытка монтаньярской оппозиции Комитету общественного спасения вызывает его гневную, но маловразумительную реплику: Бурдон из Уазы “старался отделить Комитет от Горы. Конвент, Гора, Комитет - все это одно и то же”. Теория двух партий здесь налицо: во время борьбы с жирондистами “название Горы... стало священным, потому что оно обозначало ту часть народных представителей, которые боролись против заблуждения. Но с того момента, как интриги были разоблачены... в Конвенте может быть только две партии: добрых и злых, патриотов и лицемерных контрреволюционеров”.¹¹ То же повторяется вечером в якобинском клубе: “в республике существуют еще (!) две партии”, патриотизма или честности и жульничества или контрреволюции.¹² И то же еще через полтора месяца в речи 8 термидора, но уже с уточнениями: все зло от факций, но “согласие друзей свободы... отнюдь не образует факции”; впрочем имеются “только две партии, добрых и дурных граждан”.¹³

Формулировки Робеспьера как бы нарочно сбивчивы и незначительны. Зато такая неопределенная (чтобы не сказать подозрительная) политическая фигура, как Дюфурни, ухитряется еще в период парламентской борьбы с жирондистами совершенно точно выразить современную идею партии. “Объявляют, что в Конвенте есть две партии, - говорит он 22 апреля 1793 у якобинцев, - но слово партия понимается всегда в дурном смысле; патриоту не образуют партии, это наименование может применяться только к интриганам Конвента”.¹⁴ Возражений не следует; постановка вопроса, действительно, вполне логична и по правде сказать, выражает общее мнение. Высоко-официальный Сен-Жюст к нему присоединяется в докладах, дающих политическую линию, - вантозских и жерминальском. “Всякая партия хочет зла в основанной республике”, - говорит он 13 марта,¹⁵ - там, где есть факции, нет свободы, - продолжает он 15 апреля: “пусть исчезнут факции и останется только свобода”.¹⁶ Там же в вантозском докладе дается и объяснение, почему партии несовместимы с режимом свободы. “Всякая партия преступна, - говорит он,

разумея непосредственно эбертистов и косвенно дантонистов, - потому что она представляет собой отъединение от народа и народных обществ (sic) и независимость от правительства; таким образом всякая факция преступна, потому что она стремится разделить граждан”.

Хорошо еще, что у Сен-Жюста есть хоть намек на понимание исторического, а не абсолютного характера такой оценки партийности. “Факции”, - продолжает он там же, - были хороши, чтобы изолировать деспотизм и уменьшить влияние тирании; но сейчас они являются преступлением, потому что изолируют свободу и уменьшают влияние народа”.¹⁷ Политики попроще выражают ту же мысль, как абсолютно верно: не может быть партий в республике, в общем деле. “Граждане, - пишут якобинцы Флорансака 2 апреля 1794 парижскому клубу, жалуюсь на местный революционный комитет, - мы клялись спасти свободу и уничтожить все разделения; дух партии не был никогда республиканским духом и никогда не будет нашим. Наши сердца, рожденные для добра, сильно чувствуют, что не должно быть партий в свободном государстве, потому что партии разрушают социальное равенство (!). Мы желаем единства, потому что в нем наша защита, наше спасение” и т.п.¹⁸ Само собой напрашивается и объяснение, почему существуют партии, если нация едина и желает единства. После очередной тирады Робеспьера в клубе 26 декабря 1793 против иностранцев (он подразумевает “иностраннный заговор”, т.е. дело Ост-индской кампании, но как будто метит уже в эбертистов) выступает Эбер с уверениями в полном согласии: “совершенно верно, что если существуют партии, то они создаются и поддерживаются (sont aimentes) только иностранцами, которые нас окружают. До сих пор факции были только их делом. Но тяжело, что существуют возбужденные споры между людьми, которые должны бы были иметь одну и ту же волю” и т.д.¹⁹

Повторяем, едва ли неосторожностью было бы утверждать, что приведенные высказывания являются общей точкой зрения на партию: слишком уж логично эти высказывания связаны с общим стилем мышления эпохи. Если можно делать общее заключение на основании отчетов парижских клубов и Конвента, то за все время якобинской диктатуры имели место только две открытые манифестации точки зрения противоположной. Одна из них мало примечательна и даже малопонятна. Монтабарская коммуна из департамента Кот-Дор [Кот-д’Ор] разоблачает 18 ноября 1793 в парижском клубе свой департамент (т.е. департаментское управление и, по-видимому, клуб департаментского центра) в том, что он “напыщенно распространяется на ту тему, что поскольку Конвент един, как и республика, в нем не должно быть правой, и что все имеют равное право на почет и уважение”. Далее якобинцы зачитывают протоколы Кот-дорского народного общества “в которых явно выражены эти фейанские (!) принципы. Там не признают ни Горы, ни Равнины, ни Болота, и все депутаты, по словам этого общества, являются одинаковыми друзьями народа”. Суровое отношение парижских якобинцев к этому по меньшей мере безобидному рацейству может быть объяснено, конечно, только специальными условиями классовой борьбы данного момента, и в частности инспирацией Робеспьера. Робеспьер тут же заключает, что “говорить, будто в республике и в Конвенте существует только одна партия, значит утверждать, что не существует никакой разницы между аристократами и патриотами... иностранцами, врагами Франции, и друзьями французского народа”. Принципы кот-дорского общества признаются фейанскими и само оно исключается из афилированных, как федералистское.²⁰ Другое выступление в защиту партий более известно, но также эпизодично. Это дантонист Шабо, который, предчувствуя близкую гибель от рук Неподкупного (Шабо к этому времени окончательно запутался в биржевых аферах), идет ва-банк и требует 10 ноября 1793 в Конвенте свободы группировок: “Если тут не будет правой, - кричит он, - я один образую ее, хотя бы это стоило мне головы, лишь бы тут была оппозиция”.²¹ Требование свободы для оппозиции было очень понятно со стороны дантонистов, начинавших в это время общую атаку на революционное руководство, но выразил его Шабо явно экстравагантно. Публика впрочем давно привыкла к экстравагантностям этого нечистого на руку капуцина, - выступал же он с демагогической критикой конституции в духе бешеных против Робеспьера уже после принятия конституции!²² На следующий же день, 11 ноября Дюфурни разоблачил это еретическое выступление Шабо в якобинском клубе²³, а еще через четыре дня он же и объяснил, почему недопустимы требования свободы группировок в ноябре 1793. Это очень неплохое объяснение. Оппозиция была устранена 31 мая, с изгнанием жирондистов, и теперь об оппозиции не может быть речи вследствие существенных отличий французского правительства от правительства Англии: “там интересы народа требуют, чтобы существовала оппозиция, потому что существуют министерские интересы; здесь, напротив, единство республики требует, чтобы ее не было. Дискуссии несомненно необходимы, но они должны иметь место только относительно способов осуществления общественного блага. Существует ли оппозиционная партия, существует ли правая у якобинцев и в других народных обществах? Нет, конечно. Так зачем же ей существовать и в Конвенте?”²⁴ Шабо вскоре переселился под замок и в “состав преступления” ему не преминули включить и это желание организовать фракцию в Конвенте,²⁵ - слово партия продолжало оставаться предосудительным понятием.

2. - Если бы отвлечься от реального тормозящего значения, которое имеют общественные воззрения, то все приведенные рассуждения против партийности надо было бы счесть совершенно академическими рассуждениями: происходили-то они в партийной организации, якобинском клубе, и занимались ими лидеры парламентской фракции. Горы. Реальное значение за ними, однако, сохранялось, поскольку благодаря им партийная организация якобинской диктатуры возникала стихийно и развивалась болезненно неуверенно. Совершенно невозможно понять историческое своеобразие революционной партийности 1793-1794, если не обратить внимания на характер возникновения якобинских клубов. Они имеют по крайней мере три истока.

Первый исток это парламентские фракции единомышленников, которые вопреки “независимости законодательного мандата” начали возникать с первых дней революционной легислатуры. На этом истоке можно было бы не останавливаться, если бы с парламентским объединением бретонских депутатов не оказался более или менее непосредственно связан в своем происхождении якобинский клуб.²⁶ Вот ведь

парадокс истории: для создания органа широчайшей демократической акции, которую только до тех пор видел мир, буржуазно-демократическая теория единства нации и национального представительства оказались препятствием, а трамплином стали пережитки феодального партикуляризма! Ибо делегаты третьего сословия достаточно затхлои Бретани в Генеральные штаты получили от своих доверителей наказ “объединиться с их товарищами по провинции, чтобы добиться тех возмещений, от которых Бретань (le pays) ждет благополучия”, так что якобинский клуб при рождении своем оказывается “ассоциацией глубоко провинциальной и партикуляристской”.²⁷ Первое время, - пишет в своих воспоминаниях жирондист Луве, - “было трудно попасть в него (общество якобинцев), по крайней мере не будучи депутатом; кандидата сурово разбирали и самого горячего патриотизма было недостаточно: следовало еще проявить какой-нибудь талант в качестве ли писателя или оратора”.²⁸ Собрание депутатов, писателей и ораторов только 14 октября 1791 решилось устраивать свои заседания публично. И только к этому времени - только после развития сети действительно народных обществ, после двух расколов и коренного изменения социального состава этого “собрания” - о нем можно говорить, как о представителе той революционной партийности, которая от него получила название.

Второй исток будущей революционной партии значительно интереснее. Это те, не парламентские, и даже не политические, организации “общественного мнения”, которые массами стали возникать во всех концах Франции на самой заре революции. Формы выражения это “общественное мнение” получало самые разные. Прежде всего возникли такие “клубы”, которые были только легальным продолжением подпольных до революции масонских лож и некоторым развитием обильных во второй половине XVIII в. местных “академий” - литературно-научных кружков, которые именовались кой-когда и клубами. Это были узко интеллигентские организации и по составу и по занятиям. Масонские ложи, влияние которых на революцию любят преувеличивать, часто все же чуть ли не целиком совпадают по составу с местными якобинскими клубами первых лет революции; трудно указать из лидеров революции хотя бы одного, кто не состоял бы прежде в масонах.²⁹ Для целей этих первых революционных клубов характерны самые их названия: общество “друзей конституции и сельской экономии”, “людей природы или свободных деревенских собственников”, часто с эпитетом “антиполитическое”, который удерживается иногда чуть не до конца 1792 (было даже “Антиполитическое республиканское обновленно монтаньярское общество”); и от занятий их, состоящих во “взаимном просвещении и обмене мыслей” для революции только и пользы, что спорадическое приобщение масс “пассивных” к диспутам на достаточно абстрактные темы.³⁰ Надо сказать, что эта интеллигентская форма овеществления “общественного мнения” еще не слишком зазорна для ее революционного потомка: эти клубы бывали достаточно радикальны, - крупный клуб “Социального круга (du Cercle social) [Социальный кружок] или Друзей истины”, занимавшийся, главным образом обсуждениями “плана идеального государства”, едва ли не первый стал на республиканскую платформу в июне 1791. Но с января 1790 начали возникать и контрреволюционные - “черные” - клубы, официально под той же фирмой “цивического образования”, а также для “вспомоществования обездоленным”. Эта разновидность клубов уже вовсе “напоминала некоторыми чертами кружки друзей”; это были по английскому образцу клубы “с развлечениями”, - картами, балами и рестораном; основанный Сьейесом “Клуб 1789 года” за одно помещение уплатил 24 000 ливров (якобинцам, ютившимся в монастыре, оно обходилось в 200-300 франков).³¹ “Облегчение обездоленным” имело, впрочем, и некоторый политический смысл: в результате монархической деятельности по раздаче хлеба и организации благотворительных мастерских в конце марта 1791 в Париже имели место подозрительного характера народные волнения, и в апреле фейанско-жирондистский муниципалитет закрыл центральную монархическую организацию.³²

Значение для будущей партии якобинской диктатуры имели, однако, не эти организации интеллигентского и консервативного “общественного мнения”, а те действительно народные “братские общества”, которые с 1790 появлялись в Париже, пользуясь все той же ст.62 муниципального закона 14 декабря 1789. Это были, по крайней мере первое время, всамделишные органы народного образования, не могшие и помышлять о какой-нибудь политической роли, и однако А.Матье прав, утверждая, что без них “революция приняла бы другое направление. Она осталась бы, или по крайней мере дольше оставалась бы более монархической и буржуазной. Эти общества были колыбелью и убежищем санкулотства”.³³ В том же монастыре якобитов на улице Сент-Оноре, где заседали “депутаты, писатели, ораторы”, безвестный школьный учитель Клод Дансар с февраля 1790 начал собирать “многих рабочих и разносчиков фруктов и овощей своего квартала с их женами и детьми, чтобы читать и объяснять декреты Национального собрания. Он приносит для этого каждый раз в своем кармане свечу, огниво и трут; и последний раз, когда свеча должна была погаснуть, многие присутствующие сложились, чтобы купить другую свечу, которая позволила продлить заседание до 10 часов вечера к великому удовлетворению всего собрания”.³⁴ Эта затея не могла не развиться: в условиях буржуазного законодательства, закрывавшего доступ “пассивным” в какие бы то ни было легальные собрания, вплоть до секций, такие полублаготворительные организации народного образования должны были превратиться в естественные отдушины политической энергии народных низов. К началу 1791 таких “братских обществ” в Париже расплодилось множество,³⁵ и преследования, начатые против них фейанским муниципалитетом, могут только ускорить прояснение их политической физиономии и создание потребной для политических учреждений организации: запрещенные в декабре 1790, они меняют название и афилируются с якобинцами,³⁶ а с мая 1791 упрочают свою связь с кордельерами созданием центрального комитета.³⁷

Можно только удивляться, как долго демократические лидеры, составлявшие беспомощную крайнюю левую в существующих официальных и официозных политических организациях, не замечали возможного значения этих кружков народного образования. Их состав давал возможности для самой демократической акции, - доступ в них не был закрыт не только для пассивных, но и для женщин и даже для детей с 12 лет; с

весны 1791 под видом этих кружков существуют настоящие профсоюзы, - братские общества плотничьего ремесла или каменщиков; и для политической их физиономии достаточны самые названия, которые они любят принимать, - общества "неимущих друзей конституции", "врагов деспотизма" и т.п.³⁸ Как политическую силу впервые их используют в январе - феврале 1791 в борьбе за гражданскую конституцию церкви; в начале мая 1791 они уже имеют свой оформленный центр, а через месяц, - т.е. в период непосредственно предшествующий бегству короля в Варенн и окончательному переходу феианской буржуазии в лагерь контрреволюции, - можно считать законченным процесс естественного развития их политического характера: из кружков народного образования они превратились в общества демократического наблюдения и контроля над властью. Именно в постановлении "Братского общества патриотов обоего пола" 2 июня 1791 можно прочесть, что друзья конституции, составляющие братское общество, "не имея другого титула, кроме любви к равенству и свободе, будут (однако) мирно обсуждать общественные интересы, строго наблюдая за поддержанием законов и за поведением чиновников, поставленных для их исполнения, ибо народ по самому существу имеет право требовать отчет от администрации".³⁹

По-видимому это было тогда единственно возможное и вполне логичное развитие демократических воззрений на партию: отправляясь от частной организации общественного мнения, приходили к организации народного наблюдения за властью. Братским обществам эту эволюцию проделать было тем легче, что в Париже еще с весны 1790, рядом с парламентско-журналистскими политиканами и политическими академиями, заседал клуб, который, выделяясь своей демократичностью, выделялся и специфичностью поставленных им себе задач. "Общество друзей прав человека", заседавшее в Кордельерском монастыре секции Французского театра, меньше всего было связано с парламентской политикой и больше всего походило по своему характеру и составу на братские общества. Удачный случай в виде обилия в этой секции демократических лидеров (из будущих дантонистов и будущих эбертистов) привел к тому, что эта секционная организация получила более широкое значение. И вот в ее учредительном акте 27 апреля 1790 "основная цель" организации определяется, как "разоблачение перед трибуналом общественного мнения злоупотреблений различных властей и всякого рода покушений на права человека". Кордельерский клуб избирает своим гербом "недреманное око" (l'oeil de la surveillance - окруженный лучами глаз в треугольнике) и политические свои занятия посвящает не столько парламентским дискуссиям, сколько обследованию тюрем, обнаружению угнетенных патриотов, подысканию им защитников, хлопотам перед властями, организации общей акции с другими клубами и т.п. "Коротко говоря, это - боевое объединение, группа действий".⁴⁰

Организация граждан, представляющая народ и в этом качестве уполномоченная к наблюдению за властью, это третий исток будущего якобинского клуба, третья современная концепция революционной партии. Эта концепция является бесспорно наиболее интересной и самой существенной. Вот утверждение, которое при всей своей видимой странности едва ли может быть признано неосторожным: как ни резко изменилась общая политическая обстановка в 1793-1794 по сравнению с 1790, как ни преобразилась к тому времени социальная физиономия якобинского клуба и какую метаморфозу не претерпели его отношения с властью, - теперь уже революционной, демократической властью, - все же политическая концепция партии в мессидоре II года мало чем отличается от кордельерской декларации апреля 1790.

Если проинтервьюировать членов правительственной партии по отчетам за год до 9 термидора о политическом статусе их организации, ответ, пожалуй, получится такой: якобинский клуб это организация, являющаяся авангардом народа (или санкюлотства, или, как сказали бы теперь, мелкой буржуазии) и долженствующая споспешествовать видам власти, которая осуществляет интересы народа; поскольку же власть, даже выдвинутая народом, всегда склонна к вырождению, а также извращается в отдельных ветвях местного управления, то споспешествование ее видам включает в себя и задачи надзора за ней и критики. За одним единственным исключением, - особой концепцией Марата, выдвинутой им в январе-феврале 1791 и подлежащей ниже особому рассмотрению, - все демократические группы во все периоды революции доходят максимум до этой концепции отношений власти и партии. По разному понимается характер представительства "общественного мнения" и степень его официальности, варьирует понимание методов и активности его надзора за властью, но в одном все согласны: не дело партии управлять государством, она со стороны надзирает за управлением.

Эта точка зрения во время революции представляется настолько всеобщей, она настолько исключительна, что решительно вся буржуазная историография ее разделяет. Нет ни одного историка революции, который бы хоть догадывался, что возможна иная постановка вопроса об отношениях партии и государства, что революционная ситуация 1793-4 постоянно наталкивала на иную постановку вопроса.

Конечно, все замечали факты сращения государственной и партийной организации, все констатировали у якобинцев вторжения "частной организации" в дела "публичного интереса". Историческое значение этих фактов проходило, однако, без внимания: для историков это были исторические случайности, аномалии революции, следствие чрезвычайных обстоятельств и т.п. "По идее" клубы были органом народного наблюдения за властью, никак не больше.

Лоренц Штейн даже выводит такую постановку вопроса из самого существа чистой демократии. Чтобы поддерживать абсолютное равенство между всеми гражданами, в частности управляющими и управляемыми, "чтобы государственная власть не отделялась от народа, рядом с государственным порядком была установлена организация клубов как бдительный страж целого".⁴¹ Ни разу не поднялся за пределы этой точки зрения и Альбер Матье. В своей последней работе он даже объясняет легкость разгрома якобинской организации после Термидора тем, что "якобинцы уже слишком долго были связаны с правительством, включены в него и рассеяны в нем". Поэтому теперь они оказались неспособны "воззвать к своему праву контроля", они "не давали больше импульсов, а сами их получали" и "в минуту опасности оказались неспособны на смелую инициативу, которая только и могла их спасти".⁴²

Партия, которая наблюдает за властью и, если срастается с ней, то лишь к крайнему своему огорчению, - эту концепцию революционной партийности можно проследить на всем протяжении якобинской диктатуры. Еще очень давно, в период только начинавшихся раздоров с жирондистами в недрах якобинского клуба весной 1792, будущими монтаньярами было выставлено положение о недопустимости сращения партийной организации с государственной. Тогда это положение выставлялось в своеобразных политических условиях. Жирондисты, державшие в апреле 1792 совет министров в своих руках, спешили обеспечить свои позиции от фейанов, наполняя учреждения своими коллегами из якобинского клуба, причем не стеснялись брать и коллег полевее. На этом робеспьеристы легко могли потерять свои кадры, - этим и объяснялись их нападки, на которые отвечал Бриссо в заседании клуба 25 апреля 1792. Бриссо прикинулся простачком: он не видит противоречия интересов слева, борьба ведется только направо с фейанами. "На этой ли трибуне позволяют себе вести подобные речи, - восклицает он, - не для фейанов ли они подходили бы больше! Дай бы бог, чтобы все места занимались только якобинцами!.. Несчастье здесь состоит не в том, что некоторые места в учреждениях заняты якобинцами, а скорее в том, что не со всеми местами так обстоит. Дай бог, чтобы все были якобинцами, начиная от чиновника, который сидит на троне, и до последнего служащего в министерской канцелярии".⁴³ Монтаньяры с этим не согласны и, собственно, продолжают оставаться несогласными и через полтора года, в период революционного правительства.

Дантонистам только легче ясно проформулировать эту концепцию. Окончательно оттертые с конца сентября 1793 от верховного управления (29 сентября из Комитета общественного спасения вышел последний дантонист, Тюрюи) они могут не бояться всех возможных ее консеквенций. Якобинские клубы, как представительство народного наблюдения, нужно как можно более тщательно оберегать от сращения с государственной властью.

Еще 1 ноября 1793 Дюфурни обронил эту мысль по частному поводу, - ходатайству об афiliationи нового народного общества в Касселе, "составленного из всех членов установленных властей". "Нет ничего более чудовищного, более опасного, - говорит; он. - Индивиду, составляющие администрацию, достойны народного доверия только тогда, когда они являются членами народных обществ; но если они, находясь на службе, объединяются, чтобы образовать якобы народное общество, это - злоупотребление, это обман, это бедствие".⁴⁴ Выступление проходит мало замеченным, но важно, что и возражений не вызывает.

С декабря 1793 подобные выступления учащаются. За дело берутся ответственные дантонистские политики, прояснение позиции якобинских клубов входит в общий их план подкопа под робеспьеровское руководство. В заседании парижского клуба 3 декабря представитель якобинцев Гавра просит поддержать их ходатайство перед Комитетом общественного спасения о предоставлении им казенного помещения. Против выступает Дантон: "Граждане собираются по праву, данному им их природой и, значит, не имеют нужды прибегать к другим источникам (a d'autres autorites), чтобы осуществлять эти собрания". Выступление, вообще исключительно путанное для Дантона, и понятно почему. Это - начало его атаки на "ультра-революционеров" и очень характерно, что первое же ответственное выступление в защиту строго-приватного характера партии соединяется с призывами "не доверять тем, кто хочет толкнуть народ дальше границ революции". Единственный, нашедшийся в собрании оппонент, Купе из Уазы, советует не слушать "предложения, стремящиеся к умалению силы революционного движения", тоже связывая общую линию Дантона с вопросом о месте партии в государстве: "Народ это суверен и обладатель всех имуществ, которые, как обыкновенно говорят, принадлежат нации. Значит он имеет право адресоваться к установленным властям, чтобы добиться предоставления средств для собраний". Все очень ясно, стоит только заметить, что и для Купе, как и для Дантона "народ", т.е. его партия есть нечто отдельное от "установленных властей". Дантон идет на попятную. Он жалуется на недоверие к нему, удивляется, как можно заподозрить его в умеренности - признал же он, что "конституция должна затихнуть пока народ занят побиванием своих врагов"! - и уверяет в неизменном почтении к клубам: "принципы, которые я высказал, несут независимость народных обществ от всякого рода власти".⁴⁵

Через шесть дней, в заседании 9 декабря, дантонист Симон снова требует точного соблюдения общей формулы об отношениях партии и власти, выбрав для этого, правда, самый уязвимый пункт: клуб должен брать на себя защиту тех арестованных, за которых ручаются "очищенные административные власти и общества патриотов". Резкая отповедь Робеспьера: "хотят, чтобы общество (якобинцев), более снисходительное, чем Конвент... стало целиком общественным защитником (defenseur officieux) всех тех, кто наименует себя преследуемым", - "конечно, мера, о которой идет речь, задумана аристократами, чтобы поставить общество в оппозицию Конвенту".⁴⁶ В этом пункте все согласны настолько, что подозрений о "неувязке" этой бутады Робеспьера с общей теорией возникнуть не может, тем более, что многие знают подоплеку выступления Симона: Комитет общей безопасности только что арестовал его родичей, и неприкосновенность самого этого депутата на ладан дышит.

Но вот еще через десять дней, 19 декабря, дантонист Бурдон возвращается к той же теме, выражая теперь точку зрения правых в самой докторальной форме. К сожалению Монитор дает только резюме этого выступления, а сборник Олара ограничивается перепечаткой из этой газеты. Бурдон из Уазы замечает, что "конституции недостает только одного, - цензорского трибунала, или скорее, им и являются народные общества". После чего "два члена берут слово против Бурдона. Они делают ему разные возражения (reproches), которые общество отводит переходом к порядку дня".⁴⁷ Неожиданно в том же заседании тот же вопрос встает в практической форме. Комитет общественного спасения прислал отношение, в котором "приглашает" (invite) якобинский клуб переслать ему список аффилированных с парижским клубом народных обществ; Комитету это нужно, чтобы распространить "циркуляр об организации временного правительства". Для дантонистов этот демарш очевидно является неожиданностью. "Дюфурни возражает против такой посылки. Он предлагает, чтобы Комитет общественного спасения передал обществу экземпляры,

распространение которых ему представляется полезным, чтобы общество само могло их доставить средствами своей связи афилированным обществам". В защиту центристского руководства против наступления правых вступают левые. "Эбер говорит, это не может быть опасно дать просимый список с тех пор, как Комитет добился доверия народа". Осторожный Дантон, демонстрируя широту взглядов истинно государственного мужа, поддерживает Эбера, и "приглашение" правительственного Комитета удовлетворяется.⁴⁸

Новое возвращение к старой теме имеет место в уже изменившейся обстановке, в феврале 1794, при видимом примирении с дантонистами и усилении огня налево. В заседании 9 февраля Мерлен из Тьонвиля, тоже дантонист, информирует, что департаментские власти Мозеля обратились к парижскому клубу с просьбой дать им национального агента из своей среды. Мерлен считает, что было бы хорошо, если бы все местные власти последовали этому примеру, "это было бы удачей лекарством от федерализма". Резко против выступает некий Лашвардьер (La Chevardiere). Еще жирондистские министры подбирали себе аппарат из клуба, что было хорошего? "Останемся якобинцами и не будем превращаться в министров! Наше общество это организация общественного мнения (une societe d'opinions) и не может стать народным учреждением, поставляющим людей установленным властям". Тут же эту позицию теоретически обосновывает неугомонный Дюфурни: "Я заявляю, что народное общество имеет полное право требовать от всех отчета в поведении, и от властей отчета в их учреждении, но отнюдь не назначать их; ибо в этом случае оно имело бы и право надзора (de censure), и право назначения, легко почувствовать, что последовало бы из такого смешения властей(!), из этого захвата прав". Дюфурни требует порядка дня по мозельскому предложению и, видимо, не встречает возражений, хотя на заседании присутствует по крайней мере один представитель Комитета общественного спасения-Жанбон Сент-Андре.⁴⁹

Особенно интересные дебаты об отношениях власти и партии происходят 16 марта 1794, через два дня после ареста эбертистов. Леонар Бурдон, сам едва ли не эбертист, предлагает, может быть, желая отвести от себя неприятные подозрения, "чтобы члены (клуба) раздобыли себе в секциях списки всех чиновников, даже департамента и муниципалитета, чтобы общество произвело их чистку, как если бы они были его сочленами. Это является общим интересом, чтобы якобинцы несли службу часовых народа". Против неуверенно выступает робеспьерист Ренодэн; такая чистка отняла бы слишком много времени, уж лучше пусть сами секции очистят своих чиновников. Зато за Ренодэном слово берет сам Робеспьер. Это - одно из самых свирепых его выступлений, резкости которого нельзя понять, если не учитывать подозрительный характер личности Л.Бурдона. В самом деле, к тому времени чистки администрации якобинскими клубами были уже общим явлением, даже имеющим законный титул в виде неоднократных отдельных к тому предложений со стороны Комитета общественного спасения, так что только соображения партийной борьбы можно объяснить в речи Робеспьера намеки на Питта, утверждение, что арестованный Эбер "довольно часто делал такие предложения" и общую характеристику выступления Л.Бурдона, как "предательского". Но за этим сведением партийных счетов в речи Робеспьера можно заметить и некий общий план, смысл которого легко будет показать ниже. Предложение Леонара Бурдона, говорит Робеспьер, "направлено явно к разрушению народных обществ... Поручить им заботу по чистке аппарата (les fonctionnaires publics) - значит хотеть, чтобы должности сохранялись исключительно для членов этих обществ; это значило бы пригласить честолюбцев доносить на чиновников и проводить их смещение, чтобы затем запясть их место... Это предложение стремится также к разрушению правительства, потому что вы поставили бы его в невозможность осуществлять активное наблюдение над публичными властями; вы уничтожили бы единство операций, затруднили бы исполнение правительственных распоряжений и т.д. Система Питта и английского парламента состоит в том, чтобы лишить республиканское правительство всего приобретенного им влияния, установив столько властей, сколько есть народных обществ или интриганов, которые хотят их мутить".⁵⁰

Ниже придется вернуться к этому выступлению, чтобы показать, какой смысл могло иметь утверждение о невозможности единства управления при условии поручения клубам проверки административного аппарата. Пока же отметим еще одно - и последнее - высказывание по вопросу об отношениях власти и партии. Зачинщиком является все тот же Дюфурни, на этот раз прикрывшийся маркой своего друга Дюбуа-Крансе, тоже дантониста. Уже после ареста Дантона 2 апреля 1794, он делает попытку освободить якобинский клуб от исключительного влияния Робеспьера и робеспьеристской администрации. Он зачитывает письмо Дюбуа-Крансе из Ренна, в котором тот выражает уверенность, что "все опасности происходят от того, что в общество якобинцев принимают членов других афилированных обществ и агентов исполнительного совета". (Дюбуа не знает, что за день перед тем министерства были упразднены; Дюфурни же это на руку: под псевдонимом исполнительного совета он метит в Комитет общественного спасения). Дальше Дюбуа "объявляет, что позволить чиновникам иметь у якобинцев решающий голос значит уничтожить наблюдение, необходимое в свободном государстве, и сделать из общества театр интриганов и форум кандидатов". Легко заметить как последняя часть аргументации напоминает аргументацию Робеспьера в только что цитированном выступлении 16 марта 1794 против Леонара Бурдона. Но в противоположность Робеспьеру Дюбуа предлагает радикальные решения: не только члены других народных обществ, но "никакой чиновник не должен заседать, ни иметь решающего голоса в обществе" и "должны быть предоставлены отдельные трибуны членам афилированных обществ и членам якобинского клуба, лишенным права голоса, вследствие занимаемых ими должностей". Тут поднимается в собрании общее возмущение, понять которое нетрудно: в апреле 1794 народное общество якобинцев едва ли не сплошь состоит из лиц, "занимающих должности". Робеспьерист Дюма со всей компетентностью председателя революционного трибунала решает, что "мнение Дюбуа-Крансе продиктовано вероломством или последней степенью ослепления, собрание вотирует осуждение и отсылку злосчастного письма в Комитет общественного спасения."⁵¹

Желание Дюбуа “исключить из народных обществ всех чиновников” Робеспьер злопамятно ему ставил в отметку еще в своих прерияльских записках, опубликованных после Термидора,⁵² за Дюфурни же он принялся немедленно и в открытую. Во время процесса дантонистов, 5 апреля 1794, Робеспьер, перечисляя у якобинцев грехи Дюфурни, напоминает и этот случай: “Ты хотел провести контрреволюционное мнение, направленное к исключению из общества чиновников и членов аффилированных обществ. Очевидно, что после изоляции всех обществ они стали бы бессильны, а наше, общество осталось бы парализованным... Из этого мнения следовало также, что чиновники теряли самое дорогое для граждан право, право способствовать благу отечества своим просвещением, и что щепетильный патриот никогда не согласился бы принять общественную должность, чтобы не потерять прав гражданина”. Выводы делаются немедленно: Дюфурни исключается из клуба и препровождается в Комитет общей безопасности.⁵³

Приведенных примеров как будто достаточно, чтобы подтвердить правильность выставленных выше положений. Еще весной 1794 все революционные группы, в общем, согласны, что якобинские клубы не могут и не должны управлять государством; их роль существенного рычага в революции заключается в том, что они как бы со стороны надзирают за этим управлением. В самом деле, разве не так же понимал дело Робеспьер, когда в речи против Л.Бурдона возражал против общей обязательной проверки (т.е. назначения) администрации клубами? И разве не достаточно характерен для его понимания роли партии тот факт, что уже 28 января 1794 он возражает против ходатайства клуба за невинно арестованных по доносу Фабра эбертистов Ронсена и Венсана потому, что лучше, “чтобы невинность этих двух граждан была провозглашена публичной властью, а не частной организацией (par l'autorite publique, et non par une autorite particuliere)”.⁵⁴

Но если все согласны в том, что партия это *autorite particuliere*, наблюдающая за властью, то существенно расходятся по вопросу о характеристике и пределах этого наблюдения. Вернее, не все могут сделать из своей концепции все логические выводы. Легче всего их сделать дантонистам, с осени 1793 за революцию уже не ответственным: раз якобинские клубы это народ-цензор над властью, то следует начисто отделить их от власти; чем отчужденнее будут власть и партия, тем и лучше. Сильно сдается, что к подобной позиции скатывался и ближайший соратник Робеспьера, Сен-Жюст, который в своем качестве революционного главбюрократа в партийных делах был не шибко сведущ (он редко показывался в клубе даже в недолгие свои наезды из миссий в Париж). Во многих его выступлениях даже поздних по дате звучат нотки недовольства этим нарушением метафизических границ народа и власти. Нужно сделать демократию непоколебимой, говорит он в Конвенте 26 февраля 1794, а “в народных обществах народ является зрителем чиновников вместо того, чтобы их судить. Чем больше чиновники ставят себя на место народа, тем меньше остается демократии”.⁵⁵ “Народные общества были некогда храмами равенства, - повторяет он 13 марта, - но с тех пор, как в этих обществах стало слишком много чиновников и слишком мало граждан, народ там свелся к нулю”.⁵⁶

Робеспьер понимает, что это противопоставление граждан чиновникам в народных обществах страдает упрощенством, но его собственная позиция сводится не столько к прояснению политической линии в данном вопросе, сколько к торможению, к попытке сохранить существующую неопределенность. С одной стороны не может быть и речи о резком отделении клубов от органов власти, о превращении их в трибунал или “цензорский трибунал”. Это было бы, действительно, гибелью и народной власти, и народной партии: прежде всего революционного актива не хватило бы у республики на два параллельных представительства, да и бессмысленно было бы насаждать такой параллелизм, - это Робеспьер хорошо понимал. Но с другой стороны еще меньше можно думать, о полном слиянии государственного и партийного авторитетов, о провозглашении клубов представительством народа, осуществляющим диктатуру народа. Для отказа от развития этой вполне естественной революционной тенденции у Робеспьера были, помимо идеологических торможений, может быть, как ниже будет показано, и достаточно реальные основания.

3. - Дело могло идти только о сохранении существующего положения: революционная партия, до некоторой степени слившаяся с революционным государством, наблюдает за его управлением, - до некоторой степени осуществляя самое управление в процессе наблюдения за ним. Все дело, таким образом, в степени активности этого “наблюдения”, а активность эта, собственно, с давних пор уже не оставляла желать лучшего. Интересно, что еще монархисты Конституанты, подготавливая роспуск народных обществ, инкриминировали им нарушение границ “наблюдательства” и прямое вмешательство в управление; на надзор, значит, фейаны были согласны! Лешапелъе в уже цитированном докладе 29 сентября 1791, всячески признавая необходимость народных обществ на время революции, указывает только, “что даже революция не может служить извинением этим приказам, которые даются чиновникам, явиться для отчета в своем поведении... этим посылкам в разные места комиссаров с поручениями, которые могут даваться только должностным лицам” и т.п.⁵⁷ За месяц перед тем, в отчете Конституанте 21 августа 1791, министр юстиции Дюпор-Дюертр выражался еще яснее, “невозможно, чтобы суды могли судить и администрация администрировать... если ассоциации лиц, которые могут и должны (!) иметь только силу мнений, силу бесконечно полезную, возводят себя в сан установленного политического учреждения, утверждаются не только (!) наблюдателями и цензорами судей, но еще их начальством и их господами”.⁵⁸

Лидеры “малого террора”, начатого буржуазией 17 июля 1791 резней на Марсовом поле, имели полное основание жаловаться на вмешательство этих частных организаций в государственные дела: кто как не народные общества устроил смуту после бегства в Варенн, требовал отрешения короля, организовал и самую эту “возмутительную петицию” на Марсовом поле! Соотношение сил в стране было, однако, уже не таково, чтобы клубы подчинились заключительному декрету о роспуске: они его даже не заметили.⁵⁹ Когда без малого через год демократический блок заканчивал дело не удавшееся в июле 1791, якобинский клуб был уже главным приводным ремнем этого дела - свержения монархии 10 августа 1792. Генеральным штабом восстания оказывается он и в ликвидации жирондистов 31 мая 1793, - на улице Сент-Оноре шлет за приказаниями своих адъютантов генерал Анрио.⁶⁰

Захват власти мелкой буржуазией освящает интересное новшество: существование якобинских клубов становится заметным по юридическим памятникам эпохи. Изредка фигурировавшие ранее в законодательных актах в качестве объектов придирчивой муниципальной опеки (впервые термин “общества или клубы” появляется в декрете о муниципальной полиции 22 июля 1791) и ограничительных забот законодателя, они в период революционного поавительства “становятся настоящими государственными учреждениями и играют официальную роль”.⁶¹ С переходом власти в руки мелкой буржуазии эти “частные организации” оказываются более или менее устойчиво на государственном бюджете. Парижский клуб 15 ноября 1793 получает от Комитета общественного спасения солидную дотацию в 100000 ливров, меньшими суммами он получал и раньше, получали и его филиалы.⁶² После изгнания жирондистов и федералистских мятежей, наминавшихся иногда, как в Тулузе, разгромом клубов, декрет Конвента 25 июля 1793 устанавливает до 10 лет каторги за попытку “воспрепятствовать собранию или употребить какое-либо средство, чтобы распустить народные общества”.⁶³ Декретом 13 сентября клубы уполномочиваются присылать в Комитет общественного спасения списки “подозрительных людей, которые находятся в армиях”.⁶⁴ Циркуляром 9 октября 1793 клубы приглашаются “наблюдать за продовольственной и военно-экипировочной администрацией”; еще через неделю, 15 октября, у клубов просят извещать центр “об административных постановлениях, относящихся к эмигрантам и их имуществу”. Через месяц, 13 ноября, Комитет общественного спасения просит народные общества намечать людей, способных отправлять общественные должности. Эту функцию заботы о выдвиженчестве и классовом подборе аппарата Комитет общественного спасения выражает так: “Пора, чтобы все заслуги были известны и все таланты обнаружены; чистый и бескорыстный патриотизм должен руководить всей работой; для преуспевания республики необходимо, чтобы каждый гражданин занимал место, соответствующее его способностям. Это - единственное средство достигнуть хорошей организации установленных властей”, но для этого “именно сами патриоты должны указать на тех, кто отличается своим патриотизмом”.⁶⁵ Парижское общество само рассылает это приглашение всем провинциальным филиалам. В декабре, в инструкции без даты комиссарам о применении закона 14 фримера, Комитет общественного спасения устанавливает шаблон для чистки аппарата: “созовите народ (т.е., конечно, членов общества) в народное общество; пусть там покажутся чиновники; запросите народ на их счет и пусть его решение определит и ваше”.⁶⁶ Наконец, обращенный к клубам циркуляр Комитета общественного спасения 4 февраля 1794 подытоживает общее представление революционного центра о их задачах: они должны “раздавить голову измены” посредством “разоблачения преступного и злоупотребляющего властью чиновника” и вообще подозрительных элементов, и посредством “призыва к работе людей незапятнанных, просвещенных, мужественных” и т.п., - так представители центра “образуют с вами неразрывную цепь”.⁶⁷

Число легальных актов, устанавливающих “неразрывную цепь” между властью и партией, можно бы и еще увеличить. На деле эта цепь была еще крепче. Вся аппаратная часть работы центрального якобинского общества ускользает от исследователя, ограниченного почти исключительно газетными отчетами о его публичных пленарных заседаниях. Но для установления безнадёжной спутанности партийных функций с функциями государственными и того довольно.

Прежде всего, ясно, что партия управляет государственными людьми, личным составом революции. Это проявляется даже на самой острой и для людей революции наиболее деликатной (а потому и больше всего “государственной”) отрасли управления людьми - отрасли репрессивной. В заседании якобинского клуба 15 сентября 1793, после неудачных выступлений бешеных в Конвенте и на улице, раздаются требования арестовать инспирированную ими делегацию, а также председательницу “клуба республиканок-революционерок” Лакомб. Неожиданное приглашение Шабо вернуться к принципам: “вы не можете препровождать в Комитет общей безопасности какого-нибудь гражданина; но вы можете пригласить Комитет общей безопасности, чтобы он приказал доставить себе эту Лакомб”.⁶⁸

Выступление Шабо заставляет подозревать даже какие-то специальные мотивы, настолько оно не вяжется с обычным стилем. Обычному стилю несвойственны подобные тонкости. Несколько случайных примеров: 23 ноября 1793 о некоем члене клуба Мольсоне высказывают опасение, что он - англичанин, после чего “общество постановляет, что обвиняемый (l'inculpe) должен быть немедленно препровожден в Комитет общей безопасности”;⁶⁹ 1 декабря, после чистки, некий Ташро исчезает; это “вызывает опасения”, в Комитет общей безопасности несутся послы для немедленного наложения печатей на бумаги Ташро и даже предлагается вообще не выпускать из зала лиц, проходящих чистку;⁷⁰ 16 декабря вычищают какого-то англичанина, подозрительного своей единоплеменностью с Питтом, - “англичанин препровожден в Комитет общей безопасности” лаконично заключает протокол;⁷¹ 14 февраля 1794 члена клубного “комитета общественных защитников” Ферьера заподозривают в защите каких-то англичан (правда, малолетних и преподавателя языка), - предлагают исключить Ферьера и отправить в Комитет общей безопасности, “предложение проводится”;⁷² 7 февраля 1794 из общества исключают эбристиста Брише, потому что против него выступил Робеспьер, 19 февраля “секция Монблан извещает, что она вычеркнула Врите из своих списков (т.е. из гражданского состояния!), как только узнала о его исключении из якобинцев”, а 3 марта это дает повод и для общей меры весьма “беззаконного с либеральной точки зрения характера: некий Бланше “жалуется, что интриганы, выгнанные из общества, продолжают оставаться на своих должностях. Так, Брише служит еще в военном министерстве. Нужно, чтобы общество пригласило министров не держать в своих учреждениях людей, которых выгнали якобинцы. Это предложение встречено аплодисментами и принято”.⁷³ Поистине прав был Демулен, когда, требуя 26 ноября 1793 демократической организации чистки, мотивировал это тем, что по нынешним временам “человек, осужденный общественным мнением, находится на пол дороге к гильотине”.⁷⁴

На факты сращения партийной и государственной организации наталкиваешься походя. К концу 1793 сами якобинцы явно не обращают на это внимания, - никаких соображений общего характера не вызывают массовые случаи вмешательства клуба в повседневные мелочи управления. Со второй половины сентября в Париже формируется революционная армия, и якобинский клуб, как мы видели, систематически, заседание за заседанием проверяет членов ее штаба, отводит одних, замещает другими.⁷⁵ Местные организации, не добившись удовлетворения хозяйственным нуждам, обращаются в парижский клуб. Об обеспечении хлебом 19 октября просит Камбрэ, и присутствующий на заседании Колло-Дербуа “жалуется, что вот привыкли ходатайствовать о продовольствии у народных обществ и предлагает отныне пересылать этого рода требования в Комитет общественного спасения”, который как раз и диктаторский продовольственный комитет организовал.⁷⁶ Все-таки и 11 февраля 1794 из провинции еще пишут в Париж якобинцам о беспорядках в мыловаренном производстве и о расхищении лесов; по последнему вопросу “общество переходит к порядку дня, мотивируя это тем, что существует закон против расхищений подобного рода”.⁷⁷ Тогда же при разборе три же корреспонденции с мест, клуб мимоходом вмешивается в розыскные функции: по доносу из Труа “общество назначает двух комиссаров для розысков совместно с Комитетом общей безопасности аристократов и подозрительных богачей из Труа, которые изобилуют в Париже”.⁷⁸

Наличие подобных мелочей, - а число примеров можно бы увеличить в меру желаемого, - может быть наиболее характерно для отношений государства и “организации общественного мнения”. Но решающим для вопроса о ее статусе является ее роль не в повседневном управлении, а в высокой политике, в выработке генеральных линий и в руководстве проводниками этих линий. Здесь положение было ясно еще в самом начале деятельности Конвента, когда только начиналась борьба за гегемонию его двух фракций. Решение этого драматического единоборства, так затянувшееся в стране и в Конвенте, уже очень рано определилось в якобинском клубе. Отсечения жирондистов начались как раз со дня открытия Конвента - 21 сентября 1792 из клуба был исключен Клод Фоше, 12 октября за ним последовал сам Бриссо, и хотя формальное исключение остальных лидеров Жиронды затянулось до января 1793, но фактически еще за два с половиной месяца до того “все остальные главы этой партии безмолвно покинули клуб, частью добровольно, частью вынужденно”.⁷⁹

К ноябрю 1792 в центральной якобинской организации уже не оставалось “бриссотшцев” и на жирондистскую “клевету” о “фракции якобинцев, власти якобинцев, деспотизме якобинцев” клуб, уверенный, что он представляет “фракцию народа, произведшего революцию 10 августа”, ответил постановлением 30 ноября 1792: “ставить в порядок дня все крупные вопросы, которые должны обсуждаться в Конвенте на следующий день”.⁸⁰ Дальнейшее течение событий ослабило реальность этого постановления, впрочем отнюдь не в сторону умаления роли партии в руководстве революцией: на предварительное обсуждение якобинцев повестка Конвента не ставилась обычно потому, что не в ней уже была высокая политика. А Комитет общественного спасения и его многочисленные органы управления шагу ступить не могли без обсуждений улицы Сент-Оноре: там проверялись линии, там устанавливались репутации, оттуда давались директивы. Характеристику, которую Сенар дал руководителю Комитета общей безопасности Вадье можно было с успехом распространить на всех агентов революционной власти: “Он боялся только якобинцев; малейший знак их желаний становился предметом его фанатизма, который его ослеплял”.⁸¹ И Кутон, конечно, просто отдавал дань условностям современной фразеологии, когда в докладе клубу 31 марта 1794 об аресте дантонистов, испрашивая санкции клуба и рассыпаясь в комплиментах, говорил, что “Конвент был бы силен только наполовину, если бы он не был составлен из якобинцев”;⁸² Конвент не был составлен из якобинцев, но без якобинцев революционный Конвент не мог бы существовать вовсе.

Ниже будет указано, какую поправку приходится внести в положение о руководстве центральным клубом общей политики, - это руководство имело своеобразный и незаконченный характер. Пока же нужно заметить, что если сращение партийной и государственной организации достаточно ясно проявлялось в центре, то на местах, где революционный актив был еще более узок и обстановка еще менее позволяла считаться с требованиями идеологии, оно зашло много дальше. В Страсбурге Сен-Жюст, переарестовав по приезду на всякий случай всю администрацию, приказ заключил просто: “Народное общество заместит муниципалитет временной комиссией 12 человек из своей среды, из которых старейший будет отправлять функции прокурора”.⁸³ И это было более или менее общей практикой комиссаров в подобных случаях. Вообще, в провинции народные общества “с каждым днем все больше сближались с муниципалитетами, пока не заменяли их почти полностью”, так что “история революционного правительства в департаментах, так сказать, совпадает с историей взаимоотношений народных представителей в миссии и народных обществ”.⁸⁴

Для провинции это было фатально: когда какой-нибудь городской клуб посылал в округ агитаторов для “цивильского образования” крестьянства и “проповеди против фанатизма”, они оказывались “одновременно обязанными собирать сведения об общественных настроениях... и таким образом образовывали секретную полицию народных представителей в миссии”.⁸⁵ Это было фатально, что на местах якобинцы были проникнуты убеждением, что “только граждане, принятые в народные общества, могут обладать правом занятия общественных должностей”.⁸⁶ Когда якобинцы Лиможа официально предложили Конвенту 15 ноября 1793 для замены только что казненного депутата их департамента “выбрать заместителей в народных обществах”, так как “если созовут первичные собрания, то рискуют остаться без хорошего представителя”, - в Конвенте поднялось благородное негодование и Мерлен из Тьонвиля даже обозвал адрес “посягательством на суверенитет народа”.⁸⁷ Но в действительности дело то обстояло именно так, и это всем было отлично известно. Если уж в Париже и в Лионе, как выше упоминалось, секционные якобинские общества заменяли собою общие собрания секций и “подвергали своей проверке всех кандидатов на общественные должности”,⁸⁸ то легко представить, что было в глухой провинции. Там бывало даже так, что не только партийная организация заменяла собою выборный административный орган, но сама она в качестве

административного органа оказывалась конституированной на законном основании всеобщих демократических выборов! В заброшенных кантонах Paimpol, Vouneuil-sur-Vienne и т.п. избрание членов клуба производится “большою частью граждан коммуны совместно с комиссарами, присланными от каждой коммуны, составляющей кантон”.⁸⁹

Заменив собою первичные собрания, партийные организации тем легче могли заменить все производные власти, т.е. прежде всего муниципалитеты и их революционные комитеты. Там, где фактического соединения в персонале не происходило, получалось затаенное и болезненное двоевластие и непрестанные столкновения двух параллельных властей. Победителями из таких столкновений почти всегда естественно выходят клубы. Редко-редко когда в комиссарских донесениях Комитету общественного спасения можно увидеть жалобы на то, что народные общества “гнутся перед бумажками административных властей, вместо того, чтобы быть руководителями их мнения”.⁹⁰ Обычно наоборот, комиссарам приходится заступаться за слишком замордованную администрацию и сама администрация просит у клубов “свободы действий” в самых жалостных тонах. “Зачем же в конце концов устанавливать власти, если вы хотите осуществлять все полномочия? - пишут тулонские власти якобинцам еще в октябре 1792, - зачем поручать должности вашим согражданам, добившимся вашего доверия, и зачем делать их хранителями закона, который есть ваша собственная воля (!), если всякий из вас желает следовать только своему капризу и своим страстям”.⁹¹

Местные клубы доходят до того, что с самими комиссарами Конвента пытаются вступить в конкуренцию. Жалобы на беззакония, совершаемые клубами, в комиссарских донесениях не прекращаются, - акты вмешательства в управление квалифицируются как беззакония, конечно, только в тех случаях, когда акт противоречит комиссаровым “видам”. Местные клубы, жалуются в центр комиссары, кассируют часть окружной администрации и заменяют своей, назначают (в Лилле) начальника бригады революционной армии, проверяют отчеты коммун, пускают по городу патрули, и производят обыски без ведома муниципальных властей, арестовывают граждан на своих заседаниях и даже иногда считают (Кастр), что поскольку “народным обществам принадлежит право цензуры, они могут обсуждать и исследовать постановления народных представителей”. Там, где отношения между клубами и органами власти устанавливались дружеские, партийная организация становилась органом управления по прямому полномочию от комиссара: брала на себя экипировку волонтеров, заготовку фуража и лошадей для армии, проверку счетов, распределение пенсий и т.п.

4. - Все-таки и в провинции, как и в центре руководящая роль революционной партии в революционном государстве отличалась своеобразной незавершенностью. Даже по отношению к органам местной власти супрематия клубов носила узко “фактический” характер, - единственной “законной властью” оставались “установленные авторитеты” [обычно используется термин «установленные власти»], и значения этого юридического статута никак не следует преуменьшать. Со всей безнадежностью его значение проявляется, однако, в отношениях клубов с представителями центра. “Народный представитель в миссии” это - начальство местных клубов так же, как местной администрации, и при этом начальством он становится отнюдь не по партийной линии, например, не по дополнительному мандату парижского клуба, а именно как комиссар центральной власти. Фактически, правда, и здесь устанавливалось состояние неустойчивого взаимодействия и перевес влияния обуславливался конкретными условиями - индивидуальностью данного клуба и данного комиссара. Не только комиссары жаловались центру на местных якобинцев, якобинцы тоже писали доносы на комиссаров и в парижский клуб, и прямо Комитету общественного спасения и Конвенту. Не всегда подобные жалобы бывали безуспешны. Клуб Суассона пожаловался 22 января 1794 парижским якобинцам, что национальный агент арестовал его председателя и описал бумаги; парижане, обратив внимание “как опасно терпеть, чтоб национальный агент описывал бумаги народного общества и как это возбуждает надежды аристократов”, поддерживают суассонцев перед Комитетом общей безопасности;⁹² в феврале 1794 марсельские якобинцы жалуются на слишком ретивых комиссаров Альбита, Барраса и Фрерона, - они отозваны Комитетом общественного спасения, и Робеспьер обещает вплотную заняться вопросом об их поведении.⁹⁴ Подобных примеров можно было бы насчитать немало.

Конкретные условия бывают и такими, что местный клуб вообще отказывается признавать комиссара и тогда, если он не чувствует за собой достаточной поддержки в Париже, чтобы способно воздействовать на местный актив, в работе ему приходится туго. В Окзере комиссара Фоше попросту не пускали в клуб, потому что незадолго перед тем он был исключен парижскими якобинцами, то же произошло с Б.Фором в Нанси и с Мором в Шабли.⁹⁵ При нужде пускается в ход и теоретическая аргументация в пользу законности подобного обращения, и даже удачная аргументация. “Под тем предлогом, что народные общества - это собрания братьев, - жалуется 23 декабря 1793 Лебон на клуб, захваченный эбристиками, - под тем предлогом, что у парижских якобинцев народные представители не ходят на заседания в качестве представителей, они внушают, что ни в каком народном обществе представители не должны появляться, как таковые; они призывают по этому поводу принципы равенства, суверенитет народа” и т.п.⁹⁶

Нужно, однако, обратить внимание, что эта - как будто вполне естественная - аргументация приводится в жалобе комиссара как образец махинаций интриганов. Нормальным оставалось для провинции все-таки обратное положение: представитель центральной государственной власти был для местной партийной организации начальством и в случае разногласий поступал с ней соответственно. Насколько можно судить по переписке Комитета общественного спасения, для отношений на местах были гораздо характернее случаи разгона клубов комиссарами, чем случаи непочтительности клубов к приезжему воплощению закона. Начиная, с июля 1793, комиссары, приезжая на места, прежде всего приступали к чистке местного народного общества, демонстрируя таким образом не только “государственное значение” партийной организации, но и государственную инициативу в партийных делах. Если и чистка, проведенная комиссаром, не обеспечила

ему послушания клуба, комиссар, буде он решительный человек, переходит к еще более радикальным методам. Партийную организацию разгоняли Карье в Нанте, Энтз и Франкастель в Вандее, Жанбон Сент-Андре в Бордо и еще кто угодно и где угодно. Для мотивов разгона характерна история Шудрона-Руссо в Каркассоне. Придравшись к тому, что клуб вступился за арестованного, он разъярился, что “не потерпит, чтобы общество как бы возводило себя в сан трибунала справедливости (en tribunal de justice) и предписал немедленный роспуск и передачу бумаг в муниципалитет. На следующий день после этой экзекуции был организован, правда, новый клуб, но под прямым контролем комиссара и с ядром граждан, которых он признал достойными”.⁹⁷ Правительственная опека едва ли не усилилась с весны 1794, когда полномочных кочующих членов Конвента начали сменять оседлые национальные агенты. По положению эти последние обязаны каждые 10 дней представлять Комитету общественного спасения в общих отчетах (под рубрикой *esprit public*) сведения о поведении клубов, их деятельности, расходах и т.д. “Если вы в 24 часа не выполните моих требований, - извещал национальный агент якобинцев Каркассона, - я поставлю в известность Комитет общественного спасения о вашем молчании”.⁹⁸

Провинциальные организации революционной партии до самого конца оставались в подчинении внешним для них авторитетам, и это было неизбежным следствием их стихийного возникновения и позднего развития: не имея единой на всю республику централизованной организации, они должны были получать единое направление извне, из консолидировавшегося раньше в официальных учреждениях революционного центра. В этом - по отношению к провинциальным клубам - нашел свое выражение тот факт, что революционная партия в 1793-94 не доразвилась до своего логического завершения - официальной организации, управляющей революционным государством. В борьбе против “федерализма”, т.е. за единое революционное руководство, монтаньяры в законе 14 фримера запретили всякие союзы и объединения местных властей, а заодно и якобинских клубов⁹⁹ - совсем не без оснований, как ниже будет показано. “Народные общества должны быть средоточиями (*les arsenaux*) общественного мнения, но только Конвент дает направление, которое оно должно иметь, указывает цели, по которым оно должно бить”. Это было и идеологической нормой, - это было и фактическим положением. В письме к комиссару Буассе, объясняя статью закона 14 фримера, запрещающую коалиции клубов, Комитет общественного спасения не рекомендует особенно на нее налегать, но применять, где понадобится (“*faire une application tacite*”): народные общества “не являются, несомненно, установленной властью, но им принадлежит в некотором роде (!) инициатива общественного мнения. Не станет ли опасной для свободы их власть, если интриганы ею завладеют?”¹⁰⁰

Недоразвитость партийной организации привела к тому, что на местах она шла на поводу у официальных представителей революции - комиссаров Конвента. В центре так непосредственно это не выражалось, - Конвент, конечно, не господствовал над акцией улицы Сент-Оноре, скорее положение было обратное. Но и в центре пережитки “приватности” клуба отразились на нем тяжело. Получился мало приятный переплет отношений “официального” и “неофициального” руководства революцией, взаимодействие коллектива и вождей в партии приняло уродливые формы. К осени 1793 авторитет депутата Конвента уже не имел для якобинцев самодовлеющего значения, авторитеты же Комитета общественного спасения сами создавались некогда главным образом у якобинцев; но в каком качестве члены Комитета управляли якобинцами теперь? Трудно судить на основании только газетных отчетов о публичных заседаниях, но впечатление от этого руководства создается неприятно-авторитарное.

В феврале 1794 скромное ходатайство мозельских властей о присылке им национального агента из среды якобинцев вызывает в клубе, как было показано, почти скандал и самое резкое сопротивление;¹⁰¹ а когда в октябре 1793, после отвоевания Лиона, посланный туда Комитетом Кутон запрашивает себе из клуба сорок (!) помощников, это проходит без всякого труда, - никто и не пытается стать на высоту общих соображений.¹⁰² Член Комитета общественного спасения в якобинском клубе персона неприкосновенная. В заседании 24 февраля 1794 некий невшателец пробует мягко “упрекнуть Коло-Дербуа [Колло д’Эрбуа] за его обвинение швейцарцев в том, будто они преклоняют колени перед королем Пруссии”. Обиженный Кол о в ответ на это ставит отважному члену партии три коварных, но невразумительных вопроса и предлагает отправить его в Комитет общей безопасности, что конечно, сразу и осуществляется.¹⁰³ Личное влияние Робеспьера в партийных делах носит совершенно всепоглощающий характер, и, если судить по отчетам, это не столько влияние лидера, который предлагает и обосновывает политическую линию, сколько именно немотивированные приказы начальства в исполнение его неведомых подчиненным предначертаний. Когда в заседании 7 февраля 1794 он выступает против Брише, не легко догадаться, что это - начало планомерного наступления на факции, которые могут помешать будущей вантозской политике. Филиппика кончается предложением исключить Брише, и трудно не согласиться с выступающим затем Сантексом (*Sentex*), который пробует неуверенно заступиться за очередную жертву: “В конце концов я замечая, что с некоторого времени общество позволяет господствовать над собой деспотизму мнения, тогда как только принципы должны быть руководством для решений”.¹⁰⁴ Это заступничество приводит только к тому, что кроме Брише исключают и Сантекса (тут правда “дискуссия продолжается очень долго”) и общего положения не меняет: уже 8 термидора в Конвенте Робеспьеру ставят в вину, что он “выкидывает от якобинцев всех, кого захочет (*qui bon lui semble*)”.¹⁰⁵

5. - Провинциальные клубы состоят под опекой государственной власти, парижский клуб состоит под опекой лидеров из Комитета общественного спасения. Подчиненные достаточно ясно тенденции превращения в революционную партию, управляющую революционным государством, якобинские общества продолжают до конца сохранять, гибридные черты “частной организации”, воплощающей невинное “общественное мнение”. Особенно достойно внимания, что и решительная переоценка ценностей весной 1794 не оставила сколько-нибудь заметных следов изменения этого их статуса, хотя бы в плане

идеологическом. Робеспьер, человек, как будто больше всех способный к естественному разрешению проблемы партии, - больше всех тормозил, как показано выше, такое разрешение. К сохранению существующего положения имелось действительно, достаточное основание. Завершить революционное развитие и прямо передать партии руководство при нынешней ее организации было невозможно. "Организационные принципы якобинизма" оставляли желать многого.

Опыт Октябрьской революции устанавливает с бесспорной очевидностью, что революционная партия, претендующая на руководство массовой революцией и классовой диктатурой, должна прежде всего удовлетворять двум условиям. Во-первых, авангард революционного класса, партия должна быть действительно представительством класса по социальному составу. Во-вторых, руководя революцией, т.е. грандиозным массовым движением, в рамках целой страны, партия должна быть, действительно, единой для всей страны централизованной организацией. Ни одному ни другому условию якобинские клубы не удовлетворяют.

Социальный подбор, классовая однородность аппарата, к которой робеспьеристы стремились, как выше было показано, во всех органах управления, труднее всего достигалась там, где она была нужнее всего, в партии. В то время, как даже парламентские фракции революции, - конституционалисты, жирондисты, монтаньяры, - при всей своей расплывчатости и текучести состава все-таки сразу могли претендовать на звание политической партии, якобинский клуб долгое время был скорее постоянным двором для политических партий. Ряд последовательных расколов и отсечений только к концу 1792 превращают его в ту радикальную партию мелкой буржуазии, какой он известен истории. Летом 1789 это еще собрание "идеологов", объединенных широкой платформой бунта 14 июля. С ноября 1789 откалываются самые правые на вопросе о гражданской конституции церкви. Начинается долгий период господства фейанов в собственном смысле - регламент, составленный Барнавом в феврале 1790, остается в силе по крайней мере полтора года.¹⁰⁶ После бегства в Варенн и за два дня до резни на Марсовом поле, 15 июля 1791, откалываются фейаны на вопросе о петиции в пользу отрешения короля. Клуб получает относительно демократическую окраску: руководство в нем оспаривают будущие жирондисты и будущие монтаньяры, причем долгое время едва ли не с перевесом первых, особенно в провинции. И только к ноябрю 1792, как мы видели, из него изгоняются главные "бриссотисты", хотя начало их расхождений с "анархистами" может быть отнесено к самому началу 1792.¹⁰⁷ Только с начала 1793 можно говорить об относительной однородности классового лица якобинства, или вернее об устранении наиболее общих препятствий для такой однородности. При тех особенностях организации, которые свойственны клубам до самого последнего времени, откол группы "идеологов" в Париже еще не решает вопроса не только о провинции, но даже и о части самих этих "идеологов", - не пикантно ли, что Лешапелле, представляя свой доклад о закрытии якобинских клубов, сам еще является членом якобинского клуба!¹⁰⁸

Подобное положение могло существовать, конечно, только до тех пор, пока в "частном" характере клубов, как организаций гражданского образования, никто еще не сомневался. Первая же попытка проформулировать их задачи, как задачи революционной партии, руководящей массами, сопровождается настойчивым требованием чистоты их классового состава. Попытка эта была сделана Маратом еще в начале 1791; она предоставляет собою настолько изумительный образец революционной пронизательности, что стоит на ней остановиться подробнее.

Марат единственный из лидеров левой, сразу ухватился за идею "братских обществ", смысла которой тогда не понимал еще никто, - в том числе и компания Робеспьера. В своей газете 16 января 1791 Марат предлагал "учреждение общества Отомстителей закона, целью которого должно быть преследование и наказание всех преступлений против безопасности и свободы". Расшифровывая эту идею, он 7 февраля призывает патриотов создать в каждой секции такой клуб, куда "каждая секция столицы должна адресовать свои постановления одновременно с посылкой в комитеты других секций... Таким образом, члены клубов понесут в свои секции зрелое суждение, и лучшие граждане уже не позволят себя окрутить продажным болтунам". Организация новой партии такова: "Пусть общество будет образовано самое большее из 25 членов, имеющих решающий голос, но пусть его окружением (rouge agrees) будут все честные граждане... Иначе оно вырождается в толпу, время будет уходить на болтовню и дело не подвинется..." Так вот, строгий подбор по социальному признаку является необходимейшим предварительным условием успеха такой организации. "Пусть из среды (такого общества) отвергнут всякого придворного, всякого королевского комиссара, всякого академика, всякого пенсионера двора, всякого финансиста, всякого спекулянта, всякого прокурора, всякого члена парижского штаба и всякого муниципального чиновника. Пусть только с величайшей осторожностью туда принимают бывшего дворянина, члена прежних судебных палат, старого офицера линейных войск, штаб-офицера парижских батальонов".¹⁰⁹ Повторяя в конце февраля 1791 в открытом письме в газету Фрерона о необходимости расширения функций братских обществ, Марат снова подчеркивает: "Но я повторяю, чтобы сделать их существование длительным необходимейшей предпосылкой (le grand point, le point unique) является обязательность их состава только из добрых патриотов. Таким образом я хотел бы, чтобы первым из их основных законов было исключение из их среды всякого человека такого состояния, которое развращает ум и разлагает сердце", - следует снова подробное перечисление таких состояний.¹¹⁰ Констатируя, что "Марат имел особую концепцию братских обществ", Альбер Матье замечает, что "знаменитые чистки II года были до некоторой степени внушены мыслью Марата".¹¹¹

Знаменитые чистки II года со всеми своими особенностями были решительной необходимостью для той организации, которая должна была возглавлять диктатуру мелкой буржуазии, имея личный состав, оставшийся ей в наследство от прежде господствовавших классов. Именные списки членов клуба почти нигде не сохранились, но представление о их социальной физиономии приблизительно можно составить по ряду косвенных указаний. Все клубы знают обязательные вступительные взносы, - конечно основанные на

принципе “равенства”, т.е. без учета различий в имущественном положении, - и в 1790 они равняются 24 ливрам у якобинцев, доходят до 100 ливров в монархическом клубе 89 года и только у кордельеров размер “доступный для мелких буржуа” - 1 ливр 4 су.¹¹² По-видимому, обязательность таких равных для всех и от силы “доступных для мелких буржуа” членских взносов сохраняется, как правило, в крупных клубах до самого конца. В виде исключения указывают на постановление клуба в Шербуре, относящееся к марту 1794 (!) и гласящее, что клуб принимает в члены “всякого доброго республиканца, способен ли он платить или нет”.¹¹³ Обычно, наоборот, вторжение неимущих в той или иной форме встречает организованное противодействие буржуазной публики клубов. Например, для “пассивных” до 10 августа 1792 вход в клубы был закрыт почти так же основательно, как вход в секции и муниципалитеты. Многие клубы даже обязывают клятвой своих членов к соблюдению тайны обсуждений, потом устраивают особые открытые собрания наряду с закрытыми и т.п., - очень характерно, что парижские якобинцы только в октябре 1791, т.е. уже много после исключения фейанов, решились вести свои заседания публично.¹¹⁴

К осени 1793, т.е. к началу диктатуры мелкой буржуазии, якобинские клубы остаются организациями чисто буржуазными по составу. Нет ничего удивительного поэтому, что в долгом споре Горы с Жирондой едва ли не большинство местных клубов, даже афилированных с парижским, оказалось по ту сторону баррикад. Еще 22 февраля 1793 Шабо, призывая к осторожности в парижском клубе, по поводу слишком решительного адреса марсельских республиканцев, прямо утверждает, “что Гора не имеет большинства ни в Конвенте, ни в стране”, под страной разумея, конечно, народные общества.¹¹⁵ Многие из них, как общества Марселя, Бордо, Сент-Этьена, Монтобана, Шалона, Манса, Нанта, Анжера, Либурна, Шербур, Лизье, разрывают связь с парижским клубом еще в течение трех последних месяцев 1792 (сразу после исключения Бриссо), мотивируя разрыв “желанием, чтобы Конвент решал свободно”, чтобы “отвратительная анархия уступила место царству законов” и т.п.¹¹⁶

Со своими филиалами, безнадежными по составу, парижский клуб не очень церемонился: революционная организация, якобинизм умел отстаивать чистоту своей политической линии, не отступая перед решительными средствами, вплоть до расколов и отсечений. Не без удивления либеральный историк должен констатировать, что в это время “якобинцы совсем не намеревались идти на сделки со своими филиальными обществами и делать им уступки, даже под страхом потерять их. Эта последовательность, эта решительность были как раз существенным средством их могущества, она-то прежде всего и обеспечила их превосходство над противником. Ибо она укрепляла преданных и импонировала колеблющимся, застрашивала или покоряла их”.¹¹⁷ Но конечно, одними отсечениями нельзя было превратить эту пеструю амальгаму в партию революционной диктатуры мелкой буржуазии. Только организованное давление сверху, только радикальные чистки могли превратить якобинские клубы из буржуазной организации в воплощение той социальной силы, которая удачно выражалась революционным неологизмом “sans-culotterie” (санкюлотство). Двумя особенностями поражают “знаменитые чистки II года”: своим замечательным радикализмом и своей почти перманентностью. Это была расплата революционной партии мелкой буржуазии за грехи своего “случайного” и “внеклассового” происхождения. С осени 1793 до лета 1794 не осталось ни одного клуба, который хоть раз не подвергался бы чистке, многие за этот период чистились 3-4 раза, Шербур - 5 раз. С начала гражданской войны действия комиссаров Конвента стали особенно решительны, - состав клуба в Шербуре сократился с 300 до 171 члена, в Шамбери с 500 до 110, в Орлеане с 800 до 130; по существу это уже были совсем новые организации.¹¹⁸ В парижском клубе одна чистка была начата в марте 1793, а другая, начавшись в ноябре 1793, так и не прекращалась уже, как будто, до самого термидора; количество вычищенных учету не поддается, да он и не так интересен: важно, что в течение этого периода независимо от чистки все “фракции” были ликвидированы.

Методы чисток варьировали от наибольшего демократизма до полного комиссарского самовластия, но постоянно учет классового признака производился лишь в той мере, как это возможно в аморфной мелкобуржуазной среде. Обычная анкета в провинциальных клубах сводится к пяти вопросам: имущественное положение в 1789 и в момент чистки, участие в федералистском движении, сведения об уплате налогов, доказательства цивилизма вообще и доказательства непричастности к спекуляции на ассигнатах.¹¹⁹ Официальное выражение требования чистоты классового состава клубов, получило только в окончательной редакции жерминальского закона об общей полиции, запрещавшего доступ, в народные общества бывшим дворянам.¹²⁰ Но парижские якобинцы еще за 4 месяца перед тем стали орудовать негативно-классовым методом. В самом начале чистки, 12 декабря 1793, после демагогического выступления дантонистского жулика Фабра-Деглантина [Фабр д'Эглантин] против Купе из Уазы, бывшего юре, и совершенно черносотенной речи Робеспьера против пруссака-Клоотса общество исключает обоих и выносит постановление “вычеркнуть из своих списков всех дворян, попов, банкиров и иностранцев”.¹²¹

Этот метод классового подхода, метод наименее совершенный, особенно там, где дело идет об “идеологах”, начинает затем применяться со всем догматизмом почтения к закону, свойственным эпохе. В заседании 1 февраля 1794 напоминают, что общество сохранило дворянина Феликса Лепельтье, в то время как Антонеля, “превосходного патриота”, пришлось исключить как дворянина. Общество подтверждает свое почтение к норме, вотируя исключение Лепельтье [Лепеллетье или, правильной, Ле Пеллетье], и через три дня он сдает свой билет, “заверяя, что его сердце останется якобинским до самой смерти”.¹²² Брат монтаньярского депутата, убитого монархистами и канонизированного революцией, Феликс Лепельтье после Термидора был активным участником Заговора равных, которому отдал все свое состояние;¹²³ одним из виднейших бабувистов оказался и исключенный якобинцами Антонель.

Догматическая суровость чисток, освободив якобинские клубы от явно буржуазных контрреволюционных элементов, все-таки не создала им характера чистого мелкобуржуазно-трудового представительства. Это было просто данью модной фразеологии, когда в центральном клубе в январе 1794 пелись дифирамбы бывшим обществам, некогда “составленным из полотеров, трубочистов и других честных людей, истинных санкюлотов”, но потом испортившимся. Если в городах такие клубы и бывали, то не они во всяком случае делали музыку, и самые дифирамбы им пелись вполне буржуазным гешефтмахером из Конвента Симоном.¹²⁴ Если в каком-то захолустном клубе выносилось постановление “не принимать ни одного интеллигента (aucun homme lettre) раньше трех лет с сохранением прежних правил приема для санкюлотов” для того, чтобы “устранить всех, кто бы мог опасным образом влиять на мнения”, то это совсем не было общим правилом.¹²⁵ Отсутствие списков личного состава клубов делает едва ли возможным точное определение их социальной физиономии. Последнее исследование в этом направлении - небольшая работа американского историка Крэйна Бринтона установила социальный статус 637 провинциальных якобинцев по судебным делам, которые велись против них после Термидора. Результат несколько неожиданный: “чисто буржуазный состав террористической группы”. Именно: “повсюду большинство принадлежит буржуазии, частично даже крупной буржуазии”, в среднем 40%; мелкой буржуазии и крестьянам-собственникам 23%; ремесленникам и неимущим крестьянам 37%, причем еще “эти ремесленники далеко не бедны”.¹²⁶

Нечего и говорить, как неточна и недостаточна - при всей своей многозначительности - такая статистика. Зато другая особенность социального состава клубов может быть установлена без статистики и с большей долей вероятности, и с не меньшей пользой дал общих выводов. Только в деревне, в мелких кантональных организациях якобинские клубы могут быть иногда признаны осуществляющими представительство трудовых слоев населения непосредственно. Из 49 членов клуба деревенской коммуны Кюньо (Сигнаух) в департаменте Верхней Гаронны 33 сельских рабочих, 2 кузнеца, 3 каменщика, 1 каретник, 1 извозчик, 2 сапожника, 2 портных, 1 мельник, 1 трактирщик (cuisinier), 1 лавочник и 2 маклера.¹²⁷ Но вот странность, - как раз деревенскими клубами революционный центр всегда недоволен. Парижские якобинцы к ним относятся подозрительно, оговариваясь, что они не против “деревенских жителей”, но против их “адвокатов и вожаков”, которые всегда федералисты;¹²⁸ комиссар Монестье на юго-западе советует “пристально наблюдать за этими клубами, которые вылупились чуть не во всех коммунах стараниями нотариусов, фермеров или агентов бывших сеньоров”.¹²⁹ Во всяком случае, ни в одном городе ничего подобного в смысле состава нельзя найти ни в одном сколько-нибудь политически значительном клубе. Решительно все косвенные указания - прения публичных заседаний, состав комитетов, депутации и представительство во вне - говорят об интеллигентском составе не только руководства, но и широких кадров якобинства. Члены клуба - это чаще всего разнообразных сортов юристы, потом более или менее деклассированные “литераторы”, преподаватели средних и низших школ, художественная богема, и только потом торговцы, мелкие торговцы, предприниматели и “ремесленники”, под чьим именем фигурируют тоже главным образом предприниматели.¹³⁰

Притом, и это важнее всего, всегда (или в девяноста случаях из ста) это публика служилая, агенты революционного правительства. Понятия militant - fonctionnaire public (активист и служащий) если не целиком покрывают друг друга, то только потому, что второе шире. К весне 1794 трибуна якобинцев, “находящаяся под неусыпным наблюдением, занята большую часть времени служащими революционного трибунала или административных органов. Новая террористическая бюрократия наводнила все”.¹³¹

Создать революционную партию, которая стала бы реально, по своему персоналу авангардом революционного класса, которая была бы плотью и кровью от трудовой мелкой буржуазии, якобинской диктатуре не удалось. Это не организм, корнями уходящий в самые толщи трудящейся массы, это только ее идеологическое представительство. Якобинские клубы это прежде всего собрания “идеологов”, притом идеологов; состоящих на государственной службе, - было от чего описать за безупречное соответствие интересов партии интересам класса, было от чего заговаривать Сен-Жюсту о “народе” и “служащих” в народных обществах.

Следствие межеумочной аморфности революционного класса, этот недостаток переплетался со вторым следствием тех же особенностей мелкой буржуазии и усугублялся им. Организационные формы якобинских клубов не были организационными формами партии революционной диктатуры.

6. - Нет ничего ошибочнее представления о якобинских клубах как о единой партии с центральным комитетом в Париже. Народное общество, заседающее в якобитском монастыре, это совсем не центральный комитет, это только “материнское общество” (societe-mere), материнство которого к тому же тоже по большей части сомнительно. Многочисленные клубы, появившиеся в 1790-91 в Париже и в провинции, возникали сами собой, как следствие революционной горячки, захватившей в начале революции широчайшие массы народа. Летом 1789 это были просто митинги в саду Пале-Рояля, а в 1790 бродячие клубы, по выражению К.Демулена, стали оседлыми. Дальнейшее укрепление их оседлости должно было привести к попыткам их взаимной связи, а развертывание классовой борьбы и уяснение ими своей политической роли должно было создать этой связи нечто вроде иерархической организации. Тут центром внимания должен был оказаться клуб якобинцев, - в нем ведь сидело больше всего депутатов! К середине августа 1790 с ним было аффилировано уже 152 клуба,¹³² впрочем, так и нельзя установить, с кем начали раньше аффилироваться провинциальные, клубы, с соседними организациями или со своим “материнским обществом”.¹³³

В дальнейшем афiliation парижских якобинцев непрерывно растет, что однако не создает ни единой, ни политически однородной организации. Вступая в связь с якобинским клубом, какие-нибудь кантональные и коммунальные организации одновременно аффилируются и друг с другом, и с другими парижскими клубами. На большом расстоянии трудно распознать истинную ортодоксию, - существуют провинциальные организации, которые помимо якобинцев связаны еще не только с кордельерами, но даже с контрреволюционным Клубом 89 года.¹³⁴

Политическая эволюция парижского центра определяет, в общем, эволюцию провинциальных организаций, но определяет плохо, со скрипом. Откол фейанов в июле 1791 вызывает кое-где расколы и на местах, но большинство местных филиалов (чуть не 300 из 400) требуют примирения и, обычно, вину за “скандальную схизму” склонны перекладывать на левых. Один клуб “раздражается и объявляет, что прекратит всякие отношения с кем бы то ни было, пока не восстановится согласие. Другие, считая, что так оно лучше будет, продолжают сноситься и с якобинцами и с фейанами”.¹³⁵ То же самое примерно повторяется год спустя во время жирондистского кризиса. Жирондисты энергично и довольно успешно укрепляли свое влияние в провинциальных партийных организациях. Им принадлежит едва ли не первая попытка общедепартаментской организации клубов (в борьбе против фейанов), а после 10 августа 1792 воздействовать на места им тем легче, что министерство внутренних дел принадлежит Ролану, которого парижские якобинцы обвиняют даже в “департаментской диктатуре”. В результате еще в феврале 1793 в провинции среди народных обществ “несомненно мало открыто монтаньярских и даже среди афилированных и не отколовшихся не все искренне связаны с якобинцами”.¹³⁶ Приведение их в надлежащий вид производится главным образом уже после переворота 31 мая, и тоже не столько моральным влиянием “материнского общества”, сколько прямым воздействием народных представителей в миссии. Как ни странно это звучит терминологически, но в борьбе за якобинскую диктатуру на местах якобинские клубы обычно не столько руководили событиями, сколько увлекались ими.

Ничего другого и не может быть с партией, организации которой существуют независимо друг от друга, в разных местах под разными названиями, с разным составом, с разнo понимаемыми целями и задачами, с самым разным отношением к органам власти. Не характерно ли, что самое количество этих организаций определить невозможно!

В актах Комитета общественного спасения можно обнаружить послание к национальным агентам, одно наличие которого (и особенно его дата - 15 февраля 1794) показательно для положения тогдашней революционной партии. “Поскольку нам необходимо точным образом знать количество всех народных обществ, образовавшихся на всем протяжении республики, вы должны озаботиться тотчас по получении сего направить нам список обществ, которые существуют в пределах вашего дистрикта и сообщать время их установления”.¹³⁷ Запрос разослан в конце февраля, - едва ли до июля Комитет успел получить сколько-нибудь достаточные сведения. Не много больше сведений оказалось и у историков революции.

Для эпохи наибольшего влияния якобинских клубов, - месяца предшествующего термидорианскому перевороту (июнь - июль 1794), приводимые цифры варьируют от 1000 до 44000. Первая цифра, указываемая Оларом,¹³⁸ очевидно ниже действительной, даже если принять в расчет только клубы, афилированные с парижским обществом. Вторая цифра, указанная Дюран-Майаном в Конвенте 10 сентября 1794 из чисто агитационных соображений,¹³⁹ и принятая затем историками, в том числе и советскими,¹⁴⁰ явно еще дальше от действительности. Цифрой 44000 определялось общее количество коммун, сельсоветов в тогдашней Франции, и количество клубов не могло совпадать с ним полностью. Даже революционных комитетов, которые по положению должны были быть при каждой коммуне, не удалось организовать, как мы выше видели, больше 21000. Самое большее можно встретить указание, что число клубов “равно числу кантонов”¹⁴¹ (на кантон приходится обычно по 5-10 коммун), и в политически очень активном департаменте максимальный подсчет обнаруживает 62 общества на 440 коммун, т.е., 14%.¹⁴² Новейший исследователь якобинских клубов указывает приблизительные цифры с поправкой на преуменьшение 2365-2997.¹⁴³ Полной точности эти цифры не могут достигнуть. Так, только что цитированному Н. Soanen удалось довести цифру клубов в департаменте Пит де Дом с ранее указывавшейся 34 до 62 только потому, что исчислил он про изводил в хронологических рамках с мая 1790 по июль 1794. Между тем, за это время, конечно, многие клубы возникали и исчезали, ибо существование их было “подчас эфемерно”. В начале революции, например, в департаменте Верхних Альп всего 3-4 клуба, а в департаменте Нижних Альп целых 70, но зато к 1793 число клубов во втором увеличилось, а в первом не осталось ни одного, и это более или менее общее явление.¹⁴⁴

Центральное народное общество в Париже должно руководить революцией, соразмеряя свою акцию со своими силами, т.е. имея за собой вместо общегосударственной организации пестрый агломерат в беспорядке разбросанных по республике кружков сочувствующих. Добро бы еще, хоть на сочувствие всех этих кружков можно было всегда положиться; но в том то и дело, что как раз в политической физиономии якобинских организаций “материнское общество” меньше всего уверено, а изменить методы связи с ними, т.е. более активно воздействовать на их политику, оно не может.

Нет сомнения, что политические амплитуды, существовавшие между якобинскими филиациями в первые годы революции, не могут уже иметь места с осени 1793. В директивах к составлению нового “устава внутренней службы” парижские якобинцы решили, что “постановления относящиеся к духу и цели учреждения должны быть повсюду одни и те же”.¹⁴⁵ Но как осуществить это благое пожелание? В заседании 1 ноября одним членом клуба по частному поводу вносится предложение произвести чистку всех провинциальных клубов из центра, раньше чем давать им “филиацию. Решительное возражение, покрытое аплодисментами: эта мора “заставила бы думать, что парижское общество якобы хочет осуществлять юрисдикцию для обществ других департаментов; только сами эти общества имеют право производить самоочистку (de s'epurer) и наша бдительность отнюдь не должна распространяться до инициативы этих чисток”. Аплодисменты, и “общество постановляет, что департаментские народные общества должны быть приглашены (!) заботливо очиститься сами”.¹⁴⁶ Это, по-видимому, одно из таких постановлений, которые соблюдаются ненарушимо. Уже 24 февраля 1794 Коло-Дербуа, объясняя раздоры лионских якобинцев с приезжим начальством, приводит такие причины: мы убеждали лионское общество ограничить свой состав одной-двумя сотнями, а оно не послушалось, “говоря, что парижские якобинцы хотят над ним господствовать (voulaiient la dominer)”; теперь в его составе 800 человек и из них “значительное число аристократов, которые его угнетают”.¹⁴⁷

При такой форме связи добиться единства действий было, действительно, трудно, но никакая другая форма невозможна уже по техническим причинам: внутренняя организация клубов для этого не приспособлена. Первое впечатление, которое создается от чтения протоколов парижского клуба, это что никакой организации у него, вообще, нет. Это как будто не учреждение, предназначенное для действий, с определенным исполнительным аппаратом, а просто собрание для обсуждения политических вопросов, нечто вроде заседаний общегородского партийного актива или дискуссионного клуба. Каждый вечер, после конца работы в учреждениях, собираются ответственные работники, обмениваются мнениями и выносят решения, которые для революции обязательны только в силу морального авторитета заседающих. Легко заметить по протоколам разве только существование председателя, который избирается конечно на определенный короткий срок и потом долго не может быть вновь переизбран.¹⁴⁸ Дальнейшее ознакомление позволяет обнаружить наличие и некоторых других служб, прежде всего мандатной комиссии (comite de presentation) и комитета связи. На самом деле даже провинциальные клубы в 1793-94 имеют обширный аппарат. Тут и комитеты агрикультуры и коммерции, налоговый, финансовый, военный, политический, по делам церкви, по выборным делам, продовольственный, наблюдательный (или des denonciations), общественных защитников и даже иногда "комитет для исполнения постановлений общества".¹⁴⁹ Самые их названия могут показать, что не в них лежит центр тяжести работы клубов. Обычно это достаточно эфемерные учреждения, возникающие от случая к случаю, без ясно ограниченных функций и полномочий, и, конечно, без всякого штата: члены комитетов это члены общества работающие в порядке партнагрузки. Иначе организовать их работу нельзя: официально клубы к государственному бюджету касательства не имеют, а членских взносов не хватает, да и платят их не очень аккуратно, - во всех клубах постоянны жалобы на просрочку.¹⁵⁰

Особенно характерно название того комитета, через который и должно осуществляться единство партийной акции на всю революционную территорию. Это "comite de correspondance ou de redaction" (корреспондентский или редакционный). Руководство парижского клуба провинциальными якобинцами выражается, в основном деле, обменом писем, циркуляров, газет, и этим ограничивается. Практиковался во время кризисов 10 августа 1792 и 31 мая 1793 рассылка партийных инструкторов и комиссаров прекратилась к осени 1793 и особенно после запрещения всякой неписьменной связи законом 14 фримера. Указаний на обмен работниками, назначения по партийной линии сверху и рекомендации сверху желательных назначений не встречается. Но обмен посланиями очень велик, - во всех клубах больше всего работают комитеты связи.¹⁵¹ Париж по всем существенным вопросам текущей политики рассылает филиалам однотипные циркуляры и кроме того по специальным поводам шлет отношения отдельным клубам; в зародыше существует регулярная информации: парижский клуб еще 17 января 1792 постановил рассылать каждые две недели в провинцию сводки, местные клубы должны то же делать со своей стороны.¹⁵²

Конечно, клубные комитеты выполняли (а еще больше могли бы выполнять) большую работу, - не случайно первой же заботой термидорианской контрреволюции в наступлении на якобинские клубы было прихлопнуть их комитеты и воспрепятствовать всякой возможной связи между ними: с запрещением "всех афiliation, объединений, связей, как и всякой корреспонденции между обществами, носящими общее название", начинается первый термидорианский закон против клубов 16 октября 1794.¹⁵³

Однако, для тех требований, которые ставились якобинской диктатурой революционной партии, этой формы связи было далеко недостаточно, и сами якобинцы это хорошо сознавали. Контрреволюционный "федерализм", т.е. в частности децентрализация, успешно уничтожаемый во всех областях революционного управления, зловреднее всего укоренился в центральной нервной системе диктатуры, в ее партии. Местные клубы, даже связанные с парижским, продолжали оставаться самородными телами, подчиненными всем локальным условиям, проникнутыми "регионализмом" и провинциализмом. До самого последнего времени сохранялись, кроме обществ афiliationованных, общества вовсе неафiliationованные и "корреспондентские общества", члены которых не имели права входа на партийные собрания в Париже.¹⁵⁴ В самом Париже совершенно независимо от якобинцев существует еще один клуб, имеющий центральное значение. Это была только фразеология, когда после видимости достигнутого соглашения с кордельерами Коло-Дербуа разглагольствовал у якобинцев 8 марта 1794: "вас обманули, говоря, будто существует два общества, - есть только одно, потому что там, где едины принципы, там и общество едино".¹⁵⁵ Обществ было все-таки два и малейшее расхождение политических линий сразу давало это чувствовать: еще за месяц до успокоительных заверений Коло-Дербуа, 14 февраля 1794, якобинцам приходилось кричать, что "оживлять общественный дух должно якобинское общество, не позволяя собою руководить какому бы то ни было другому обществу".¹⁵⁶

Фактически центральный якобинский клуб существует сам по себе, а все прочие якобинские клубы тоже сами по себе. Вот явление, которое должно представиться особенно курьезным с точки зрения концепции якобинских клубом, как единой партии с центральным комитетом на улице Сент-Оноре. "Центральный комитет" в своих трудах и днях довольно часто вспоминает о своих "местных отделах", но всегда только в одном контексте: их надо разогнать или у них надо отобрать афiliation. Это началось с октября 1793 года, т.е. как раз с исходной даты мелкобуржуазной диктатуры в собственном смысле и продолжалось если не до самого Термидора, то только потому, что "центральному комитету" удалось окончательно разогнать свои "районные организации" еще за два месяца до того.

В первый раз 19 октября Дюфурни выступает против тех секционных обществ, которые принимают только жителей своей секции: "это было бы настоящим федерализмом", - во всех видах связи им отказано.¹⁵⁷ Новое нападение 27 октября: маленькие общества состоят из "людей в большинстве неизвестных", которые наверно только и ждут, "чтобы начать готовить новые бедствия республике", - когда оратор туда вошел, "от него потребовали для приема только (!) его цивическую карточку".¹⁵⁸ В заседании 9 ноября за маленькие

общества принимаются уже лидеры: Робеспьер советует не доверять им в такое время, когда “все роялисты стали республиканцами и все бриссотинцы - монтаньярами”, Эбер поддерживает.¹⁵⁹ Через неделю депутации Версальского общества “Социальной добродетели” в афилиаций отказано, - пусть сольются с другим тамошним клубом.¹⁶⁰

Эпизод, особенно характерный для организационного беспорядка якобинской партии, происходит 23 ноября. “Письмо Центрального клуба парижских народных обществ жалуется, что общество якобинцев в нем не представлено и просит за два месяца плату за помещение, которую якобы ему, Центральному комитету, задолжали”. Читатель мог не заметить, что такой “Центральный клуб” действительно появился некогда в либеральные времена, и вследствие своей незаметности продолжал существовать, несмотря на многократные запрещения подобных организаций.¹⁶¹ Читатель будет удивлен, но сами якобинцы были тоже удивлены. “Казалис [Казалес] удивляется, что в Париже существует другой центр народных обществ, кроме якобинцев. Теразон заявляет, что это общество может стать убийственным для свободы. Он требует организации комиссии, чтобы выяснить, что это за общество, и добиться его уничтожения”; предложение принимается.¹⁶² На этом дело не кончается, 28 ноября оно имеет продолжение, лишающее его уже вовсе всяких признаков вразумительности. “Центральный клуб избирателей разоблачает некий Центральный клуб (Le club central des electeurs denonce un pretendu Club central), соседний с ним, который ведет свои заседания закрыто. - Этот якобы Центральный клуб имеет устав (a des reglements), говорит Варле, значит это уже не комитет (?), это - общество. Дюфурни и Эбер требуют возбуждения преследования против членов, этой ассоциации”, - решительно ничего непонятно.¹⁶³

Впервые несколько проясняется позиция якобинского клуба по отношению, по крайней мере к парижским секционному обществам через месяц, в большой дискуссии 26 декабря 1793. Робеспьер утверждает, что образование этих обществ “было последним ресурсом злоумышленников против свободы”. Якобинское общество “и общества, которые ему подобны”, - “это французский народ”; но “якобы народные общества, размножившиеся до бесконечности после 31 мая, это незаконнорожденные общества, которые не заслуживают этого священного имени”. Поддерживает Дюфурни: опять он требует воспрепятствовать тому, чтобы число обществ равнялось числу секций и объясняет их возникновение тем, что это для подозрительных “средство, чтобы проникнуть в старые общества”; их преступные намерения доказаны тем, что они пытались “образовать другой центр в Епископстве, где у них происходили секретные заседания. Нас одушевляет не корпоративная ревность (!), но это означало бы начать войну” и т.д. Интересно, что и два присутствующие кордельера, Эбер и Моморо, вполне солидарны. Они только замечают, что это “вопрос деликатный по отношению к принципам” и “средство (против зла) должны выработать законодатели”: кордельерское общество давно замечало опасность развития секционных клубов, “но оно не имело права ставить препятствия их образованию, потому что этим оно нарушило бы принципы, - право объединяться в народные общества священо”. За неуместную апелляцию к принципам Моморо получает разнос от Робеспьера, в основном же они, в сущности, вполне согласны: Эбер “всегда рассматривал образование новых обществ, как явление очень опасное” и предлагает затруднить их афилиацию. Моморо видит происки злоумышленников в том, что “в одной и той же секции возникло даже по два общества, и те, кто выгнаны из одного, проходят в другое”. Резюмирует прения Робеспьер. Почему секционные общества нельзя считать народными? Потому что “когда бездельники или злоумышленники в них заседают, народ находится в мастерских. Здесь (т.е. в якобинском клубе) дело другое (!): здесь народ присутствует, потому что это - собрание всех патриотов” и т.п.; но “там не народ: Австрия Пруссия, вот кто там”. Общество постановляет, что “афилиации, которые были даны обществам, возникшим после декрета 31 мая, будут рассматриваться как не имевшие места”.¹⁶⁴

После таких решительных постановлений нажимать на секционные клубы с нового года уже не трудно. В заседании 15 января 1794 некий Дешан (Deschamps) советует поставить вопрос, “нужно ли терпеть существование этих незаконнорожденных обществ”, поскольку они “составлены из дворян, из членов бывших парламентов” и “образуют новую Вандею”.¹⁶⁵ Новая оживленная дискуссия 27 января, интересная хотя бы уж тем, что в ней - единственный раз - слышатся голоса и в пользу клубов. Это очень неуверенные голоса. Какой-то неведомый член клуба ссылается на “прогресс просвещения”, который выражается в росте числа клубов, и на авторитет Конвента, который, ведь, рассылает им свои бюллетени. Сантекс тоже обращает внимание, что науки в республике расцветают, а сразу не все же могли стать революционерами! И Лежандр просит не отнимать афилиации хоть у тех клубов, которые ее уже получили, - опасно “давать постановлениям обратную силу”. - Какая все неполитическая аргументация! Дело, ведь, совсем не в “просвещении”. Симон требует прекращения всякой афилиации “вплоть до мира”, потому что размножение народных обществ внушает ему “гораздо больше беспокойства, чем удовлетворения за общественное дело”, - он видит в этом движении “руку Питта”, а также “ядовитых паразитов”, которые “после смерти короля вылезли из трупа монархии”. Снова Дешан поминает “маленькую Вандею” и снова Дюфурни ссылается на секционный федерализм и на злокозненный “центральный комитет”: как можно говорить об афилиации, когда новые общества “не просили афилиации, а хотели образовать в Епископстве свой центральный комитет в оппозицию якобинскому обществу!” Лежандр снимает свое предложение, и принимается предложение Кутона, который подчеркивает, что новые народные общества - это “вопрос щекотливый и крупнейшего значения”: всем обществам, возникшим после 31 мая, в афилиации отказано, старым ее предоставляют только по исследованию их поведения до этой даты и старые филиалы (anciennes societes fideles) приглашаются прислать аттестацию всех клубов их департаментов.¹⁶⁶

Новое нападение 6 февраля, по поводу раздоров двух версальских организаций, со стороны эбертиста Леонара Бурдона на “интриганов”, которые учреждают новые клубы.¹⁶⁷ Через три дня версальские клубы извещают, что они слились. Они “пожертвовали своими уставами и просят якобинское общество не отказать в предоставлении им своего”, а так же в афiliationи. “Никаких массовых объединений! Нужно сначала очиститься каждому у себя, потом самораспуститься, после чего могут - не снова собраться, а составить новое общество”. Эта концепция Дюфурни одобрена, в афiliationи отказано.¹⁶⁸ Потом 11 марта явившимся с повинной кордельерам указывают, что “братских объятий” теперь недостаточно, “надо спросить кордельеров, что они думают о секционных обществах”.¹⁶⁹

Еще несколько легких обстрелов и наконец 12 мая решительный штурм. Раскаявшийся Лежандр убеждает, что звание якобинца несовместимо с пребыванием в секционном клубе и Коло-Дербуа развивает целую теорию неправомерности секционных клубов: “они подозрительны, потому, что народное око их не наблюдает; они вредны, потому что не может быть единства добрых чувств у лиц, их составляющих”, - это “скверные испарения, вызывающие воспоминания федерализма”. В заключение “общество постановляет, что оно не будет больше принимать депутатий от секционных обществ и что все те его члены, которые одновременно являлись бы членами этих частных обществ (de ces societees particulieres!), должны сделать выбор”.¹⁷⁰

Это - последнее постановление якобинского клуба, относящееся к мелким обществам, это постановление ставит над ними крест. В Париже они начинают распускаться с марта 1794. Дольше всех державшееся общество секции Монтрей распустило себя 3 июня, “принимая во внимание, что предрассудки повержены, предатели и заговорщики частично уничтожены, революционные законы в силе, нравственность, честность и все добродетели стоят в порядке дня”.¹⁷¹ Следует обратить внимание, что во всех якобинских прениях, касавшихся местных клубов, даже голоса, призывавшие к осторожности в вопросе об их разгоне, объясняли необходимость осторожности причинами, не относящимися к существу вопроса. Вопрос деликатный, потому что в свободном государстве граждане имеют право собираться на собрания. Но никто и не думал указывать, что разгонять их не следует, потому что это свои, родственные организации; все согласны, что это организации чуждые и даже враждебные.

Если партия революционной диктатуры возникает стихийно, “с низов”, и существует как свободная федерация независимых “обществ”, такое уродливое искажение организационной иерархии в процессе консолидации диктатуры должно возникнуть неизбежно. Учреждаемые где попало и кем попало “якобинские” общества оказывались гнездами дантонов и особенно эбертистов. Последнее из речей Жанбона Сент-Андре и Симона 27 января 1794 о парижских секционных клубах явствует с несомненностью. Но дело могло и этим не ограничиться. Против маленьких клубов выступали ведь и Эбер, и Моморо, и Леонар Бурдон. Подозрения о скрывающихся там тайных роялистах, шпионах и откровенных контрреволюционерах повторялись так упорно, что даже историк, максимально расположенный к “движению с низов” и порицающий “людей правительственных” - якобинцев, принужден признать за этими обвинениями долю вероятности.¹⁷²

При той анархичности, с которой возникали клубы, иерархическая организация этих будущих руководителей революции не могла создаваться демократическим путем, - на основах демократического централизма. В Париже с самого начала якобинский клуб существовал сам по себе, а секционные народные общества тоже сами по себе. Но в Лионе общегородской клуб первоначально создан в результате “нормального” объединения секционных партийных организаций, как “Центральный комитет или центральный клуб, объединявший делегатов, избранных 31 секционным обществом”, по шести от каждого.¹⁷³ Нам уже приходилось выше видеть, что эти клубы и осуществляли в Лионе якобинскую акцию, что ими фактически были заменены секционные собрания, что на них опирался санкулотский муниципалитет и что, вообще, “якобинский режим в Лионе был господством клубов”.

С точки зрения внутрипартийной это был пока что демократический режим и, однако, в ходе обостряющейся классовой борьбы он оказался недостаточным. “Центральный комитет” только объединял решения секционных клубов, он целиком зависел от их настроений, а эти настроения не всегда оказывались достаточно выдержанными. К моменту решающих событий в мае 1793 не только секции Лиона оказались на стороне контрреволюции, но и некоторые секционные клубы стали проявлять недопустимые для революционной партии колебания. “В (буржуазных) кварталах Тюпен и Круазет образовались незадолго до того клубы, враждебные якобинцам. Последний весьма активен и пытается распространить свое влияние на весь город”.¹⁷⁴

Лидеры лионского якобинизма, в частности Гайар, такие неожиданности предвидели, по-видимому, уже давно, по крайней мере с марта, и не побоялись сделать из положения единственно возможный вывод. “В апреле наиболее горячие патриоты заменили центральный комитет, составленный из делегатов секционных клубов, якобинским обществом по подобию парижского клуба, куда принимали только по рекомендации и после соответствующей проверки. Это то общество - ядро неподкупных людей - и должно было руководить народом на пути революции”.¹⁷⁵ История этой реформы не вполне ясна но общий смысл ее во всяком случае сводится к тому, чтобы, как выражался Гайар, “собрать 50 горячих защитников свободы нации ... ее якобинировать”. Другими словами, это означало вот что: “Центральный комитет зависел от секционных клубов и более или менее уважал их автономию; новое общество рекрутируется само собой и претендует на управление клубами. Это шокировало достаточно укоренившиеся привычки к независимости” и т.п.,¹⁷⁶ но это было политической необходимостью. Так дело обстояло в одном городе, так же оно было и по отношению ко всей стране.

Беда была не только в причинах технического порядка, не только в том, что стихийно возникавшие народные общества бессистемно и беспорядочно пристегивались потом к парижскому якобинскому клубу. Беда была в принципе, - народные общества, оставшиеся внешним для государства органом "общественного мнения", и не могли создать нормальной общественной организации, не вступая в видимую конкуренцию с революционным центром. В самом деле, попытки "федерации" народных обществ, т.е. попытки создать партийной организации нормальную иерархическую связь, начались очень давно. Еще весной 1790 такое предложение сделал якобинский клуб Лилля, а в сентябре 1790, организуя движение за гражданскую конституцию церкви, в Лион явилась группа демократических лидеров (будущие жирондисты Ролан, Банкаль, Лантенас), чтобы "объединить окружные клубы к одному центральному клубу".

К новому подъему демократического движения весной 1792 это стало уже более или менее общим явлением, что клубы коммун и кантонов объединялись не прямо с Парижем, а с партийной организацией дистрикта или департамента, которые в свою очередь связывались уже с Парижем. В мае 1792 по крайней мере в восьми департаментах существовали общедепартаментские "центральные комитеты", не считая того злоумышленного "центрального комитета в Епископстве" Парижа, с которым мы уже встречались. Мало того, в этот же период организация департаментских клубов с представителями от всех народных обществ департамента должна была, как будто, распространиться на всю территорию республики, а народное общество Бордо предлагало даже "организовать сверх того в Париже центральный комитет из 83 членов, представляющих общества всех департаментов". Эти связи не создавали, конечно, официальной иерархической дисциплины, но у департаментских центров создавался моральный авторитет, достаточный для того, чтобы, например, якобинский клуб Тулона, призывая соседей порвать связь с клубом Салона, "доходил даже до угроз силой разогнать общества с еретической тенденцией".¹⁷⁷

В 1793 консолидация революционной диктатуры приводит к тому, что центральная власть начинает косо поглядывать на такие попытки партийных объединений. Часто это имело реальные основания, - первые такие попытки учинялись жирондистами после разгрома, как конгресс народных обществ 16 июня 1793 в Оше. Но недоброжелательство власти ко многим другим начинаниям можно объяснить только специфичностью положения, занимаемого партией в революционном движении, т.е. ее недоразвитостью.

Так, в характерной попытке организации народных обществ двух департаментов, Северного и Па-де-Кале, в Аррасе 17 октября 1793 нельзя усмотреть, как будто, решительно ничего контрреволюционного. Инициативная группа указывает цель объединения в "разоблачении коварного пронырства предателей-генералов и расхитителей-администраторов", учредительный адрес клянется в верности единой и нераздельной республике, Конвенту и "святой Горе", предаёт проклятию "всяких Бриссо, Гюаде и всех тех, кто, как они, стал бы говорить о монархии, о диктатуре и триумvirате". Все-таки через пять дней аррасские якобинцы, явно под чьей-то инспирацией, вдруг поднимают вопль об "опасности подобных ассоциаций, их федералистской тенденции и противоречии национальному представительству, которое заслужило ныне доверие всей республики",¹⁷⁸ а еще через неделю Комитет общественного спасения спешно шлет в Па-де-Кале комиссара, "осведомленный, что (там)... только что были сделаны попытки; для осуществления плана федерализма".¹⁷⁹

Всякую попытку организации и усиления влияния партии представители революционного центра должны неизбежно воспринимать, как конкуренцию своей власти, и значит, федерализм, потому что эти попытки идут не от них, идут с низу, от организации "общественного мнения" и возглавляются неизвестными "местными людьми". "Некоторые наши коллеги, - жалуются 3 ноября 1793 из Авиньона комиссары Ровер и Пультье, - склоняются перед диктаторской волей центральных комитетов народных обществ, одураченных несколькими жожаками".¹⁸⁰ И Комитету общественного спасения остается только формально запретить. Через месяц в законе 14 фримера всякого рода клубные федераций. Это необходимо, разъясняет он в инструкции "чтобы воспрепятствовать аристократии узурпировать национальную власть и попробовать возродить федерализм под покровом даже народных обществ".¹⁸¹

До конца сохранившимся параллелизмом государственного и партийного руководства революцией и недоразвитостью второго, объясняется и тот факт более общего значения, который при всей его непонятности констатируется всеми исследователями. Период наибольшей политической консолидации революции, т.е. последние месяцы перед Термидором, был, как будто естественно и периодом наибольшего могущества якобинского клуба; и однако, одновременно с этим приходится признавать, что это был и период сокращения их влияния, период их "успокоения" и умирания. "Чем больше якобинизм вообще завоевывал почвы вне стен якобинского монастыря... тем больше отступал на задний план якобинский клуб, хоть и оставшийся в дальнейшем очагом руководящей власти".¹⁸² Укрепившийся и уверенный в себе государственный аппарат революции начал оттеснять на задний план не слившуюся с ним и теперь не так уже ему необходимую партийную организацию революции.

Уродливая форма, которую получили отношения между революционной партией и революционной властью, была следствием недоразвитости партийной организации в буржуазной революции. Здесь даже переход к политике эгалитарной революции, весной 1794 не мог, как мы видели, создать решительного перелома: партия, даже безмерно усилившая свое политическое влияние, оставалась частной организацией, представительством общественного мнения. Конечно, долго такая неопределенность в революционных условиях не могла тянуться. Она должна была разрешиться или в сторону полной ликвидации партийного влияния, как это и произошло после Термидора, - или в сторону передачи партии всего революционного руководства в обход "законных инстанций" и законнической идеологии. Все революционное развитие должно было толкать мысль мелкобуржуазных революционеров во вторую сторону. Можно найти два косвенных признака, указывающих, что так оно и было. Первый признак относится к переоценке представлений о методах управления вообще, о нем будет речь в следующей главе. Второй касается организации другого выражения общественного мнения, - печати.

7. - Юридическая свобода печати является всегда одним из основных буржуазно-демократических требований; в XVIII же веке революционная буржуазия, представленная чистыми “идеологами”, сплошь переоценивавшими роль идеологического фактора в общественной жизни, особенно преувеличивала ее политическое значение. Монтескье некогда выражал уверенность, что существуй в стране самого полного деспотизма свобода печати, она одна могла бы служить достаточным противовесом всем смешанным воедино властям.¹⁸³ С “Востребования от правителей Европы свободы мысли” начинал в 1792 свою революционную пропаганду Фихте: “Пожертвуйте всем, народы, - восклицал он, - да, всем, кроме свободы мысли”.¹⁸⁴ И возжаждавший в декабре 1793 демократических свобод К.Демулен утверждал, что он “умрет с тем убеждением, что для того, чтобы сделать Францию республиканской, счастливой и цветущей было бы достаточно (вместо террора a l'ordre du jour) немного чернил и одной единственной гильотины”.¹⁸⁵

Вначале буржуазная революция, преувеличивая “естественное” происхождение свободы мысли, не препятствовала тому, что страна революции наводнялась откровенно белогвардейской литературой; потом, преувеличивая политическое влияние печати, расплодила отвратительную рептилию, потому что долго не решалась превратить печать в общественную службу. Первый (и едва ли не единственный) декрет Конвента против контрреволюционной печати издан только 29 марта 1793: всякий призыв, “посягающий на народный суверенитет”, карается смертью.¹⁸⁶ Правда, перед этим повстанческая коммуна 12 августа 1792 закрывала монархические газеты, почитатели Марата громили жирондистские типографии в марте и мае 1793 и на местах “предавали презрению и проклятию” целый список газет народные представители в миссии еще мартовского набора. Но все это были только эксцессы. Только после разгрома жирондистов, и даже точнее с осени 1793 стало немыслимым появление газет не монтаньярского направления.

Это, однако, совсем не означало создания крепкой революционной, прессы, это означало только, что к революционной терминологии пришлось приноравливаться всем бывшим феянам и будущим термидорианцам. Надо перелистать протоколы якобинского клуба, личные заметки Робеспьера и Сен-Жюста, чтобы увидеть, как болезненно остро стоял до самого конца вопрос о печати. Робеспьер не видел возможности установления республики, пока народ не будет “просвещен”, просвещен же он будет только тогда, когда богачи “перестанут подкупать предательские языки и перья”.¹⁸⁷ Еще незадолго до своего организационного разгрома жирондисты сохраняли в прессе господствующее положение, влиянию их прессы якобинцы и приписывали не без оснований неудовлетворительное поведение своих провинциальных филиалов, и ничего со своей стороны противопоставить этому влиянию не могли. Еще в октябре 1792 было решено издавать собственную газету. Начал выходить “Креол” Мильсана, “но несмотря на патронат якобинского клуба, он как будто никогда не мог достигнуть решающего значения”.¹⁸⁸ Якобинцы многие заседания уделяют скандалам с “предательскими перьями”, еще в декабре 1792 решено не допускать в клуб каких бы то ни было журналистов;¹⁸⁹ чем дальше углубляется революция, тем чаще становятся эти скандалы,¹⁹⁰ и однако никакого просвета долго не могут найти из узкого формализма юридической “свободы печати”.

Долгое время борьбу за революционную печать можно было примирять с господствующей идеологией только разве ссылкой на военное положение, настолько жалко выглядели другие попытки “теоретического обоснования”. Робеспьер в Конvente 19 апреля 1793 обосновывает необходимость ограничения свободы печати во время революции тем соображением, что “поскольку революции производятся обыкновенно для завоевания прав человека, постольку успех революции может требовать подавления комплота, замышляемого с помощью свободы прессы”.¹⁹¹ Шабо, защищая 1 ноября 1793 в якобинском клубе цензорскую комиссию при министерстве внутренних дел, пускается в такое рассуждение: “свобода печати была необходима против тирании”, теперь же надо помнить, что “свобода печати создана для поддержания и охраны свободы, - вот ее границы”; в “смешанном правительстве”, например, в английском, “свобода прессы против правительства необходима, чтобы уравновесить деспотизм”, но во Франции, “свобода печати должна уважать правительство и автор, который поносил бы демократию, должен быть уничтожен”.¹⁹²

Из убогости этого противопоставления двух “правительств” на фоне формальной “свободы” выход все-таки был, в него упиралась и революционная идеология, которая доходила до понимания “свободы печати”, как системы подкупа богачами продажных перьев. Этот выход был в превращении печати в общественную службу. Когда в якобинском клубе 18 марта 1794 требовали собственной газеты для отчетов о заседаниях, Робеспьер этому воспротивился, отправляясь от своей любимой идеи: прежде всего нужно иметь людей, в выборе редактора можно ошибиться; но бесспорно во всяком случае, что “те, кто занимаются редактированием газет, работают не столько для истины, сколько для спекуляций личной выгоды”.¹⁹³

Сознание ненормальности такого положения носилось в воздухе. В бумагах Робеспьера, опубликованных после Термидора, находится датированное последним месяцем революции письмо парижского национального агента Пэйана. Пэйан, “homme d'esprit de sens et de tete”, как характеризует его Мишле,¹⁹⁴ был восходящей звездой робеспьеризма и в личном письме к шефу мог не стесняться “Декретируйте спасительные меры для газет, - писал он, - пусть общественные служащие (fonctionnaires publics, т.е. журналисты), ответственные служащие, поскольку они являются служителями морали (les ministres de la morale), руководятся вами; пусть они служат для того, чтобы централизовать, свести к единству (a uniformiser) общественное мнение, т.е. моральное правительство; в то время, как вы централизовали только правительство физическое, материальное”.¹⁹⁵ Эта исключительно удачная формулировка могла быть развита дальше и перенесена и на другое представительство общественного мнения, на партию. Если в сознании революционеров мелкой буржуазии общественное мнение из “свободы мнений” “для всех” превратилось бы в организованное представительство класса-диктатора, то трудно ли было сделать последний вывод и подчинить - в полном соответствии с общим духом эпохи - “физическое правительство” “правительству моральному”?

1 Сюда присоединяются еще трудности технического характера. Ни от одного значительного клуба почти не сохранилось протоколов, ни вообще рукописных документов История клубов базируется на газетных отчетах об их публичных пленарных заседаниях, - сборник Олара представляет собой перепечатку (и довольно небрежную) таких отчетов. С другой стороны, доктринальная литература т.е. обычно либеральные исследования, нигде не отличается такой беспомощностью, как в вопросе о клубах. Революционную партию она исследует с точки зрения понятий о партии. Третьей республики, т.е. с точки зрения парламентской мышины возни. В серьезном исследовании Гастона Додю вопрос о партийном руководстве революцией ставится так, что якобинцы "пытались" наложить руку на парламент, и разрешается так что в том не преуспели: "чтобы достигнуть должностей тогдашнему революционеру было не более необходимо быть якобинцем, чем нынешнему республиканцу быть масоном". (*Le parlementarisme et les parlementaires sous la Revolution*, 1911, pp.296, 339). Новейшая работа о клубах Л. Карденаля ограничивается по частным поводам мягкими упреками якобинцам за "некоторый недостаток почтения (*de defarence*) по отношению к народному голосованию, которым были избраны депутаты" Конвента, и в конечном итоге устанавливает, что "вмешательство клубов могло быть законным только в теоретических вопросах общего порядка, да и то логически оно должно было сохранять совещательный характер". (*La province pendant la Revolution - Histoire des clubs jacobins*, 1929, pp.159, 497) В старой немецкой работе Цинкайзена, которая до сих пор остается самым крупным исследованием парижского клуба, обобщающая мысль проявляется едва ли не один только раз: "Порождение исключительного, ужаснейшего разрушения государственного порядка, якобинский клуб навсегда останется изолированным явлением; ничего подобного никогда раньше не знала мировая история и нелегко подобное и впредь. Только полное бессилие правительственной власти, полное ничтожество сдерживающих элементов" могло привести к появлению этой неслыханной и устрашающей организации и т.п. (*Der Jakobiner-Klub. Ein Beitrag zur Geschichte der Parteien und der politischen Sitten im Revolutions-Zeitalter*, 1853, Bd.II, S.998-9).

2 Цит. у *J.W.Zinkeisen*, *Der Jakobiner-Klub*, 1852, Pd.I, S.51. Там же приводится беседа, которую при открытии Генеральных Штатов вел с "молодым ренским адвокатом" Пешапелье [Де Шапелье] уже прославленный англичанин Мирабо «Чего нам не хватает, - заметил он однажды в беседе с Пешапелье об Англии, - так это клубов». - «Клубов? - переспросил Пешапелье, - что это такое?» «Друг мой, - продолжал Мирабо, - это люди, которые объединены; надо бы это знать, потому что десять объединенных людей могут заставить дрожать сто тысяч разведчиков» (*Ibidem*, S.60).

3 Цит. у *L.Cardenal*, *La province pendant la Revolution. Histoire des clubs jacobins*, 1929, p.51; дата, как обычно в этой книге, не приводится, так что проверить по первоисточнику не представлялось возможным; не относится ли это высказывание даже к Термидору?

4 *Ibidem*, p.116.

5 *Moniteur du 28 vendemiaire 1'an III*. № 28; t.XXII, p.258.

6 *G.Dodu*, *op.cit.*, p.103.

7 *Moniteur du 30 septembre 1791*, № 273; t IX. p.808.

8 *Moniteur du 2 octobre 1791*, № 275: t.X, p.8

9 Речь 28 декабря 1792; *Moniteur*, t XIV. p.880.

10 Выступление 26 декабря 1793; *Societe des Jacobins*, t.V, p.584.

11 *Moniteur du 26 prairial l'an II*, № 266; t.XX, p.716.

12 *Societe des Jacobins*, t.VI. p.174.

13 *Buchez et Roux*, t.XXXIII, pp.406-9, 415.

14 *Societe des Jacobins*, t.V, p.151; то же рассуждение Дюфурни при общих аплодисментах повторяет 7 июня, *ibid.*, 232.

15 *Moniteur du 24 ventose*, № 174; t.XIX, p.688.

16 *Moniteur du 27 germinal*, № 207; t.XX, p.224.

17 *Moniteur du 24 ventose*, № 174; t.XIX, p.691 .

18 *Societe des Jacobins*, t.VI, p.41.

19 *Ibid* . t.V, p.584.

20 *Ibid* ., t.V, p.522.

21 *Moniteur du 12 novembre*, № 52; t.XVIII, p.395.

22 *Societe des Jacobins*, t.V, p.248.

23 *Ibidem*, p.506.

24 *Ibid.*, p.517-18.

25 *Ibid*, p.552

26 См. *Aulard*, *La Societe des Jacobins*, t.I, p p.XII, XVIII.

27 *A.Bouchard*. *Le club breton*, 1920, p.23; *L.Cardenal*, *La province pendant la Revolution. Histoire des clubs jacobins*, 1929, p.28.

28 *Memoires de Louvet de Couvrai sur la Revolution francaise*, ed. par *Aulard*, 1889, t.I, p.13.

- 29 Курьезно, что историк-анархист даже террористический характер классовой борьбы объясняет тем, что в 1793 были закрыты масонские ложи: "Отношения, установившиеся между масонами до революции и в начале ее, не сохранились таким образом до конца революционного периода; и тогда борьба партий разразилась с отчаянным ожесточением" (П.А.Кропоткин, Великая французская революция, с.538).
- 30 Срв. *L.Cardenal*, op.cit., pp.12, 13, 24, 50.
- 31 *G.Dodu*. op cit., p.114.
- 32 *L.Cardenal*, op.cit., p.120.
- 33 *A.Mathiez*, Marat "pere des societes fraternelles"; *Annales Revolutionnaires*, 1908, № 4, p.661.
- 34 *Chronique de Paris du 21 novrmbre 1790*; цит. по *S.Lacroix*, *Actes de la Commune de Paris*, 1905, t.III, p.53.
- 35 *Ibid.*, p.54-5.
- 36 *Ibid.*, t.I. pp.619-20, 658; t II, pp 32-3, 41-2.
- 37 *A.Mathiez*, *Le club des Cordeliers*, p.30.
- 38 *Ibid.*, pp.19, 21.
- 39 *Actes de la Commune de Paris*, 1905, t.III, p.53.
- 40 *A.Mathiez*, *Le club des Cordeliers*, p.6-7.
- 41 *L.Stein*, *Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich*, 1921, Bd.I, S.300.
- 42 *A.Mathiez*, *La Reaction thermidorienne*. 1929, p.76.
- 43 *Societe des Jacobins*, t.III, p.527.
- 44 *Societe des Jacobins*, t.V, p.491.
- 45 *Ibid.*, p.541-2.
- 46 *Ibid.*, p.549.
- 47 *Moniteur*. t.XIX. p.11; *Societe des Jacobins*, t.V, p.566.
- 48 *Societe des Jacobins*, t.V, p.567.
- 49 *Ibidem*, t.V, p.647-8.
- 50 *Ibid.*, t.V, p.693-4.
- 51 *Ibidem*, t.VI, pp.38-9. 40.
- 52 *Buchez et Roux*, op.cit, t.XXXIII, p.168.
- 53 *Societe des Jacobins*, t.VI, p.51, 52.
- 54 *Ibid.*, t.V, p.692.
- 55 *Moniteur du 9 ventose*, № 159: t.XIX, p.568.
- 56 *Moniteur du 24 ventose*, № 174; t.XIX, 688.
- 57 *Moniteur du 2 octobre 1791*, № 275; t.X, p.8.
- 58 *Moniteur du 22 aout 1791*, № 234; t.IX, p.456.
- 59 *Zinkeisen*, *Der Jakobiner-Klub*, II, S.41-2.
- 60 Срв. *L.Cardenal*, op.cit., pp.151, 178; *J.W.Zinkeisen*. op.cit., II. S.492.
- 61 *A.Aulard*, *La Societe des Jakobins*, t.I, pp.XCI, XCII-III, C.
- 62 *Ibid.*, t.V, p.517; срв. *Zinkeisen*, op.cit., II, S.815.
- 63 *Moniteur*, t.XVII, p.228.
- 64 *Moniteur*, t.XVII, p.649.
- 65 *Recueil des actes du Comite de salut public*, t.VIII, p.392-3; срв. обсуждение этого циркуляра в парижском клубе 19 ноября. - *Societe des Jacobins*, t.V, p.523.
- 66 *Recueil des actes du Comite de salut public*, t.IX. p.102.
- 67 *Ibidem*, t.X, p.681.
- 68 *Societe des Jacobins*, t.V, p.407.
- 69 *Ibid.* p.532.
- 70 *Ibid.* p.540-1.
- 71 *Ibid.* p.563.
- 72 *Ibid.* p.652.
- 73 *Ibid.* pp.645-6.65. S. 670.
- 74 *Ibid.* p.533.
- 75 *Ibid.*, pp.422, 426-7, 429.
- 76 *Ibid.*, p.469.
- 77 *Ibid.*, p, 651.

- 78 Ibid., p.652.
- 79 *Zinkeisen*, op.cit., Bd.II, SS.531-2, 547, 549, 569; срв. *Societe des Jacobins*, t.IV, pp.526-7.
- 80 *Societe des Jacobins*, t.IV, p.526-7, 531.
- 81 Цит. у *Buchez et Roux*, op.cit, t.XXXIII, p.15.
- 82 *Societe des Jacobins*, t.VI, p.34.
- 83 *Buchez et Roux*, t.XXXI, p.36.
- 84 *L.Cardenal*, op.cit., pp.155, 184.
- 85 Ibid., p.367.
- 86 Ibid., p.252.
- 87 *Moniteur du 28 brumaire*, № 58, t.XVIII, p.444--S.
- 88 *Mellie*, op.cit., pp.276, 280; *C.Riffaterre*, op.cit., pp.39, 44-5.
- 89 *L.Catdenal*, op.cit., p.471-2.
- 90 Донесение Паю и Шудрона-Руссо из Арьеяса; *ibid.*, p.190.
- 91 Ibid., p.468.
- 92 Ibid. pp.253, 466, 453, 469.
- 93 *Societe des Jacobins*, t.V, p.619.
- 94 Ibid., p.641.
- 95 *L.Cardenal*, op.cit., p.451.
- 96 *Recueil des actes du Comite de salut public*, t.IX, p.605.
- 97 *L.Cardenal*, op.cit, p.199.
- 98 Ibid., p.198-9.
- 99 *Moniteur du 9 decembre*, № 79; t.XVIII, p.612.
- 100 *Requeil des actes du Comite de salut public*. t.X, p.348.
- 101 *Societe des Jacobins*, t.V, p.647-8.
- 102 Ibid., p.466.
- 103 Ibid, p.661-2.
- 104 Ibid., p.646.
- 105 *Moniteur du 29 juillet*, № 311; t.XXI, p.330.
- 106 *Aulard*, *La Societe des Jacobins*, t.I, p.XXIX.
- 107 См. *F.Braesch*, *La Commune du Dix aout*.p.396- 402.
- 108 *L.Cardenal*, op.cit., p.131.
- 109 Цит. по *A.Mathiez*, *Le Club des Cordeliers*, p.16-17.
- 110 Цит. по *A.Mathiez*, *Marat-pere des societes fraternelles*; *Annales Revolutionnaires 1908*. № 4, p.664.
- 111 *Le Club des Cordeliers*, p.16-17.
- 112 *L.Blanc*, *Histoire de la Revolution francaise*, t.V, p.106; *A.Aulard*, *La Societe des Jacobins*, t.I, p.XXXII; *A.Mathiez*, *Le Club des Cordeliers*, p.8-9.
- 113 *L.Cardenal*, op.cit., p.55.
- 114 Ibidem, p.p.311-2.
- 115 *Societe des Jacobins*, t.V, p.36.
- 116 *Zinkeisen*, op.cit., II, SS.580-1; *L.Cardenal*, op.cit., pp.162, 166, 168. 176, 180.
- 117 *Zinkeisen*, II, S.583.
- 118 *Cardenal*, pp.60-1, 173.
- 119 Ibidem, p.p.63, 54.
- 120 Art.XV; *Moniteur du 17 avril 1794*, № 208; t.XX, p.234.
- 121 *Societe des Jacobins*, t.V, p.p.554-7.
- 122 Ibid., pp.637-8, 640.
- 123 См. *Ph.Buonarroti*, *Gracchus Babeuf et la conjuration des egaux*, 1869, p.34 note.
- 124 *Societe des Jacobins*, t.V. p.622.
- 125 *L.Cardenal*, p.375.
- 126 *Crane Brinton*, *Les origines sociales des terroristes*; *Annales historiques de la Revolution francaise*, 1928, № 6, p.528.
- 127 *Cardenal*, p.55.
- 128 *Societe des Jacobins*, t.V, p.623.

- 129 *L.Cardenal*, p.191.
- 130 Срв. *A.Mathiez*, *Le Club des Cordeliers*, p.9; *F.Braesch*, *La Commune du Dix aout*, p.266-7; *L.Cardenal*, *La province pendant la Revolution*, pp.50,55.
- 131 *A.Mathiez*, *La Revolution francaise*, t.III, p.166.
- 132 *Aulard*, *Societe des Jacobins*, t.I, p.LXXXI.
- 133 *L.Cardenal*, *op.cit.*, p.398.
- 134 *Ibid.*, p.399.
- 135 *Ibid.*, p.129.
- 136 *Ibid.*, pp.162, 166, 168; ср. *Zinkeisen*, *op.cit.*, II, SS.276, 567, 580.
- 137 *Recueil des actes du Comite de salut public*, t.XI, p.165.
- 138 *Societe des Jacobins*, t.I, p.LXXXIX.
- 139 *Moniteur du 26 fructidor l'an II*, № 356; t.XXI, p.728.
- 140 См. *Н.М.Лукин*, *Максимилиан Робеспьер*, 1924, с.93; *Новейшая история западной Европы*, 1925, I, с.183.
- 141 *Донесение национального агента Каркассона в плевизоде II года*. *Cardenal*, p.41.
- 142 *H.Soanen*, *Les societes populaires du Puy-de-Dome*; *Annales historiques de la Revolution francaise*, 1927, № 24, p.587.
- 143 *L.Cardenal*, *op.cit.*, p.42; *Annales historiques de la Revolution francaise*, 1927, № 19 p.79; ту же цифру "самое большое 2.500-3000" принимает и *A.Mathiez*, *La Reaction thermidorienne*, 1929, p.59.
- 144 *Cardinal*, *op.cit.*, pp.38, 40.
- 145 *Ibid.*, p.398.
- 146 *Societe de Jacobins*, t.V, p.491-2.
- 147 *Ibidem*, p.663.
- 148 *L.Cardenal*, p.82.
- 149 *Ibid*, p.364-5.
- 150 *Ibid.*, p.82-811
- 151 *Ibid.*, p.399.-
- 152 *Ibid.*, p.400.
- 153 *Moniteur*, t.XXII, p.244.
- 154 *Cardenal*, p.398.
- 155 *Societe des Jacobins*, t.V, p.675.
- 156 *Ibid.*, p.654.
- 157 *Ibid.*, p.469.
- 158 *Ibid.*, p.479.
- 159 *Ibid.*, p.504.
- 160 *Ibid.*, p.517.
- 161 *Zinkeisen*, *op.cit.*, II, S.957.
- 162 *Societe des Jacobins*, t.V, p.531.
- 163 *Ibidem*, p.538.
- 164 *Ibid.*, pp.578-581.
- 165 *Ibid.*, p.613.
- 166 *Ibidem*, pp.621-626.
- 167 *Ibid.*, p.642.
- 168 *Ibid.*, p.649.
- 169 *Ibid.*, p.680.
- 170 *Ibid.*" t.VI, pp.121-125.
- 171 Цит. по *Mellie*, *Les Sections de Paris*, p.285.
- 172 *П.А.Кропоткин*, *ук. соч.*, с.526-7.
- 173 *C.Riffaterre*, *op.cit.*, t.I, p.40-1.
- 174 *Ibid.*, p.56.
- 175 *Ibid.*, p.49.
- 176 *Ibid.*, pp.49. 57.
- 177 *L.Cardenal*, *op.cit.*, p.p.409-10, 157, 41, 403.

178 См. *L.Jacob*, Un essai de federation des Societes Montagnardes; Annales. historiques de la Revolution francaise, 1927, № 23, p.p.476-9.

179 Recueil des actes du Comite de salut public, t.VIII, p.90.

180 Recueil des actes du Comite de salut public, t.VIII, p.218-19.

181 *Cardenal*, p.412; cp.Recueil des actes du Comite de salut public, t.X, p.347-8.

182 Срв. *Zinkeisen*, II, S.519, 874-5.

183 Эту фразу, как выражение "какого-то англичанина", цитировал в декабре 1793 Камилл Демулен - Oeuvres 1874, t.II, p.169.

184 *J.G.Fichte*, Zuruckforderung der Denkfreiheit von den Fursten Europas, die sie bisher unterdruckten; Sammtliche Werke, Bd. VI, S.6.

185 Le Vieux Cordelier, № 3; Oeuvres 1874, t.II, p.176.

186 Moniteur, t.XV, p.838.

187 *Buchez et Roux*, t.XXX, p.127.

188 *Zinkeisen*, op.cit, Bd. II, S.572.

189 Societe des Jacobins, t.IV, p.606, 610-11, 628.

190 См. Societe des Jacobins, t.V, p.p.492, 525, 588, 589, 631, 669, 670, 671, 674, 696-9.

191 Moniteur, t.XVI, p.183.

192 Societe des Jacobins, t.V, p.492.

193 Ibid., p.698.

194 *J.Michelet*, Histoire de la Revolution francaise, t.III, p.1778.

195 *Buchez et Roux*, t.XXXIII, p.398.

Яков Владимирович СТАРОСЕЛЬСКИЙ

ПРОБЛЕМЫ ЯКОБИНСКОЙ ДИКТАТУРЫ

По изданию: Л., 1930

Веб-публикация: [Eleonore](#), [Ната Мишлетистка](#), Люсиль, Э.Пашковский, А.Алексеева, И.Стешенко Vive Liberta и Век Просвещения ©

Начало публикации здесь: http://vive-liberta.narod.ru/biblio/starsl_jc_1.htm

ГЛАВА ШЕСТАЯ. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ. ТЕРРОР

1 - Совпадение понятия революционных методов и методов террористических. Специфические трудности перерастания демократии в диктатуру в судебной области. 2 - Террористическая репрессия как борьба с опасностью вместо воздаяний за виновность. 3 - Признание новой репрессии нормальным методом борьбы с классовым врагом. Органический характер прерияльского законодательства. 4 - Значение новой репрессии для выработки теории надзаконности власти.

1. - Название главы о методах управления якобинской диктатуры не случайно приходится снабжать подзаголовком о терроре. Карательная деятельность, в пролетарской революции занимающая скромное место средства охраны для методов управления, в революции буржуазной едва ли не совпадает с самой революцией. Революционный террор там, во всяком случае, покрывает понятие методов управления революции, так что либеральному историку, пытающемуся излагать революционное правительство по схеме конституционного права - государственные органы и их функции, - приходится снабжать эту схему другим названием: государственные органы и террор.¹

Известно, что политическое правосудие занимало в делах и днях французской революции не только непомерно большое место, но стало прямо-таки центральной идеей якобинской диктатуры, выродившись в практику и идеологию терроризма. Эта особенность буржуазной революции, в основном обусловленная, конечно, непосредственно отношениями классовой борьбы, до известной степени определялась и анархичностью в организации охраны революции, и причинами идеологического порядка. Именно, классовую борьбу мелкобуржуазные революционеры не могли себе представить иначе, как борьбу с порочными людьми, и социальная политика революции, натываясь на необходимость перераспределения собственности, оформлялась как карательная политика. Нет ничего характернее в этом смысле, чем диалог Марата и Ланжюине 20 мая 1793 по вопросу о принудительном военном займе у богачей. "Я бы заметил Камбону, - ехидничает жирондист Ланжюине, - что не следует говорить: богачи, аристократы должны платить, а санкюлоты не должны; потому что есть санкюлоты более богатые, чем богачи (ропот). Не так делаются законы, не постоянным установлением ненавистных различий между гражданами. Есть только один народ..." Поистине, монтаньярам на эту аргументацию трудно возражать по существу! Но обоснованию "законности" займа это все же не мешало. "Я предлагаю, - говорит Марат, - чтобы вопрос был поставлен так: принудительный заем у богатых людей - врагов революции".²

Это, по-видимому, неизбежная особенность всякой мелкобуржуазной революционности, ею во всяком случае пропитана вся политическая идеология XVIII века. Предшественники якобинства готовы еще, пожалуй, на внесудебную экспроприацию феодальной собственности, но останавливаются в смущении перед собственностью буржуазной: а ну как вдруг она приобретена честным трудом! Ведь даже Жан Мелье, не стесняясь в выражениях, пока дело идет о полах и дворянах, предпочитает говорить о "дурных богачах (les mauvais riches)", как только дело начинает идти о буржуазии.³ В тех условиях, когда экспроприация все равно будет необходима, такая идеология привнесет в классовую борьбу лишнее ожесточение: экспроприация класса будет происходить посредством истребления его представителей. В этом и заключается якобинский терроризм.

Нам важно установить, что для якобинской диктатуры террор имел совсем особое значение: он был не только "судебной функцией" и не только средством обороны революции, - он был орудием ее социальной политики, к нему сводились ее методы управления. Стоит только вспомнить, что самая идея "социальной революции" и вантозских декретов возникла как проблема террора. "Сила вещей приводит нас к таким результатам, о которых мы, быть может, и не думали", - говорит Сен-Жюст 26 февраля 1794, и вот что это значит: "революция привела нас к признанию того принципа, что тот, кто проявил себя врагом своей страны, не может быть там собственником".⁴ Эта идея давно подготавливалась. Еще в докладе 10 октября 1793 об объявлении правительства революционным Сен-Жюст указывает способ борьбы с капитализмом: "необходимо установить трибунал, чтобы все те, кто в течение четырех лет вертели средствами республики, отчитались в своих богатствах... Необходимо, чтобы казна пополнилась возмещениями от воров..." и т.д.⁵ Этот "финансовый трибунал", предусмотренный законом 10 октября, в действительности не осуществился, но мысль работает в том же направлении, и первый вантозский доклад Сен-Жюста в отдельном оттиске называется докладом "о необходимости заключения в тюрьме лиц, признанных врагами республики".⁶ "Заключения в тюрьму, - говорит там Сен-Жюст, - охватывают множество политических вопросов... Они связаны с экономией посредством тех идей, которые вы должны выработать о богатстве и о владении".⁷

Общая мотивировка реформы в докладе 3 марта - мотивировка террористическая: "Отомстите народ за тысячу двести лет злодеяний над его отцами".⁸ Первый историк, заметивший эту реформу, Жорес, назвал ее "терроризмом, окрашенным социализмом",⁹ и в свете новейших исследований во всяком случае преувеличенной оказывается суровость оценки, данной Кропоткиным методам якобинской диктатуры: "она теряла свои силы в попытке, бесплодной и ошибочной даже с политической точки зрения, истребления своих противников, охраняя в то же время их собственность".¹⁰ Нет, истребление врагов было там только необходимой формой изменения отношений собственности.

Уяснение особого значения террора в буржуазной революции является первым предварительным условием для понимания особенностей ее методов управления. Вторым таким условием является уяснение тех специфических трудностей, которые представляло для буржуазной революции изживание формального демократизма в этой области управления.

Нигде правовая идеология не была так сильна, как в отношении судебной власти, и ни в какой другой области не были так настойчивы буржуазные требования формальной демократии. В знаменитом трактате Монтескье книга XI-XII пользовалась наибольшей популярностью, и решительно все революционные группы могли бы сойтись на признании двух ее положений: судебная власть предназначена для охраны индивидуальных прав от посягательств государства, - это "не столько власть, сколько гарантия от власти", и от уголовного законодательства поэтому "зависит главным образом свобода граждан".¹¹ В этом уверены все, начиная от конституционалистов, которые в муниципальном законе 21 мая 1790 тщательно оговаривают, что полиция не может арестовывать кого бы то ни было, кроме как на месте преступления (отд. IV, ст. 17), продолжая жирондистами, которые, как мы видели, в своем революционном порыве 10 августа натываются на совершенно непобедимое препятствие в виде ареста роялистского главнокомандующего без ведома мирового судьи, и кончая дантонистами, которые систему террористической юстиции в конце 1793 воспринимали как случайную и уродливую аномальность. "Каковы обвинители, таковы и судьи, - писал Демулен, подразумевая якобы времена императорского Рима. - Судьи, эти охранители жизни и собственности, превратились в бойню, где все, что носило название казней и конфискации, было просто воровством и убийством".¹²

До самой осени 1793 всякое новое предложение диктаторских органов встречало более или менее глухое сопротивление со стороны правых Конвента; но нигде это сопротивление не носило такого упорного и, так сказать, идеологически обоснованного характера, как именно в отношении органов диктаторской юстиции. В прениях 10 марта 1793 по докладу Ленде об учреждении чрезвычайного трибунала Верньо сообщает, что он "скорее умрет, чем согласится" на эту "венецианскую инквизицию", Барер умоляет "не подражать в мести отвратительнейшим деспотам", Камбон предостерегает от опасности, чтобы "само собрание не стало жертвой" тирании такого суда и, наконец, по поводу одной детали общую "установку" дает жирондист Фонфред: "Мы произвели революцию для того, чтобы иметь присяжных; их уничтожить значит произвести контрреволюцию".¹³ Для того чтобы вынудить у официального начальства минимальные уступки по этой линии, революционерам приходится применять самые решительные способы давления, вплоть до угрозы восстания: восстанием грозит депутация коммуны утром 17 августа 1792 Легислативе, если та не декретирует "на месте" организацию чрезвычайного суда с присяжными от секций,¹⁴ и даже в только что цитированном мартовском заседании 1793 на возможное обращение к восстанию прозрачно намекает Конвенту Амар.¹⁵

Логика революции оказывалась сильнее оппортунистического сопротивления, и к осени 1793 (т.е. к моменту заключения блока мелкой буржуазии с городской беднотой, что вместе с переходом к политике максимума означало переход к решительно террористической политике) якобинская диктатура оказывалась уже обладательницей внушительного аппарата террористической юстиции.

Еще 17 августа 1792 Легислатива принуждена была пойти на тяжелый компромисс в виде создания чрезвычайного политического трибунала. Этим, по мнению роялиста Мортимера-Терно, "ультра-революционеры одним скачком преодолели пространство, отделявшее принципы 1789 от практики какого-нибудь Людовика XI или Ришелье".¹⁶ До Людовика XI, пожалуй, было все-таки далеко. Трибунал 17 августа предназначался только для "преступников 10 августа" (т.е. для защитников Тюильри) при сохранении старой судебной системы для всех прочих политических преступлений, "таким способом, - мотивировал Эро-Сешель, - не будет нанесено никакого ущерба строгости принципов и вечно священным правам свободы".¹⁷ Судить он должен был по существующему кодексу и с единственным только отступлением от процессуальных форм, - его приговоры не знали кассационной инстанции.¹⁸ Фактически же он вообще ничего не делал, ибо до конца дней его по его приговорам было переказнено 6 человек.¹⁹ Чтобы понять ничтожность этой цифры, надо только вспомнить, какой степени напряжения достигла тогда классовая вражда: после захвата дворца только в помещении коммуны было перерезано до ста пленных швейцарцев.²⁰ Политическое двоевластие этого периода в революционном терроре отразилось в том, что рядом с этим трибуналом Легислативы санкюлоты коммуны перерезали в парижских тюрьмах в течение 2-4 сентября от 1079 до 1532 заключенных,²¹ факт, причины которого Марат и Дантон справедливо усматривали в отсутствии правильно организованной революционной репрессии.²² Мирная кончина 29 ноября 1792 трибунала 17 августа не мешает тому, что в течение декабря 1792 Конвент принимает ряд террористических декретов,²³ а 10 марта 1793 учреждается будущий знаменитый революционный трибунал.

По учредительному декрету он, правда, должен руководиться карательной системой кодекса 1791 и может только ссылать лиц, "уличенных в преступлениях, не предусмотренных уголовным кодексом" (отд. II, ст. 3), но его личный состав определен монтаньярами, его приговоры не подлежат обжалованию и дальнейшее освобождение его репрессии от стеснительных форм является уже вопросом техники. Так, 26, 27, 28 и 29 марта 1793 он получает подкрепление в законах, устанавливающих смертную казнь за эмиграцию,

за контрреволюционные сочинения и т.п., ему предписывается приступить к исполнению обязанностей “немедленно”; 2 апреля упраздняется надзирающая за ним комиссия Конвента; 5 апреля правом предания трибуналу облачается его обвинитель; 26 июля, 12 и 16 августа частные декреты готовят умы к будущему “законодательству о подозрительных”; 5 сентября Конвент принимает предложение якобинской депутации “поставить террор в порядок дня”, и начинает с того, что делит парижский трибунал на четыре отделения (т.е. увеличивает его в четыре раза);²⁴ 17 сентября знаменитым законом о подозрительных узаконяется практика борьбы с неблагонадежностью и 29 октября во время суда над жирондистами вводится “совершенно новый принцип в уголовном правосудии”: революционный трибунал должен любой процесс кончать, как правило, максимум в три дня.

Одновременно с этим идет процесс развязывания террористической деятельности в провинции. По идее, парижский трибунал должен быть один на всю республику, но комиссары на местах, пользуясь своими неограниченными полномочиями, копируют парижскую практику, модифицируя ее сообразно условиям места и времени, обычно в сторону усиления репрессуализма. Так, к началу 1794 Конвент видит департаменты наводненными по крайней мере 178-ю “народными”, “подвижными” и “военными” трибуналами, “временными”, “народными” и “революционными” комиссиями, действующими часто уже вовсе без всяких форм.²⁵

Весь этот процесс развития якобинского терроризма может быть сведен к одной общей идее, которую неожиданно удачно проформулировал А.Матье в своей неудачной теории диктатуры: революции приходилось “заменять доказательства подозрениями”. Освобождение карательной деятельности от юридического формализма было необходимым предварительным условием для ее приспособления к нуждам революционной классовой борьбы, т.е. для ее превращения в террор. А проходить это освобождение могло только в форме замены в основаниях репрессии точных “составов преступления”, предусмотренных уголовным законом, признаками опасности (контрреволюционной) человека, признаками, которые не могут быть точно определены, да и не нуждаются по самому своему принципу в предварительном законном определении. Репрессия применяется к человеку за его опасные свойства, а не “воздается” за виновное совершение преступного деяния, - это и был смысл закона 17 сентября 1793 о подозрительных, в этом и состоит устранение юридической формы (или формально-демократического принципа) из карательной деятельности, об этом и говорит Матье, указывая на “замену доказательств подозрениями”.

Принцип законной ответственности, т.е. воздаяния в меру содеянного, и создает из классовой расправы систему гарантий личности или, другими словами, превращает судебную власть в “гарантию от власти”. Буржуазным революционерам освободиться от этого принципа было тем труднее, что, сознавая его решающее значение для всей системы политической демократии, они толковали его с непреклонной догматичностью, вплоть до чуть не формальной системы доказательств, отсутствия права толкования закона у судьи, принципа легальности в действиях прокуратуры и т.д.²⁶ Каждое посягательство на принцип законной ответственности встречалось как явление болезненное и ненормальное, а когда практикой последовательных посягательств он оказался почти вовсе разрушенным, дантонисты имели полное идеологическое основание впасть в контрреволюцию. “Выпустите из тюрем двести тысяч тех граждан, которых вы называете подозрительными, - писал Демулен 20 декабря 1793, - потому что в Декларации прав нет домов подозрения, есть только арестные дома. К подозрению имеют отношение не тюрьмы, а прокурор; нет подозрительных людей, есть только обвиняемые в правонарушениях, зафиксированных законом”.²⁷

Вот рассуждение, которое могло бы служить иллюстрацией к совсем не скептическому положению о том, что “сера теория”, особенно во время революции! Ведь с этим положением не могла не согласиться ни одна из революционных групп, и, однако, с самого падения монархии идеология внеюридической репрессии настойчиво и неуклонно прокладывала себе путь. Еще декрет Легислативы 11 августа 1792 об общей полиции “содержал в зародыше законодательство против подозрительных”,²⁸ потому что по ст.8 “всякий активный гражданин мог доставить в муниципалитет человека, сильно заподозренного в виновности против общей безопасности”. О подозрительных говорит предложенный Дантоном декрет 28 августа 1792 о повальных обысках, и после, с весны 1793, это слово приобретает все права гражданства. Секция Реюнион [Соединения] сообщает Конвенту 25 марта, что она решила обезоружить у себя “всех подозрительных людей”, это предложение тогда же превращается в декрет;²⁹ якобинцы из Ванна 4 апреля требуют ареста “всякой личности, которую объявят подозрительной восемь добрых граждан испытанной честности”;³⁰ комиссары первичных собраний, собравшихся в Париже, 12 августа требуют ареста “всех подозрительных людей” и даже немедленной отправки в первую линию на фронт; Дантон, возражая против фронта, поддерживает арест “всех действительно подозрительных людей” и, как ни странно, это предложение декретируется тогда же,³¹ т.е. больше, чем за месяц до закона 17 сентября; в знаменитом заседании 5 сентября Базир требует, чтобы революционные комитеты, после предварительной их чистки, “приступили немедленно к аресту всех подозрительных людей и чтобы им в этом даны были все полномочия для действий без вмешательства какой бы то ни было власти”, - что и декретируется единогласно и на месте;³² “а следующий день, кроме ареста иностранцев, декретируется, что “будут объявлены подозрительными и арестованы лица, занимающиеся спекуляцией”;³³ и, наконец, 17 сентября 1793 обстоятельный закон определяет, кого именно надо арестовывать в качестве подозрительных.

Для уяснения юридического духа этого памятника достаточно указать что аресту подлежат, например, те, “кто своим поведением, или своими связями, или речами, или писаниями проявили себя сторонниками тирании и федерализма и врагами свободы”, “те из бывших дворян вместе с мужьями, женами, отцами, матерями, сыновьями или дочерьми, братьями или сестрами и агентами эмигрантов, которые не проявляли постоянно своей привязанности к революции” и т.п.³⁴ Репрессия, покоящаяся на таких основаниях, никак не может “воздавать в меру содеянного” и, прекрасно понимая это, представители правящего блока, однако, в

дальнейшем все больше расширяют сферу своего “свободного усмотрения”. В коммуне 10 октября Шомет проводит дополнения к закону 17 сентября, по которым аресту подлежат и те, кто “тайнственно говорит о бедствиях республики, сожалеет о судьбе народа и всегда готов распространять дурные новости с притворной скорбью”, те, кто “с безразличием приняли республиканскую конституцию”, и вообще “те, кто не сделав ничего против свободы, не сделал ничего и для нее”.³⁵ Тот же принцип для революционной репрессии указывает и Сен-Жюст 10 октября 1793: “Вы должны карать не только предателей, но даже людей безразличных, - всякого, кто пассивен в республике и ничего для нее не делает”, потому что по нынешним временам “все, что находится вне суверена, это враг”.³⁶

Дважды после этого имеет место попытка обязать революционные комитеты хоть в пределах этих законов связать свою розыскную деятельность некоторыми формами, - 18 октября 1793, когда от них требуют вручения арестованным точных мотивов ареста, и 26 декабря 1793, когда их принуждают к проверке этих мотивов Комитетом общей безопасности, - и оба раза робеспьеристы настаивают на отмене этой тени гарантий, потому что, как утверждает Робеспьер 24 октября, бывают преступления, о которых “не существует письменных доказательств, но существует убеждение в сердцах всех возмущенных граждан”.³⁷

Вместе с переходом мелкой буржуазии к положительной части программы и обострением терроризма с весны 1794 закон о подозрительных становится основанием не только “превентивного” ареста, но и самой репрессии, т.е. гильотины. Формальные же признаки “подозрительности” теперь расплылись настолько, что Робеспьер уже окончательно потерял всякие отличия от Калигулы в Демуленовом изображении. Если Калигула считал подозрительным и высказывания, и молчание, и честолюбие, и скромность и т.п., то Робеспьер 9 июля 1794 перечисляет признаки подозрительности так: “когда человек молчит в то время, как нужно говорить, он подозрительный; когда он уходит в тень или проявляет некоторое время энергию, которая тотчас исчезает, когда он ограничивается пустыми тирадами против тиранов, не занимаясь общественными нравами и благополучием своих сограждан, он подозрительный” и т.д.³⁸

2. - Карательные меры, основанные на подобных “предположениях репрессии”, никак не могли быть “справедливым воздаянием в меру содеянного”, т.е. наказанием в юридическом смысле слова. Это была репрессия не “справедливая”, а просто целесообразная, - факт, который самим революционерам был понятен не меньше, чем позднейшим историкам. Тот факт, что буржуазные революционеры не постеснялись, когда понадобилось, перейти к голой классовой расправе, это факт высоко положительный сам по себе. Ведь он-то и означает прежде всего превращение революционной власти во “власть не связанную законом, опирающуюся прямо на голое насилие”, его-то и подразумевал Ленин, когда характеризовал классическую буржуазную революцию, как “деловую революцию, которая, свергнув монархистов, задавила их до конца”.³⁹ Однако для полной характеристики якобинских методов управления одного этого факта отнюдь недостаточно. Здесь мы вплотную подошли к самой интересной части проблемы якобинского террора.

Была ли для них вся террористическая практика только временным нарушением “вечно священных свобод”, только неприятным отступлением от принципов, вынужденным военной обстановкой? Или же, расставшись в процессе революции с формальной справедливостью в классовой борьбе, они усмотрели в террористической практике новые положительные ценности, - справедливость высшую, чем отвешивание “коемуждо по делам его”?

Бесспорно, во всяком случае, что в течение всего 1793 инициатива террористических мер поддерживалась достаточно умеренными элементами, которые не могли ее поддерживать иначе, как в качестве чрезвычайного и ненормального мероприятия. Участь революционного трибунала 10 марта 1793 решил Дантон. Тогда же проект освобождения этого судилища от каких бы то ни было форм предложил весьма умеренный Робер Ленде. Тогда же дантонист Дюэм [Дюгем] протестовал против придания присяжных этому суду на том основании, что “в Льеже сейчас режут патриотов, не давая им присяжных”;⁴⁰ дантонист Базир с такой же примерно мотивировкой требует 5 сентября ареста подозрительных и т.д. Подобные выступления в пользу террора всегда сопровождаются молчаливо подразумеваемыми условиями: террористическая юстиция должна быть временной, потому что террористическая юстиция не нормальна. В дополнении 27 марта 1793 к декрету о революционном трибунале Конвент даже разъясняет, что чиновники, назначенные временно судьями и присяжными в “чрезвычайный” трибунал, “сохраняют свои места и смогут снова вступить в исполнение своих обязанностей после прекращения своей работы в трибунале”.⁴¹ В декабре Камилл Демулен, притворяясь защитником временной необходимости чрезвычайных мер, аргументировал тем, что “полное смысла и человечности” правило, согласно которому “лучше не наказывать многих виновных, чем поразить одного невинного”, неприменимо во время революции. “Комитет общественного спасения сознавал это, - поощряет Демулен, - и он счел, что для установления республики он нуждается на время в юриспруденции деспотов (!)... Он закрыл, таким образом, на некоторое время статью свободы”.⁴² Так ли уж расходился с этим пониманием террора сам Сен-Жюст, когда в июле 1793 (т.е. когда монтаньяры усиленнее всего прикидывались простыми добропорядочными буржуа) в докладе по делу жирондистов он признавался, что не все арестованные “виновны”, но “поскольку во время заговора спасение отечества это высший закон, вы должны были смешать на время заблуждение с преступлением и мудро пожертвовать свободой некоторых спасению всех!”⁴³

Однако такие представления не могли держаться вечно. К началу 1794 практика террора приобрела такой размах, что оставаться при старой идеологии оказывалось психологически невозможно: ничего не объясняя, она сама была в конец скомпрометирована всей практикой классовой борьбы. Удивительно не то, что постоянным нарушением демократического формализма эта практика в конце концов разрывает его, заменяя формально-юридическое истолкование террора материально-классовым. Удивительно скорее то, что именно в этой, наиболее юридичной отрасли управления, раньше, чем где бы то ни было, обозначилась тенденция перерастания формальной демократии в материальную, - элементы такого перерастания в идеологии робеспьеристов можно наблюдать, начиная с 1792.

Здесь необходимо сделать предварительную оговорку о характере перерастания демократии в диктатуру в судебной функции. Нет ничего нелепее того, встречающегося у нас, представления, будто для придания карательной деятельности сознательно-классового характера достаточно, чтобы облекающая ее форма юридического равенства была дополнена поправкой на классовые неравенства. Это - недопустимое упрощенство. Подобная поправка к уголовно-правовой форме была бы приближением формальной демократии не к материальной демократии, а скорее к системе привилегий феодального государства, которое в точных расплатах своих уголовных преискурантов обыкновенно прибавляло: дворянству скидка. По отношению к якобинскому террору такое упрощенство не только не покрывает действительности, но прямо ей не соответствует: для всех революционеров мелкой буржуазии равенство наказания преступлению было ненарушимым догматом, и поправки к нему, например, на бедность и несознательность, можно было делать только в пределах "субъективного состава преступления" (юридического понятия вины). Вот характерное рассуждение, которое монтаньяр Ру в прениях 29 апреля 1793 противопоставляет жирондисту Бюзо, пустившемуся на неудачную демагогию о притеснениях в его департаменте "граждан неимущего класса" и незаконной их отправке в парижский трибунал: "Бюзо говорит, что комиссары проявляли суровость к неимущему классу. Но при режиме равенства бедняк, как и богач, должен нести наказание, если он нарушает закон; не верьте, как вам хотели внушить, что ваши комиссары были суровее к бедняку: они сами происходят из народа (*de la classe du peuple*), и если они поразили бедняков, так это потому, что нашли их виновными".⁴⁴ Нельзя не согласиться, что это рассуждение является - в пределах юридического мышления - единственно логичным.

Классово-материальное истолкование карательной деятельности было возможно не в пределах юридической формы, а в освобождении от этой формы, в пересмотре положения об ее абсолютной ценности. Такой пересмотр, объективно означающий перерастание демократий в диктатуру на существенном участке классовых отношений имел место в политической теории Руссо, он же повторился у его революционных учеников. С августа 1792 робеспьеристы не перестают требовать усиления репрессии в делах о контрреволюции и сразу же ставят вопрос в теоретически правильную плоскость: юридические гарантии, замедляющие и ослабляющие эту репрессию, не должны иметь места в подавлении контрреволюции, потому что здесь существуют другие, более высокие по типу гарантии справедливости (т.е. соответствия интересам мелкой буржуазии), чем формально-юридические гарантии.

"Я не стану повторять, - говорит Робеспьер 28 декабря 1792 в речи по делу короля, - что существуют священные формы, которые не являются адвокатскими формами, что есть ненарушимые принципы, которые выше рубрик, освященных привычкой и предрассудками. Истинный приговор королю - это стихийное и всеобщее движение народа, уставшего от тирании... Вот вернейший, справедливейший и чистейший из всех приговоров".⁴⁵ К той же теме он возвращается 11 августа 1793 в якобинском клубе: "Революционный трибунал действует сейчас с медленностью бывших парламентов, с теми сутяжническими и предательскими формами, которые всегда отличали нашу адвокатуру".⁴⁶ И уже 25 августа 1793 в речи по поводу дела Кюстина он, собственно, развертывает всю программу террористической юстиции: "Я наблюдал за адвокатскими формами, в которых запутан революционный трибунал. Ему нужны целые месяцы для суда над Кюстином, убийцей французского народа... Нельзя, чтобы трибунал, установленный для содействия развитию революции, обращал бы ее вспять своей преступной медлительностью". Тут же следуют выводы замечательной ясности. Необходима "немедленная реорганизация трибунала на новых формах: он должен в определенный и всегда очень короткий срок осуждать виновных и освобождать невинных" и, кроме того, "необходимо еще создание множества революционных комитетов (!), которые должны суммарно судить (*qui jugeront conjointement*) многочисленные правонарушения, совершаемые каждодневно против свободы".⁴⁷

Если обратить внимание, что под "революционными комитетам" здесь разумеются несуществующие "наблюдательные комитеты" с розыскными функциями, а судебная инстанция вроде будущей "революционной комиссии" в Оранже, или шести "народных комиссий", предусмотренных вантозскими декретами, то станет ясно, что вся террористическая политика весны-лета 1794 в идее существовала по крайней мере с августа 1793. К мысли о неприменимости юридических форм к подавлению контрреволюции Робеспьер неоднократно возвращается и дальше, - в докладе 25 декабря 1793 о принципах революционного правительства, в речи 5 февраля 1794 о политической морали, в речи-завещании 8 термидора.

Один момент здесь прежде всего бросается в глаза. В воззрениях на методы классовой борьбы положительному моменту предшествует момент критический, - раньше, чем объяснить целесообразность голой классовой расправы, революционеры мелкой буржуазии ставят под сомнение абсолютную ценность юридической формы. На частном примере удобно показать, как в отношении к террору формально-демократическая идеология перерастает в новое - и высшее - качество. В декабре 1793 революционный трибунал мало кого оправдывает, но уж оправданных встречают как национальных героев, ибо оправдательный вердикт означает торжествующую справедливость, - спасение оклеветанной невинности. В якобинском клубе так встречают и 9 декабря 1793 каких-то оправданных трибуналом федералистов из Лилля, и вот против этого неожиданно восстает Робеспьер. Он не советует целовать людей только за то, что они оправданы по суду. "Я не нападаю, - прибавляет оратор, - на приговор революционного трибунала; но одно дело судить на основании некоторого числа свидетельских показаний, а другое дело - судить политически, с пронизательностью (*avec les sourçons*) просвещенного патриотизма. Повторяю, я не нападаю на приговор, о котором идет речь, но если случайно эти люди были из *буржуазной партии*, а из Лилля вызвали в качестве свидетелей только буржуа (курсивы подлинника), то было бы вполне естественно, чтобы они нашли своих соучастников совершенно невинными. Так что я предлагаю, чтобы, придерживаясь трибунальского приговора, общество не поддерживало этих людей аплодисментами".⁴⁸

Критическое отношение к демократической форме в карательной деятельности влечет за собой и выводы положительного порядка. “Адвокатские формы” не только могут не соблюдаться в политических делах, но и не должны там соблюдаться. Сначала это обосновывается, как и вся практика революционного правительства, необходимостью сокращения конституционных свобод для будущего их господства. “При конституционном режиме, - говорит Робеспьер 25 декабря 1793, - почти достаточно защищать индивидов от злоупотреблений публичной власти; при режиме революционном публичная власть сама должна защищаться от всех нападающих на нее факций. Революционное правительство обязано по отношению к добрым гражданам всем национальным покровительством, но к врагам народа его отношение - только смерть”.⁴⁹

Теперь переход к народному правлению легко может дополнить почти готовую теорию: такой порядок, когда власть обязана перед врагами народа только смертью, есть вообще нормальный порядок. Здесь юридическая теория переходила в теорию диктатуры посредством различения понятий “частного” и политического преступления. Без объяснений эту мысль обронил еще 2 апреля 1793 Альбит: “Если бы дело шло о суде над фальшивомонетчиками, я согласился бы, чтобы следовали всем формам; но когда дело идет о суде над заговорщиками, - нет форм, которым надо было бы следовать”.⁵⁰

На степень теории эту мысль возвел впервые Шомет во время процесса жирондистов. “Революционный трибунал стал обычным судом, - жаловался он в якобинском клубе 28 октября 1793, - он судит заговорщиков, как судил бы карманного вора. Нужно создавать разницу между этими двумя людьми: первый попрали ногами законы своей страны, законы природы и человечества; напротив, к другому, виновному в мелком правонарушении, и, возможно, вовсе невинному, должны быть применены многие формальности раньше, чем закон вынесет ему кару, которую он, может быть, и не заслужил”.⁵¹ Шомета тогда же поддержал Эбер: трибунал действует не только как будто “во время глубокого мира”, но как будто “в гражданском деле, где следует, чтобы формы гарантировали безопасность и собственность граждан”.⁵² Наконец, 5 февраля 1794 Робеспьер превращает эту теорию в официальную точку зрения: “революциями хотят управлять посредством хитросплетений судебных палат, - издевается он, - с заговорщиками против республики ведут себя так, как в процессе между частными лицами: нет, ни защитников, ни свидетелей, ни письменных доказательств в этих процессах не должно быть”.⁵³

Только ли это порядок, переходный к “нормальному” режиму? На этот вопрос отвечает закон 22 прериаля (10 июня 1794), в котором практика и теория террора пришли к полному единству.

3. - Нужно сознательно закрывать глаза на текст этого закона и объясняющий его доклад Кутона, чтобы утверждать, как делает Альбер Матье, что все это понадобилось в первую очередь для уничтожения немногих опасных противников и возвращения затем к уголовной демократии кодекса 1791.⁵⁴ Обстоятельный закон представляет собою техническую инструкцию из 22 статей по борьбе с контрреволюцией. Революционный трибунал предназначен для наказания “врагов народа”, а в число врагов народа новый закон включает, кроме “всех поименованных в предыдущих законах, относящихся к наказанию заговорщиков и контрреволюционеров”, еще и тех, например, кто “пытается силой или хитростью уничтожить общественную свободу”, или тех, кто “обманывает народ или представителей народа, чтобы толкнуть их на поступки противные интересам свободы”, или даже тех, кто “старается ввести в заблуждение общественное мнение и воспрепятствовать просвещению народа, развратить нравственность и разложить общественное сознание извратить энергию и чистоту революционных и республиканских принципов” и т.п. Единственное наказание против “всех этих правонарушений (delits)” - смертная казнь. Никаких процессуальных условий для ее определения больше не требуется: “правила судоустройства, это - совесть присяжных, просвещенная любовью к отечеству”. Совесть присяжных не нуждается в предварительном следствии, ни в документальных доказательствах, ни в свидетельских показаниях, ни тем более в формальной защите: “в качестве защитников оклеветанным патриотам закон дает патриотов присяжных; заговорщикам он отказывает в защите вовсе”.⁵⁵ Если здесь еще идет речь о каких-нибудь формальных гарантиях, так это о гарантиях революционного центра против искривления классовой линии его судебными работниками (ст.ст. XV, XVIII, XX).

Социальный смысл новой репрессии, как репрессии классово целесообразной, в ее отношении к репрессии, снабженной уголовно-правовыми и процессуальными формами, легче всего дать понять по одной эбертистской трактовке революционной репрессии. Это - трактовка несколько аляповатая и с преувеличенным террористическим уклоном, но сущность дела она передает. В якобинском клубе 14 октября 1793 эбертист Брише так рисует задачу революционной армии: “Она может, явившись в село, справиться, богат ли сельский арендатор. При положительном ответе его можно гильотинировать, - это наверняка спекулянт”.⁵⁶ Закон 22 прериаля, собственно, дополняет эти незамысловатые уголовно-правовые и процессуальные “предположения репрессии” только одним определением: он требует выяснения, насколько активен и вредоносен этот спекулянт.

Условия гражданской войны, впрочем, иногда не оставляли возможностей и для такой индивидуализации в подавлении классового врага. В Лионе, как мы выше уже видели, политика “разрушения города” приняла форму сознательного разрушения капитализма посредством истребления буржуазии. Инструкция верховной “Комиссии республиканского надзора” к департаментским властям от 16 ноября 1793 не оставляет в этом никакого сомнений. Она прежде всего устанавливает главную опасность: “Буржуазная аристократия, продержись она дольше, произвела бы вскоре финансовую аристократию, последняя породила бы аристократию дворянскую”, - и так вернулся бы старый режим. Поэтому в расправе с подозрительными следует придерживаться определенной линии. “Необходимо, чтобы все, кто так или иначе способствовал бунту, сложил голову на эшафоте. Мы здесь подразумеваем не только попов, дворян, эмигрантских родственников, изменническую администрацию и пр., о которых закон выражается прямо. - Если вы действительно патриоты, вы сумеете отличить своих друзей и экспроприруете (sequestrerez) всех

остальных. Вот речи, которые будут вести большинство из них: - В чем же нас, собственно, упрекают? Мы себя всегда проявляли с лучшей стороны, мы несли службу в национальной гвардии, платили все налоги, приносили жертвы на алтарь отечества; мы даже послали наших детей на защиту границ; чего ж еще от нас хотят, чего от нас требуют? Вы им ответите: - Для нас это неважно; патриотизм должен быть в сердце. Всем, чем вы хвалитесь, хвалились еще больше все предававшие нас злодеи, Лафайеты, Дюмурье, Кюстины. Вы никогда не любили народ: вы называли химерой равенство; вы смели улыбаться над прозвищем санкюлот, вы имели излишки рядом с вашими братьями, умиравшими от голода. Вы недостойны создавать одно общество с ними; и поскольку вы брезговали раньше посадить их за один с собой стол, они теперь извергают вас навеки из своей среды и обрекают вас в свою очередь на ношение оков, которые вы своей беззаботностью или своими преступными действиями для них готовили.⁵⁷ Таким образом, в Лионе идея закона 22 прериаля, то есть сознательно классово репрессии, существовала по крайней мере с ноября 1793. Так же было и в центре.

Этот закон не с неба вдруг свалился. Ровно за месяц до его появления, 10 мая 1794 Комитет общественного спасения, учреждая своей властью "народную комиссию" в Оранже, снабдил ее инструкцией, составленной лично Робеспьером и содержащей конспект будущего прериальского закона.⁵⁸ Инструкция определяет компетенцию комиссии как рассмотрение дел о "врагах революции", и правила рассмотрения ограничивает следующим: "Враги революции суть те, кто какими бы то ни было средствами и под какой бы то ни было внешностью старался задержать поступательное движение революции и помешать упрочению республики. Кара, полагающаяся за это преступление, - смерть. Доказательствами, необходимыми для приговора, являются всякие сведения, какого бы то ни было характера, способные убедить разумного человека и друга свободы. Правила процесса - совесть присяжных, просвещенная любовью к справедливости и отечеству. Цель присяжных - общественное благо и гибель врагов отечества".⁵⁹

Предшествующий закону 22 прериаля доклад Кутона, который присоединяется к тексту "в качестве инструкции", стоит того, чтобы быть процитированным подробно: он не только дает не допускающее сомнений объяснение смыслу закона, но и до сих пор небесполезен, как замечательный образец революционно-классового подхода к карательной деятельности.

"Все наши идеи в различных частях управления должны быть реформированы, все они являются только предрассудками, созданными коварством и интересами деспотизма", - так начинает Кутон свой доклад к закону 22 прериаля. "И особенно судебные порядки представляют тому разительный пример: они настолько же благоприятны преступлению, насколько и тяжелы для невинности. Революция их далеко не устранила. Как можно сомневаться в этом, если вспомнить, что наш новый уголовный кодекс это - произведение подлейших заговорщиков Учредительного собрания и что имя Дюпора марает его заглавный лист! Макиавеллистское шарлатанство, его создавшее, могло добиться, чтобы его превозносило машинально легковерное невежество; но фактически оно изменило скорее термины, чем дух старой юриспруденции и скалькулировало ее предписания больше в пользу богачей и заговоров, чем справедливости и истины". Значит, со старыми судебными порядками революции вообще больше нечего делать. Причем отвергается в них самое существо формальной демократии: система юридических гарантий абстрактной личности. "Деспотический режим породил судебную истину, которая не была моральной и естественной истиной, даже была ей противоположна и которая, однако, одна решала с пристрастием судьбу невинности и преступления; очевидность не имела убедительной силы без свидетелей и документов, а ложь, окруженная их кортежем, имела право диктовать юстиции ее решения. Судейское сословие было чем-то вроде духовенства, основанного на обмане, а юстиция - ложной религией, целиком состоящей из догм, ритуалов и таинств, откуда была изгнана мораль. Этим правилам снисходительные хотели подчинить национальную юстицию и направление революции!" Нет, у революции должно быть другое направление.

До сих пор было так, "как будто суды, предназначенные для наказания врагов республики, были учреждены в интересах заговорщиков, а не для спасения отечества. Вот то, что особенно благоприятствовало заговору снисходительных: ловкость, с которой они смешивали максимально противоположные вещи, т.е. меры, принимаемые республикой для подавления заговоров, с обычными функциями судов по частным правонарушениям и в спокойные времена. Различие между ними следует искать в самых основах общественного интереса, который является источником всех политических учреждений и, следовательно, всех законов, относящихся к правосудию. - Обыкновенные преступления непосредственно поражают только индивидов, а целое общество через их посредство; и поскольку по своей природе они не ставят общественное благо под непосредственную угрозу и правосудие решает здесь частные интересы, постольку оно может проникнуться медлительностью, некоторой роскошью форм и даже чем-то вроде пристрастия в пользу обвиняемого; оно почти не имеет другой задачи, как только мирно заниматься утонченными предосторожностями, чтобы гарантировать слабых от злоупотреблений судебной власти. Это человеческая доктрина, потому что она совпадает с общественным интересом так же, как и с частным. - Наоборот, преступления заговорщиков непосредственно угрожают существованию общества или свободе, что равно. Жизнь злодеев здесь кладется на весы с жизнью народа; здесь всякая преувеличенная медлительность преступна, всякая лишняя или снисходительная формальность представляет общественную опасность. - Срок для наказания врагов отечества должен быть сроком, необходимым для установления их личности: дело идет не столько о том, чтобы их наказать, сколько о том, чтобы их уничтожить".⁶⁰

Вот это было "bien le mot" [отлично сказано]! Этим положением робеспьеристы в своеобразной терминологии эпохи выражали совершенно правильную точку зрения на классово целесообразную репрессию: в государстве народной (или мелкобуржуазной) диктатуры репрессия облекается в юридическую форму, охраняющую интересы личности товаропроизводителя, когда дело касается внутриклассовых

отношений, споров внутри класса-диктатора, но по отношению к “врагам отечества” никакие юридические гарантии не нужны, потому что там народная власть не карает правонарушения, но истребляет социально опасных лиц. В наших нынешних терминах такая реформа называлась бы заменой юридического “наказания” целесообразной “мерой защиты”, - в чем как раз и состоит сознательно классовая организация репрессии. И не может быть речи, чтобы это решающее прозрение, это уяснение истинного смысла репрессии, достигнутое опытом революции в совершенном соответствии со всеми другими достижениями ее политической доктрины, осталось только истиной короткого дня, обреченного смениться “нормальным” режимом. Интенсивность террора не имеет прямого отношения к принципу террора, принцип же террора целесообразен и справедлив, и очень характерно, что вместе с вантозскими законами и подготовкой прериальского закона робеспьеристы готовят замену слова террор словом юстиция. “Террор есть не что иное, как юстиция (правосудие), - говорит Робеспьер 5 февраля 1794, - только юстиция быстрая, суровая, непреклонная; это следовательно, эманация добродетели; террор - не столько частное начало, сколько следствие общего принципа демократии, примененного к насущнейшим нуждам отечества”.⁶¹ Еще яснее выражается Сен-Жюст 26 февраля 1794: “Пусть ничто дурное не прощается и не остается безнаказанным в государстве; юстиция для врагов республики страшнее террора... Юстиция осуждает врагов народа и сторонников тирании на вечное рабство, террор же оставляет им надежду на конец, потому что всякие бури кончаются...”⁶² Не трудно видеть, что под террором тут подразумевается “временный” закон 17 сентября о подозрительных; под юстицией - подготовляемое органическое законодательство в духе закона 22 прериала.

Могут возникнуть два сомнения в органичности этого законодательства. Первое: с точки зрения робеспьеристов, как быть с гарантиями для оклеветанных патриотов, как при таком законодательстве отличить наперед патриота от врага народа, ведь его определения необходимо так расплывчаты? О, это соображение уже не колеблет веры робеспьеристов в теорию “опасного состояния”, во-первых, политическая репрессия, чтобы быть эффективной, должна по самой природе вещей своим предположением иметь не юридически точное понятие виновного действия, а широкое определение опасности человека. “Уголовный закон необходимо должен иметь в себе нечто неопределенное, - говорит Робеспьер 8 термидора, - ибо нынешним характером заговорщиков является скрытность и лицемерие, и нужно, чтобы юстиция могла их раскрывать во всяких формах”.⁶³ Во-вторых, гарантии невинности (которые теперь предпочитают называть гарантиями общего интереса) должны быть такого свойства, чтобы отнюдь не противоречить этому основному качеству новой репрессии. “Гарантия патриотизма находится не в медлительности и слабости национальной юстиции, - продолжает Робеспьер, - а в принципах и честности тех, кому она поручена, в справедливом характере (*dans la bonne foi*) правительства, в его искреннем покровительстве патриотам и в энергии, с которой оно подавляет аристократию”.⁶⁴ То же подтверждал и Кутон в прериальском докладе: выполнить двойную задачу подавления контрреволюции и спасения оклеветанных патриотов можно, “только вручив осуществление национальной юстиции в чистые и республиканские руки”.⁶⁵

Революция, в самом деле, достаточно показала, что те формальные, юридические гарантии, которые она еще сохраняет, остаются тщетными и пустыми гарантиями. Во дворце правосудия заседает учреждение, именуемое судом, но подсудимые, вывезенные утром из Консьержери, вечером попадают на Гревскую площадь, - дворец правосудия здесь не более как пересадка. “Судебная проверка данных предварительного следствия” еще всюду сохраняется, потому что революционные юристы просто не мыслят себе подавления контрреволюции вне судебной формы. Но так как судебная форма для условий революционной репрессии очень плохо приспособлена, то от длительного ее сохранения ничего хорошего получиться не может - прежде всего для нее же самой. “Процессуальные формы” якобинского террора - это обидная карикатура на юриспруденцию и сплошное оскорбление официальной идеологии революции. Порядок, введенный Фрероном в марсельской “военной комиссии”, характерен не для одной этой комиссии: “Шествие правосудия было стремительно. Спросивши имя, профессию и состояние обвиняемых, их взгромождали на телегу, стоявшую у ворот дворца правосудия; судьи, появляясь на балконе, объявляли решение, после чего оставалось только отправляться”.⁶⁶

Разве не к тому же свелось в существе “судоговорение” парижского революционного трибунала? Перед судьями в сумасшедшей спешке проходят пачками в 20-60 человек обвиняемых, которых прислал Комитет общественного спасения. Комитет общественного спасения наверно знает, что уничтожение этих лиц необходимо для “спасения отечества”, - судьи не имеют ни технической возможности, ни политической нужды для проверки этой необходимости в законных формах учения о виновности. Самый факт предания трибуналу Комитетом общественного спасения является установлением виновности. Попытка Дюфурни заикнуться во время процесса дантонистов, что обвинительного декрета недостаточно и “нужно ждать решения трибунала”, вызывает 5 апреля 1794 года донос и негодование якобинского клуба. “Как, - возмущается Робеспьер, - в то время, как народ требует правосудия для своих врагов и убийц... как возмущенные сердца убеждены в стольких злодействах, является человек, осмеливающийся спрашивать, где доказательства. Значит, республиканцы не могут воздавать правосудия, значит, Конвент и трибунал терзают невинных!”⁶⁷ Это неизбежная логика революционной классовой борьбы.

Нет, гарантиями революционного правосудия не могут быть формально-демократические гарантии. Самый вопрос о них переносится в новую плоскость. Гарантии невинности дешифруются как гарантии патриотизма, - господствующему классу нужна гарантия, чтобы лишенная формальных сдержек репрессия не ударила по своим. Эту гарантию он усматривает - как и по отношению ко всем другим отраслям управления - в поручении юстиции “чистым и республиканским рукам”, т.е. прежде всего в классовом подборе аппарата. В этом и состоит здесь перерастание формальной демократии в демократию материальную.

Стоит отметить, что предварительно точно такой же процесс со всеми деталями имел место в идеологии мелкой буржуазии у Руссо. Точно так же эта “теория крайнего демократизма” таила в себе возможности самой террористической политики, потому что классовую борьбу воспринимала как борьбу с порочными людьми и классовую политику ограничивала политикой личного воздействия. Точно так же, требуя скрупулезного осуществления юридической формы в разрешении внутриклассовых конфликтов, Руссо не признавал никаких форм для подавления классового врага, “ибо такой враг не является уже личностью (personne morale), это просто человек, и тут право войны предписывает убить побежденного”. И точно так же единственную гарантию “справедливости” такой политики Руссо усматривал в ее соответствии общей воле, т.е. общим интересам правящего класса.⁶⁸ Один характерный эпизод показывает, что в данном случае не может быть и речи о простом заимствовании и дело идет о более глубоком процессе - об одинаковости типа перерастания формальной демократии в материальную на основе мелкобуржуазного демократизма. Робеспьер вовсе не обезьянничал свою политику по догматам Руссо, между прочим, даже тогда, когда вводил культ Верховного существа.⁶⁹ Как известно, принятие аналогичного культа было у Руссо обязательным условием гражданства и нарушение этого условия государство общей воли карало смертной казнью.⁷⁰ Последний вывод был теоретически вполне логичен, он вытекал из всего учения о “религии гражданственности”, и вот 15 мая 1794 в якобинском клубе предложили сделать такой же вывод и для практики. Против этого тут же восстал Робеспьер: “Этот принцип не может быть принят, - говорил он, - это значило бы внушить слишком большой страх массе глупцов и разложившихся людей. Я согласен преследовать не всех, но только заговорщиков против свободы. Я думаю, что следует оставить эту истину в сочинениях Руссо и не переводить ее в практику”.⁷¹ Таким образом, терроризм Руссо только там становился терроризмом якобинцев, где это требовали “реалисты”

Второе соображение, которое можно противопоставить утверждению об органическом характере прериальского законодательства, сводится к указанию на его крайний терроризм: какое организованное общество выдержало бы долго подобную репрессию? Тут имеет место просто недоразумение, основанное на смешении понятий классовой целесообразной репрессии и терроризма. Закон 22 прериала давал возможность организовать террор, когда в этом была необходимость; но в самом существе его вовсе не лежала необходимость террора.

Конечно, народная комиссия, учрежденная Комитетом общественного спасения 10 мая 1794 в Оранже и действовавшая по инструкции, предвосхищавшей прериальский закон, гильотинировала в течение 42 заседаний 332 подсудимых из 591;⁷² конечно, парижский трибунал за 47 дней, с 22 прериала до 9 термидора, перерезал 1376 человек, в то время как за 15 месяцев работы до этого закона только 1220.⁷³ Но напряженность террора обуславливалась тогда напряженностью классовой борьбы, а вовсе не текстом закона. Вполне мыслимо положение, когда тот же трибунал, действуя на основании того же закона, отправлял бы на гильотину не 60 человек в день, а, скажем, 60 человек в год, и даже того меньше.

Есть достаточные основания полагать, что революции удалось бы сократить интенсивность террора почти так же быстро, как это удалось контрреволюции после 9 термидора. Прежде всего для этого нужно было централизовать политическую юстицию, потому что полномочные комиссары на местах склонны были к террористическим увлечениям гораздо больше, чем в Париже, так что подавляющая масса жертв террора приходилась именно на провинцию.⁷⁴ Так вот, на путь централизации робеспьеристы вступили, когда прериальский закон еще только готовился. Еще закон об общей полиции 15 апреля 1794 предписывал отправлять заговорщиков “со всех концов республики в парижский революционный трибунал”, и, предусматривая ссылку в Гвиану “лиц без определенных занятий, жалующихся на революцию”, поручал рассмотрение этих дел парижским народным комиссиям.⁷⁵ Во исполнение этого декрета, декрет 8 мая 1794 формально упразднил все революционные трибуналы и комиссии, учрежденные в департаментах комиссарами, без права их восстановления “иначе, как в силу декретов Конвента”; временно сохранялись лишь те из них, сохранение которых “сочтет полезным” Комитет общественного спасения.⁷⁶

Одновременно с массовым отзывом комиссаров массами стали закрываться и их детища, а организовать “спуск на тормозах” из центра было уж значительно легче. В самом деле, робеспьеристы никогда не проявляли той склонности к всепоглощающему терроризму, которой отличались многие их коллеги не только слева, но и справа.⁷⁷ В одном отношении Альбер Матье во всяком случае прав: Робеспьер всегда сознавал границы возможностей террора и никогда не проповедовал замены политики устрашения политикой истребления, - еще за две недели до своего падения он возвращается в якобинском клубе к любимой своей мысли, что “не нужно стараться увеличить число виновных, посчитаться нужно с главарями шайки, а наказание главарей устрашит предателей и спасет отечество”.⁷⁸ Если сопоставить эту постоянную уверенность Робеспьера с тем фактом, что именно он был творцом оранжской комиссии и прериальского закона, то станет ясно, что сам Робеспьер понимал существо революционной репрессии лучше, чем его будущие историки. Революционная репрессия - это репрессия в духе прериальского законодательства: она должна быть мягче по отношению к народу, а, значит, и умереннее, чем кодексы “подлейших заговорщиков Конституанты”; но вместе с тем она организована так, что позволяет без церемоний расправляться с врагами народа, - революционная репрессия это и есть репрессия демократическая.

4. - Такая эволюция представлений о репрессии имела значение, далеко выходящее за пределы репрессии. Эта эволюция означала преодоление мелкобуржуазными революционерами идеологии подзаконности власти вообще. Что методы революционного управления надзаконны в смысле несвязанности конституцией, это Робеспьер давно знал, об этом он говорил еще в докладе 25 декабря 1793 о принципах революционного правительства: хотя революционное правительство и действует более быстро и решительно, чем правительства конституционные, оно не является, однако, учреждением анархическим; наоборот, цели его прямо противоположны анархии и законность его устанавливается тем, что “оно

опирается на самый высокий принцип - общественное спасение и на самый общий закон - необходимость".⁷⁹ Важно было, однако, установить право на существование революционных методов управления в более общем смысле. Следовало обосновать их надзаконность как несвязанность формой права вообще, следовало устранить самое противоположение между законностью и революционной целесообразностью, и вот здесь-то опыт террористической юстиции и мог оказать решающее влияние. "Законно" вообще все то, что полезно для народа и его революции, - до этого робеспьеристы прямо договариваются в уже цитированных дискуссиях якобинского клуба о секционных народных обществах. Когда эбертист Моморо попытался заметить, что вопрос о разгоне секционных обществ является "деликатным вопросом по отношению к принципам", Робеспьер возразил буквально так: "Все, что требуется общественным благом, относится явно к принципам (*est évidemment dans les principes*); все, что направлено к укреплению народного могущества, относится к принципам", - поэтому "довольно щепетильностей в проскрипции макиавеллистских прав".⁸⁰ Еще через месяц Жанбон Сент-Андре неплохо продемонстрировал необходимость и целесообразность такого подхода. Дантонист Лежандр боится отнимать афiliation у обществ, которые ею уже пользовались, потому что нельзя "давать постановлениям обратную силу". Страх Лежандра, объясняет Жанбон Сент-Андре, "плохо обоснован. Это постановление является не законом, а мерой безопасности и общественного блага. С обществами бывает так же, как с индивидами: с каким-нибудь человеком идешь вместе, покуда считаешь его честным и порядочным; но если замечаешь, что он отклонился от честности и справедливости, его покидаешь, прекращаешь с ним видаться". Какое наглядное объяснение целесообразной политики! - Лежандр сразу снимает свое предложение.⁸¹

Уничтожение принципиальных границ между законом и мерой безопасности было не только доктринальным пожеланием, оно было практикой революционного управления. Якобинская диктатура, создав массовую народную власть, создала и власть, "не связанную законом".

1 *P.Mautouchet*, *Le Gouvernement revolutionnaire*, 1912, pp.34, 58, 105.

2 *Buchez et Roux*, t.XXVII, p.140; срв. *Moniteur*, t.XVI, p.431.

3 *Jean Meslier*, *Le Testament*, 1864, t.III, p.392. На наших глазах повторялись те же особенности мелкобуржуазной революционности в Китае: группы, близкие Тан Пин-Сяню, проповедовали экспроприацию не вообще джентри, а только "плохих джентри".

4 *Moniteur du 9 ventose*, № 159; t.XIX, p.568.

5 *Moniteur*, t.XVIII, p.107.

6 *Buchez et Roux*, t.XXXI, p.298.

7 *Moniteur*, t.XIX, p.566.

8 *Moniteur du 14 ventose*, № 164; t.XIX, p.811.

9 *J.Jaures*, *Histoire socialiste de la Revolution francaise*, t.VIII, p.330.

10 *П.А.Кроноткин*, *Великая французская революция*, 1919, с. 531.

11 *L'Esprit des lois*, 1. XI ch. VI, 1. XII ch. II; *Oeuvres completes de Montesquieu*, 1877, t.IV, pp.14, 61.

12 *Le Vieux Cordelier*, № 3; *Oeuvres de C. Desmoulins*, t.II, p.169.

13 *Moniteur du 13 mars 1793*, № 72; t.XV, p.p.681, 682.

14 *Moniteur du 19 aout 1792*, № 232; t.XIII, p.443.

15 *Moniteur*, t XV, p.681-2.

16 *Histoire de la Terreur*, t.III, p.38.

17 *Moniteur*, t.XIII, p.444.

18 Art.3, *ibid.*, p.444.

19 *H.Wallon*, *Histoire du Tribunal revolutionnaire*, 1880, t.I, p.p.11-38; *E.Seligman*, *La justice en France pendant la Revolution*, 1913, t.II, pp.211, 215, 218, 290, 300, 301.

20 *F.Braesch*, *La commune du Dix aout*.1911, p.339.

21 Ср. *G.Cassagnac*, *Histoire des girondins et des massacres de septembre*, 1860, t.II, p.487.

22 Марап в газете - *Journal de la Republique francaise du 12 octobre 1792*. № 12; Дантон в Конвенте 10 марта 1793, - *Moniteur*. t.XV, p.683.

23 *Moniteur*, t.XIV, p.651, 755.

24 *Moniteur*, t.XVI1, p.575.

25 *Berriat Saint-Prix*, *La justice revolutionnaire*, 1870. t.i, p.XXVIII.

26 *E.Seligman*, *La justice en France pendant la Revolution*, 1901. t.I, pp.436-7, 441, 453.

27 *Le Vieux Cordelier*, № 4; *Oeuvres* 1874, t.II, p.183.

28 *P.Mautouchet*, *op.cit.*, p.34.

29 *Buchez et Roux*. t.XXV. p.141.

30 *Mautouchet*, *op.cit.*, p.1П.

- 31 Moniteur du 14 aout 1793. № 226; t.XVII, p.p.387, 388.
- 32 Moniteur du 7 septembre, № 250; t.XVII. p.p.525, 526.
- 33 Moniteur du 8 septembre, № 251; t.XVII, p.534.
- 34 Moniteur du 19 septembre 1793, № 262; t.XVII, p.680.
- 35 Moniteur du 12 octobre, № 21; t.XVIII, p.90.
- 36 Moniteur du 14 octobre 1793, № 23; t.XVIII, p.106.
- 37 Moniteur du 5 du 2-е mois, № 35: t.XVII I, p.216.
- 38 Societe des Jacobins, t.VI, p.213-14. Конечно, подобные высказывания Робеспьера имели вполне конкретный политический смысл, только завуалированный специальной фразеологией. Так, в прериальских заметках о членах Конвента он пишет, напр., о Бурдоне из Уазы: "Этот человек постоянно прогуливается с видом убийцы, обдумывающего преступление; его как будто преследуют образ эшафота и фурии" (Buche et Roux, t.XXXIII, p.170). Бурдон, впрочем, был действительно подозрительной личностью и в будущем активным термидорианцем.
- 39 Соб.соч. 1923, XVI, с. 206.
- 40 Moniteur du 13 mars, № 72; t.XV, p.681, 682.
- 41 Moniteur du 29 mars, № 88; t.XV. p.818
- 42 Le Vieux Cordelier, ,V.3; Oeuvres, t.11, p.177.
- 43 Moniteur du 18 juillet, № 199; t.XVII, p.147.
- 44 Moniteur du 1 mai, ,№ 121; t.XVI, p.259.
- 45 Moniteur du 30 decembre. № 365; t.XIV, p.876.
- 46 Societe des Jacobins, t.V. p.341.
- 47 Ibidem, p.377; *Buche et Roux*, t.XXVIII, p.477-8.
- 48 Societfe des;Jacobins, t.V, p.550.
- 49 Moniteur du 7 nivose, l'an II, № 97; t.XIX, p.51.
- 50 Moniteur du 4 avril, № 94; t.XVI, p.35
- 51 Societe des Jacobins, t.V, p.481.
- 52 Ibid., p.482.
- 53 Moniteur du 19 pluviouse, № 139; t.XIX, p.404.
- 54 *A.Mathiez*, Robespierre terroriste, 1921, p.33,
- 55 Moniteur du 24 prairial, № 264; t.XX, p.697.
- 56 Societe des Jacobins, t.V, p.457.
- 57 *H.Wallon*, Les representants du peuple en mission et la justice revolutionnaire dans les departements, 1889, t.III, p.112-13; ту же инструкцию, как явное доказательство системы "истребления населения", цитирует (и, как кажется, не без сочувствия) Бабеф в своей антиякобинской брошюре *Du systeme de depopulation ou la vie et les crimes de Carrier*, Paris, 1'an III, pp.118-20.
- 58 *Recueil des actes du Comite de salut public*, t.XIII. p.410-11.
- 59 *Berriat Saint-Prix*, La justice revolutionnaire, 1870, t.I, p.441-2; срв. *Wallon*, Histoire du Tribunal revolutionnaire de Paris, t.IV, p.92-3.
- 60 Moniteur du 12 juin 1794. № 264; t.XX, p.694-5.
- 61 Moniteur du 19 pluviouse, № 139; t.XIX, p.404.
- 62 Moniteur du 9 ventose, № 159; t.XIX. p.569.
- 63 *Buche et Roux*, t.XXXIII, p.438.
- 64 Ibid., p.439.
- 65 Moniteur du 24 prairial, № 264; t.XX, p.696.
- 66 *H.Wallon*, Les representants du peuple en mission etc., t.III, p.77.
- 67 Societe des Jacobins, t.VI, p.51.
- 68 Ср. *Contrat social*, 1. II ch. V, 1. IV ch. II; *Oeuvres*, t.VIII, pp.62-3, 198; *Discours sur l'economie politique*; *Oeuvres*, t.VII, p.278.
- 69 Реальный социально-классовый смысл политики этого культа прекрасно показан Альбером Матье, - см. *Autour de Robespierre*, 1925, pp.96-7, 99, 109, 122.
- 70 *Contrat social*, 1. IV, ch. VIII; *Oeuvres* t.VIII, p.257-8.
- 71 Societe des Jacobins, t.VI, p.134.
- 72 *H.Wallon*, Les representants du peuple en mission etc., 1889, t.III, p.185; срв. *Berriat Saint-Prix*, op.cit., t.I, p.435.
- 73 Цифры обычно несколько расходятся. Ср. *A.Aulard*, Histoire politique de la Revolution francaise, 1913, p.363; *Liste des victimes du Tribunal revolutionnaire a Paris*, 1911, pp.70, 128.

74 По статистике, на которую, впрочем, не следует полагаться, только Революционные трибуналы провинции переказнили 17000 человек, - *Berriat Saint-Prix*, op.cit., t.I, p.XXVIII.

75 *Moniteur du 27 germinal*, № 207; t.XX, p.224-5.

76 *Moniteur du 20 flordal*, № 230; t.XX, p.419.

77 Надо вспомнить, что не кто иной, как Барер восхвалял 5 сентября 1793 “великое слово, которым обязаны парижской коммуне, - поставить террор в порядок дня” (*Moniteur du 8 septembre*, № 251; t.XVII, p.231), он же в антибританских санкюлонадах 26 мая и 4 июля 1794 требовал выводов из той истины, что “только мертвые не возвращаются”, проводил декрет об истреблении пленных англичан и предлагал “*passer au fil de l'eepe*” неприятельские гарнизоны четырех городов (*Moniteur*, t.XX, p.567, t XXI, p.134).

78 Речь в Конвенте 3 октября 1793 - *Moniteur*, t.XVIII, p.38; срв. речь 11 июля 1794 в якобинском клубе, - *Societe des Jacobins*, t.VI, p.217.

79 *Moniteur*, t.XIX, p.51.

80 *Societe des Jacobins*, t.V, p.580-1.

81 *Ibid*, p.625-6.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО ЯКОБИНИЗМА

1 - Противоречивость понятия мелкобуржуазной диктатуры. 2 - Разоблаченная тайна формальной демократии. 3 - Бабувизм как продолжение якобинской диктатуры. Разрешение ее противоречий в революции коммунизма и диктатуре трудящихся.

1. - Якобинская диктатура создала народную организацию власти, материальную демократию неслыханной дотоле широты размаха; якобинская диктатура была революционной властью трудящегося большинства и потому не стеснялась проявлять себя как власть, “несвязанную законом, опирающуюся на голое насилие”; и все-таки, погружаясь в анналы якобинской диктатуры, не можешь победить ощущения какой-то органической порочности всего этого движения. Понятие буржуазной революции полно безвыходных внутренних противоречий; понятие самостоятельной диктатуры мелкой буржуазии в рамках буржуазной революции само сплошное противоречие.

Буржуазная революция поднимает на борьбу огромные толщи трудящихся; но по существу трудящиеся борются в ней за чуждые им интересы, за победу одной формы эксплуатации над другой. Обеспечив политическое господство экономически прогрессивному классу, народ должен снова вернуться в состояние экономического и политического угнетения, то есть буржуазная революция как бы наперед предполагает необходимость контрреволюции. Революция буржуазии, как и всякая революция, означает более или менее радикальное и длительное “насильственное вторжение в частную собственность”; но необходимость этого вторжения с самого начала ограничена незыблемостью самого принципа собственности, - ведь целью революции как раз и является утверждение суверенитета свободной собственности. Отсюда целый ряд противоречий в политическом выражении буржуазной революции. Как во всякой революции, политическим ее существом, ее “душой” является диктатура; но целью этой революции является как раз установление правового государства, т.е. формальной демократии, поэтому необходимость прибегать к специфически революционным методам представляется как досадное и случайное нарушение “принципов революции”. Революция немыслима без восстания, без насильственной ломки старой законности и классово-враждебного государства; буржуазная революция оставляет ряд классических образцов таких восстаний, но она проделывает их вопреки своей идеологии почтения к формальной законности, к законности как таковой и к воплощающему ее надклассовому государству. Только ли это то противоречие, которое “есть корень всякого движения и жизненности”? Еще хуже дело обстоит с диктатурой мелкой буржуазии в процессе развития революции капитализма.

Являясь объективным условием торжества капитализма, эта диктатура направлена своим острием против класса - носителя капиталистического принципа. Борясь против капиталистической буржуазии, она не может противопоставить ей никакой новой творческой социально-экономической организации. Ее политика безнадежно застревает в пределах вульгарного антикапитализма, и потому, будучи, как всякое народное революционное движение, движением прогрессивным, якобинская диктатура экономически реакционна и, значит, таит в себе необходимость собственной гибели.

Несомненно, что в процессе своего “военного хозяйствования”, при проведении политики реквизиций и такс якобинцы постоянно натывались на необходимость обобществления средств производства. Но так же несомненно, что эта необходимость не только не укладывалась в общий план революционной политики якобинцев, но прямо вызывала у них спасительный ужас. Для настоящей социализации нет предпосылок, ни объективных, ни субъективных, - нет пролетариата, как самостоятельного класса для себя, а мелкой буржуазии с социализацией делать нечего. Не только “общность имуществ”, не только коммунизм в проскрипции у официальной идеологии, - поклонники эгалитарной республики чураются даже последовательной политики эгалитаризма в виде аграрного закона.

Проводя классовую политику, борясь за народные интересы против буржуазно-феодальной коалиции, якобинцы не могут не заметить, что им противостоит классово враждебная “новая аристократия богатств”. Отдельных примеров сознательно классовой политики в практике якобинской диктатуры можно найти сколько угодно. Но так же, как отдельные акты обобществления средств производства кажутся якобинцам вынужденными военной обстановкой, так и отдельные проявления откровенной классовой борьбы скорее шокируют революционное сознание, чем воспринимаются как сущность революции. Может ли быть что-нибудь характернее петиции Сент-Антуанского предместья 1 мая 1793, петиции, в составлении которой

участвуют и рабочие, и которая призывает членов Конвента “забыть, что они собственники”: “пусть будет установлен максимум, и мы скоро сделаем для защиты вашей собственности еще больше, чем для отечества”!¹ Может ли быть что характернее этих извинений для классовой борьбы, которые приводит в газете “Санкюлот” 13 мая 1793 безвестный якобинец: “бедные ведут войну против богатых не из-за их сокровищ, а из-за их порочности”!²

Санкюлоты не против класса богачей, они только против “богачей-эгоистов”. Факты классовой борьбы - это не революция, а аномалия в революции. По существу революция это не классовое движение, это движение национальное, - борьба единой и цельной нации против кучки привилегированных и иноземных тиранов. Понятие революции отождествляется с понятием патриотизма, и чем дальше углубляется революция, то есть чем больше передвигается руководство от капиталистической к мелкой буржуазии, тем больше вырастает значение национальной идеи.

Может быть, нигде так рельефно и так политически остро не проявляется вся безнадежность политики мелкобуржуазной диктатуры, как в ее неустранимой, принципиальной национальной ограниченности. Победы революции не расширяют, а суживают ее международные перспективы, потому что это французские национальные победы. В якобинском клубе как-то призывают к обходительности с швейцарским послом, потому что “он до такой степени патриот, что даже получил название швейцарского Марата”! Подразумевается, конечно, что этот посол в высокой степени демократ; но именно потому, что швейцарский демократизм фигурирует тоже в облике патриотизма, легко может статься, что французский и швейцарский Мараты окажутся не союзниками, а врагами.

Национализм фейанов и жирондистов, - как и национализм всей вообще молодой буржуазии, - это идеалистический привесок, достаточно искусственный, и с либерализмом космополитической идеи он легко уживается. Мелкая буржуазия националистична всерьез, и национализм якобинцев постоянно перерастает в шовинизм и ксенофобию. Дискуссия “о пороках английской конституции” предложена в январе 1794 якобинскому клубу Робеспьером с трезвой политической целью: предупредить общественное мнение против Дантона, который как будто не прочь раньше времени пойти с англичанами на мировую. Первое время публика еще стесняется проявлять свои настоящие чувства, - шовинизм стараются смягчить убогим изобретением буржуазной политической мудрости, которой оперируют дантонисты: “конечно, англичане виновны, но надо, конечно, и отличать английский народ от английского правительства” и т.п.³ К явному удовлетворению всей аудитории, Робеспьер 30 января 1794 решает разорвать узел. “У нас хотят отделить английский народ от его правительства... Что означает эта англоманья, скрытая под маской филантропии, как не сохранение бывшего бриссотизма, который пренебрегал благом и покоем своей страны, чтобы отправиться заниматься свободой Бельгии? (Аплодисменты). Обеспечьте свою свободу раньше, чем заниматься свободой других (аплодисменты). Почему хотят, чтобы я отделил от этого гнусного правительства народ, который является соучастником его преступлений? Я не люблю англичан (аплодисменты)... Как француз, как народный представитель, я заявляю, что ненавижу английский народ (аплодисменты)”.⁴ При такой форме выражения революционности трудно ожидать, в самом деле, поддержки с другой стороны Ла Манша. Якобинцы, правда, составляют “письма к английским санкюлотам” и приглашают всех клубных публицистов “работать над просвещением английского народа”. Сам Робеспьер, не желая вконец обескураживать публику, соглашается, что из отсталости англичан “не следует, будто английский народ не произведет революции; он произведет ее, потому что он угнетен” и т.п. Но, прибавляет он тут же, “ваши военные корабли, вот кто произведет эту революцию”!⁵

Международная акция буржуазной революции ограничивается революционными войнами, интернациональной атмосферы революционной солидарности она не может создать именно потому, что она - национальная революция. Еще Жорес заметил, как безрассудно было со стороны якобинцев будить классовое сознание немецкой буржуазии, т.е. национальное сознание, рассчитывая увидеть ответное зарево: вместо революционной поддержки они получили “истинную национальную войну”!⁶

На что важно обратить внимание в этой национальной ограниченности якобинской диктатуры, так это не столько на ее реакционность, сколько на безвыходность этой реакционности. Переход к политике решительного эгалитаризма весной 1794 вызвал, правда, необходимость предварительно такого восстановления производительных сил, которое должно было распространиться и на связи с мировым хозяйством. Барер, как мы видели, в вантозских докладах, призывая к “оздоровлению обращения”, намекал и на то, что “могущественной республике не подобает изолировать себя и отказываться от всех торговых сношений”.⁷ Но это восстановление капиталистического типа связей с мировым рынком должно было стать временным явлением, необходимым, пока национальное обращение еще не оправилось от военной разрухи и еще не способно на новой базе аграризации страны само удовлетворить своим потребностям. Опасности для будущего эгалитарного царства от длительного сохранения капиталистической по типу международной торговли якобинцы не могли не видеть. Страна истинной свободы - это по самому своему существу изолированная страна. Она принуждена охраняться искусственными рогатками от капиталистического разложения, она постоянно будет нуждаться в аппарате государственного насилия и в упражнении военных доблестей, ибо ее встречи с соседями всегда будут встречей с врагом. Эта истина, робко признанная в отрывочных записях Сен-Жюста,⁸ только ждала немецкого педанта, чтобы через шесть лет после падения мелкобуржуазных утопистов найти свою обстоятельную и бесстрашную апологию.⁹

“Замкнутое торговое государство” было конечным идеалом якобинской диктатуры, идеалом безнадежно утопичным в условиях мирового хозяйства конца XVIII века. Но даже удайся якобинцам изоляция Франции от внешнего мира, царство мелкобуржуазной ограниченности оказывалось неосуществимой утопией и внутри самой Франции.

Странную картину представляет собой капиталистическая страна под властью мелкобуржуазной диктатуры. Власть объявила войну буржуазии и буржуазному духу, она как будто обладает для этого достаточными ресурсами и политического, и чисто экономического порядка. Власть является обладателем огромной доли национального богатства, она как будто неустанно подтачивает капитализм своей политикой реквизиций и максимума, на ее стороне неисчерпаемая энергия широчайших народных масс, - и все-таки каждый лишний день ее существования изменяет соотношение классовых сил не в ее пользу. Под защитой рыцарей мелкобуржуазной добродетели французская экономика "рождает капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе". Буржуазия, даже разоряемая законом о максимуме, даже истребляемая законом о подозрительных, продолжает расти и укрепляться на продаже национальных имуществ, на инфляции и государственных долгах, на военных поставках и даже на общественных должностях. К весне 1794 этих процессов уже нельзя было не замечать. "Это было странное пробуждение революции, когда, целиком поглощенная идеями, принципами, диспутами и фракциями, она увидела, что внизу думают совсем о другом, там гонят прибыль, идет ажиотаж и аукционные соглашения, все спекулируют друг с другом".¹⁰

Что могли противопоставить этим процессам радетели эгалитаризма, даже распоряжающиеся громадным фондом национальных богатств? Идея безвозмездного наделения неимущих патриотов землями контрреволюционеров сама по себе очень интересна, а для политической идеологии эпохи имеет даже первостепенное значение. Но совсем другое дело - вопрос о реальной осуществимости этой идеи, и, главное, о достаточности эффекта такого возможного осуществления, - вызвала же перепись неимущих патриотов по коммуна панику среди будущего "совершенно нового социального класса", который пока что заподозрил, что его будут ссылать для заселения вырезанной Вандеи!¹¹ Ничего, кроме этих вантозских декретов, якобинцы для укрепления демократии придумать не могли, а одной этой меры было явно недостаточно: не такими плотинами можно было в конце XVIII века задержать победу капитализма и буржуазии. Мыслимы такие исторические условия, когда политическое господство мелкой буржуазии, неспособное, конечно, вовсе остановить капиталистическое развитие, несколько изменяет, однако, политическое выражение этого развития, придает ему более демократическую форму. Разгром мелкобуржуазной демократии во Франции не был "предопределен" только тем фактом, что Франция находилась в полосе капиталистического развития. Но он оказался предопределен конкретной и индивидуальной обстановкой этого развития - соотношением классовых сил в 1794.

Здесь, по-видимому, лежит объяснение того пессимистического квиетизма, который так странно сочетался с духом активности у всех революционеров мелкой буржуазии и который только усиливался вместе с успехами революции. Это, конечно, не было лицемерием, когда Робеспьер в своей речи о преобладании жизни капитализма и собственной жизни, это не случайно, что как раз в период развития вантозского законодательства Сен-Жюст начинает "молить о смерти, как о благодеении провидения".¹²

Миросозерцание революционеров XVIII века отравлено сознанием внутренней порочности их дела. Когда Робеспьер в публичной речи признавался в закономерности той истины, что "добродетель всегда в меньшинстве на земле", когда в личных записках он выражал неверие в возможность длительного существования государства добродетели, не повторял ли он просто резиньяции своего учителя, предупреждавшего о недолговечности демократии! "Когда-нибудь должны иметь конец все дела человеческие, - поучал Руссо корсиканцев, рекомендуя им свою конституцию, - и даже хорошо, что после долгого и могущественного существования государство гибнет..."¹³

Кажется, как будто к концу своего господства якобинцы начали сами ощущать безвыходную противоречивость своей позиции. Народная диктатура служила классовым целям буржуазии, которая не могла бы справиться с делом национальной обороны, т.е. отстоять свои только что захваченные богатства собственными силами, не вызвав к жизни широкого массового движения; как только победа была обеспечена, массовое движение должно было прекратиться, и якобинская диктатура, начинавшая беспокоить самый принцип собственности, должна была пасть, - после Термидора эту теорию высказывали уже не стесняясь.

Лоренц Штейн только повторял термидорианцев, когда излагал эту теорию. Для того чтобы обеспечить длительность нового порядка вещей, "нужно было в буквальном смысле слово искоренить (ausrotten) всех, кто рассчитывал предъявить сейчас или в будущем притязание на эти земельные владения. Но это как раз были те, кто тем или иным образом принадлежали старому обществу. Поэтому народные нужды требовали с необходимостью передачи власти в руки тех, о которых было известно, что они могут решительно уничтожить эти остатки старых сословий. Но это и были представители абсолютного равенства... Их миссия в практической области общественной жизни состояла в том, чтобы создать обеспеченность новому разделу имуществ посредством уничтожения прежних собственников. Этим создавалась хозяйственная возможность для обработки новоприобретенных национальных имуществ и закладывались основы для новой эпохи хозяйствования, - эпохи труда и капитала. Неясное сознание этой задачи проглядывает во многих местах, особенно в докладах Комитета общественного спасения; Конвент согласился на терроризм, который вовне защищал республику, а внутри - новое распределение земельных владений; когда эта задача была выполнена, жизнь Комитета общественного спасения подошла к концу: тот же Конвент обрек его и все, что к нему относилось, на смерть, потому что боялся, как бы этот Комитет не напал в конце концов и на новых собственников и во всяком случае не стал бы препятствием для развития производства, постоянно угрожая имущим. Так пал Робеспьер, и за ним развернулась в народе новая имущественная жизнь. Без терроризма она не могла бы возникнуть, но с терроризмом она не могла бы существовать".¹⁴

Настроения всех исторических фигур мелкобуржуазной диктатуры в последний период ее существования могут быть выражены одной горькой фразой сумрачного героя из романа Анатоля Франса, присяжного в революционном трибунале: "Мы говорили: победить или умереть. Мы ошиблись; победить и умереть, вот что нужно было говорить". Робеспьеристы доживают последние месяцы своей власти в состоянии мрачной безнадежности. Не этим ли объясняется их странно пассивное поведение в событиях 9 термидора, которое невозможно приписать ни непредусмотрительности, ни тем более боязни внепарламентских действий? Если в робеспьеристском лагере кто и действовал в эти решающие дни, так это как раз люди, которые меньше всего были способны понять смысл событий, - Кофинали, Леско-Флерио, Анрио; лидеры, как будто, сознательно не хотели бороться и самый деятельный из них, который был и самым дальновидным, Сен-Жюст так и не проявил себя вовсе.

Революционная диктатура мелкой буржуазии в XVIII веке во Франции была обречена экономически и неизбежно должна была пасть. Попытки возрождения якобинизма в XIX веке кончались позорным крахом, - Маркс, как известно, одной из иллюстраций к парадоксу о повторении исторических трагедий в виде фарса выставлял "Гору 1848-51 вместо Горы 1789-95". Попытки самостоятельной политики мелкой буржуазии, сохранявшие еще значение подлинной революционности, кончились 24 мая 1795, на "последних монтаньярах", сложивших головы в прерииальском восстании III года. Революция XIX века вышла на новую столбовую дорогу.

Историческое значение якобинской диктатуры лежит не в ней самой, не в собственном ее экономическом содержании, и даже не столько в ее роли для разрешения задач собственно буржуазной революции, сколько в том положительном материале, который она подготовила для освободительного движения XIX века. После якобинского опыта говорить о "национальной революции" было уже невозможно: обогащенное опытом 1793, революционное движение должно было превратиться в классовое движение, в революцию пролетариата против буржуазии. Еще в 1846 Энгельс отметил, что именно "заговор Бабефа сделал во имя равенства заключительные выводы из идей демократии 93 года, поскольку эти выводы возможны были тогда. Французская революция была социальным движением от начала до конца, и после нее чисто политическая демократия невозможна. *Демократия - это в настоящее время коммунизм*".¹⁵

Политические формы якобинизма получили тут двойную значительность. Они, во-первых, явились демонстрацией метрической ограниченности политической демократии, в них она исчерпала все свои возможности и разоблачила свою классовую тайну. Новая революция властно требовала новых путей для своего политического оформления, и второе, положительное значение якобинской диктатуры оказалось в том, что созданные ею формы массового движения стали образцом для будущей организации диктатуры пролетариата.

2. - Значение якобинского опыта для политической теории состоит, в самом деле, не только в том, что он "разоблачил тайну любого государства" как орудия насилия,¹⁶ но более точно в том, что его практикой оказалась разоблачена тайна формальной демократии как специфического выражения буржуазной диктатуры.

Только вульгарно-обывательское мышление может по нынешним временам довольствоваться догматическим противопоставлением застывших категорий - "чистой" (формальной) демократии и классовой диктатуры. Два основных положения могут считаться прочным завоеванием политической теории современного пролетариата. Во-первых, всякая государственная власть есть необходимое насилие, и "чистая" демократия являлась обычной в истории формой выражения насилия буржуазии. Во-вторых, "чистая" демократия последовательным развитием ее собственных принципов не только не отдаляется от "чистой" диктатуры, но, превращаясь в материальную демократию, все больше разоблачает свою сущность классовой диктатуры; получая полное свое выражение в диктатуре пролетариата, материальная демократия, как более или менее развитая тенденция, может иметь место также и на известных этапах народных революций, преследующих более ограниченные цели.¹⁷

Было бы весьма интересно в свете этих положений проанализировать три официальных выражения буржуазной революции - ее конституционные акты 1789-91, 1793, 1795. В течение шести лет Великой революции демократическая идея описала полный круг развития и исчерпала едва ли не весь запас своих основных определений. Вся политическая мудрость буржуазии XIX века, несмотря на колоссальные осложнения, привнесенные в политическую жизнь развитым капитализмом, может быть почти без остатка сведена к тому ассортименту политических идей, который развернула буржуазия XVIII века в своей революции. Все нюансы демократической доктрины, от старенького и откровенно эксплуататорского "классического либерализма" до тончайшей маскировки "нового либерализма", плотно связавшегося с меньшевистским "социализмом", укладываются между двумя демократиями, учрежденными одним и тем же Конвентом.

Диктатура мелкой буржуазии создала прообраз материальной демократии в формах революционного правительства, определенных "временной конституцией" 4 декабря 1793 (закон 14 фримера). Но "чистая" демократия, которая была вотирована революционной мелкой буржуазией за пять месяцев до того в "постоянной конституции", отложенной до конца революции и так и не получившей применения, вовсе не так уже отличалась от материальной демократии, воплощенной в практике якобинской диктатуры.

Так же, как и эта практика, монтаньярская конституция 24 июня 1793 исходит из того принципа, что "суверенитет народа покоится в коммунах",¹⁸ и потому она, в самом деле, "является непосредственно демократической не в меньшей степени, чем представительной".¹⁹ Гарантированное обеспечение неимущих (Декларация, ст. 21) позволяет рассчитывать на участие в политической жизни трудящихся масс. Широта чисто политических полномочий органов местной власти, постоянная активность и неограниченное могущество первичных собраний позволяет говорить о действительной тенденции растворения

государственных функций в обществе. Эта общественная (или народная) организация власти не получает, правда, своего логического завершения и возглавляется она по-прежнему парламентом. Но парламент поставлен в решительную невозможность вести политику, противную интересам трудящихся: он не вотирует, а только предлагает законы на утверждение первичных собраний, сессия его ограничена годом, депутаты находятся под непрерывным контролем доверителей и всякое выраженное половиной департаментов желание пересмотра конституции вызывает немедленный созыв чрезвычайного конвента (ст.ст.10, 32, 40, 53, 115). Наконец, торжественно провозглашенное право на восстание не только народа, но “каждой части народа” в случае угнетения окончательно утверждает активность масс и связанность парламента (Декларация, ст.ст.33-5).

Эта конституция составлялась монтаньярами наспех, в значительной степени из агитационных соображений, и во всяком случае ни в непогрешимость ее, ни в ее принципиальное превосходство над фактически существующим революционным положением, ни даже в ее принципиальную противоположность этому положению монтаньяры не верят уже по крайней мере с ноября. Уже в прениях по закону 14 фримера Бийо-Варен, как мы видели, заикался, что опыт революционного правительства должен “послужить моделью для составления органического кодекса конституции, чтобы стереть порочные следы, которые могла еще там сохранить застарелая привычка или слабость, свойственная частным соображениям”.²⁰

Вожди мелкобуржуазной диктатуры не думали, конечно, никогда не возвращаться к своей демократической конституции 24 июня, но не думали, по-видимому, и восстанавливать ее во всей неприкосновенности. Опыт революционного правительства и переход к осуществлению программы эгалитаризма должны были внести в эту конституцию коррективы в смысле развития ее “социального” характера, - недостаточность которого признавал ведь и Робеспьер уже сразу после ее утверждения,²¹ - и дальнейшего укрепления политической роли муниципальных организаций.

Важно, во всяком случае, отметить, что “чистая” демократия монтаньярской конституции не глухой стеной отделена от материальной демократии якобинского революционного правительства, она почти готова с ним слиться. Таким образом, со стороны бабувистов это не было только демагогией, когда они “в виде первой связи между патриотами и народом” решили выдвинуть конституцию 1793, как лозунг восстания, потому что несмотря на ее “устаревшие и приводящие в отчаяние идеи о праве собственности”, она больше всех произведений подобного рода “приближается к совершенству” и к тому же открывает “широкое поле для всяких улучшений”.²² И буржуазный проходимец Буасси-Дангла, докладывавший термидорианскому Конвенту 5 мессидора III года проект новой конституции, конечно, не лицемерил, когда, вспоминая рабочих повстанцев 1 прериала, устанавливал такую зловещую закономерность: “дайте этим людям крови конституцию 1793, и я смею сказать, что вы этим дадите им больше, чем ненавистное вам революционное правительство”.²³

Конституция 1793 - это один аспект демократии в Великой французской революции; конституция 1795 (5 фрюктидора III года) - это ее другой аспект. Новая демократия вотируется формально тем же Конвентом, только в духе прямо и сознательно противоположном первому. И все-таки термидорианская конституция - это тоже демократия! Все *формальные* признаки демократии в ней налицо, - вот неразрешимая загадка для тех радикалов, которые не прочь признать ее классово-буржуазным и реакционным продуктом.

В самом деле, компания термидорианских шиберов и казнокрадов тоже ведь признает, что государственный суверенитет принадлежит всему народу, что закон есть выражение общей воли, что каждый индивид должен вследствие этого “непосредственно или посредством содействовать образованию закона”, и что целью закона является охрана прав человека, свободы и равенства (Декларация, ст. ст.17, 18, 6, 20, 1). В осуществление этих принципов строго проводится выборность всех должностей, разделение властей, гарантирование полного набора личных свобод, право пересмотра конституции (ст. ст.27, 41, 133, 46, 202, 203, 353-5, 359, 364, 336, 338 и др.) и многое прочее, перед чем меркнет даже всемирно известная демократия 1789-91. Конституция III года была ведь даже подвергнута всенародному голосованию (после разгрома двух рабочих восстаний, разоружения парижских предместьев и волны белого террора на юге это было безопасно) и получила одобрение нужным числом голосов. И, наконец, - отличие, которое легко упустить из вида по нынешним временам, - эта конституция в противоположность детищу Учредительного собрания была республиканской, а не монархической конституцией. И несмотря на все это, сейчас даже в либеральном лагере едва ли не согласятся, что эта конституция устанавливала “не настоящую республику, а нечто в роде олигархии политиканов, республики своей братии”.²⁴

Тут дело заключалось даже не только в том, что эта конституция восстанавливала ценз и лишала неимущих избирательных прав, или, вернее, не столько в самом этом факте, сколько в том социальном смысле, который он теперь получал, и в той политической идеологии, которая его сопровождала. Знаменитое детище Учредительного собрания, конституция 1791, тоже была цензовой демократией, и это не помешало ей, во-первых, по существу быть прогрессивным актом и, во-вторых, в представлениях современников быть актом вполне демократическим.

Как ни странно представляется это современному сознанию, но буржуазные законодатели Конституанты, устанавливая ценз, вполне искренно верили, что творят дело человечества, а не дело буржуазии. В 1789-91 социальная проблема ни фактически, ни, главным образом, в общественном сознании еще не отделялась от проблемы политической и, во всяком случае, не противопоставлялась ей. Борясь с феодализмом за права человека, “третье сословие” еще могло не сомневаться, что разрешение социального вопроса придет само собой как логическое следствие воцарения этих прав. Социализм представлялся как бы привеском к политической демократии, и очень характерно, что никто в течение первых лет революции не заигрывал так охотно с социалистическими утопиями, как именно чисто буржуазные демократы. Ведь это в жирондистско-фейанском клубе “Социального круга” [Социального

для своего манифеста девиз о фактическом равенстве как “конечной цели социального искусства”; ведь никому иному, как Бриссо, принадлежит авторство афоризма, столь прославившего в следующем веке имя Прудона: “собственность - это кража”!²⁵

Речи быть не может, что буржуазия Учредительного собрания нарушала собственную декларацию и лишала трудящихся избирательных прав из боязни социализма: социализм совсем не был для этого достаточно актуальной теорией. Скорее наоборот, желание буржуазии осуществить “дело народа” помимо народа вызывалось боязнью, как бы “этот слепой, живущий бессознательной жизнью народ не оказался простым орудием реакции в руках привилегированных классов”.²⁶ И надо прибавить, что эта боязнь даже не была вполне обоснованной.

На нынешнем этапе рабочего движения уже не приходится сомневаться, что борьба за демократию некогда была и должна была быть делом трудящихся, ибо господство буржуазной демократии являлось необходимым предварительным условием для дальнейшей самостоятельной борьбы трудящихся за свое освобождение. В конце XVIII в. дело могло представляться не совсем так. Трудовые массы того времени, то есть мелкобуржуазные и ремесленные слои деревни и города, разграбленные хищническим хозяйничаньем торгово-капиталистического государства и добываемые молодым промышленным капиталом, легко могли оказаться в союзе с реакцией против нового эксплуататора. Из богатого ассортимента свобод, прокламировавшихся революционной буржуазией, многое вообще не доходило до их сознания, а то, что доходило, часто неспособно было в них вызвать никакого энтузиазма.

Так, прежде всего экономическая свобода, неограниченное фритредерство, остававшееся символом веры всех трех революционных легислатур, должно было породить недоумение в народных массах, которые помнили многократные голодовки от недородов и спасительное вмешательство в их пользу абсолютистского государства. Опасения революционных либералов были небезосновательны: история может отметить в течение 1789-93 много попыток со стороны реакции использовать недовольство трудящихся в своих интересах, эти попытки иногда кончались успехом и даже в таком сравнительно классово-сознательном движении, как июньское движение бешеных за максимум, можно заметить нотки “едва завуалированного сожаления о старом режиме”.²⁷

Таким образом, в самом факте введения буржуазией Конституанты избирательного ценза еще ничего специфически буржуазно-реакционного усматривать, пожалуй, нельзя. В представлении всех честных идеологов эпохи буржуазия, осуществляя свое дело, осуществляет национальное дело, лишение трудящихся избирательных прав направлено к пользе самих же трудящихся, - оно, конечно, исчезнет вместе с развитием просвещения и благосостояния, - в естественных правах человека совпадают интересы буржуа и пролетария. Понадобился некоторый исторический опыт для того, чтобы убедиться, что, по выражению Энгельса, “это царство разума было не чем иным, как идеализированным царством буржуазии”. Надо только отметить, что не требовалось капиталистического развития и пролетарских восстаний XIX века, чтобы это стало понятным; двух лет якобинской диктатуры оказалось совершенно достаточно.

Тут еще надо предварительно оговориться, что буржуазная конституция III года - это не целиком реакционный документ. Она направлена не только против народного движения, но отчасти и против роялистской реакции (которую сами же термидорианцы и вызвали). С этой целью конституция 1795 вводит более широкий, чем было в 1791, контингент активных граждан, предохранительные меры против опасности военной диктатуры и статьи против эмигрантов (ст.ст.17, 35, 141, 288-9, 373); с этой же, главным образом, целью вотированы и особо озорчательные для формально-демократического сознания органические законы 5 и 13 фрюктидора, предписывавшие избирателям в будущий законодательный корпус “избрать” две трети членов Конвента, “или из нынешней депутации их департамента, или из всех остальных членов Конвента”.²⁸

Но даже в этих мерах, направленных против феодальщины, видна их узко классовая буржуазная природа. Опасаясь реакции, термидорианская буржуазия еще больше боится народного движения. Поэтому сохранение республиканской конституции будущим собранием, избранным по этой конституции, приходится наперед обеспечивать такими методами политической кутерии, как фрюктидорские законы (их интересно сравнить с законом тоже буржуазного Учредительного собрания, *запрещавшим* переизбирать своих членов в новую легислатуру). Поэтому же борьба с эмигрантами, только что учинившими наглеший путч в Кибероне, ограничивается пустым “запрещением” всем будущим законодателям “создавать новые исключения” в законах против эмигрантов: “французская нация” объявляет, что “эмигрантские имущества безвозвратно перешли в пользу республики” (ст.ст.373- 374). И даже видимые достоинства бесспорной демократизации гражданского статуса, по сравнению с конституцией 1791, меркнут в свете тех циничных объяснений, которые даются во вступительном докладе: “Политично ли было бы, полезно ли для спокойствия разделить народ на две части, из которых одна была бы явно (!) подчиненной, в то время как другая господствующей?.. Не значило ли бы это установить вечный зародыш раздоров, который кончил бы тем, что разрушил ваше правление и ваши законы”!²⁹

Термидорианская демократия - это демократия без народа и против народа, конституция III года - это политический акт, *сознательно* устрояющий угнетение трудящегося большинства и господство его эксплуататоров. Чтобы в этом убедиться, достаточно проглядеть только дышащий ненавистью ко всему народному доклад Буасси-Дангла, скрытого роялиста, стряпавшего эту республиканскую конституцию.

Фраза из доклада, отпечатанная в виде эпиграфа в официальном издании конституции III года, гласит: “Страна, управляемая собственниками, находится в социальном состоянии; страна, в которой правят не-собственники, не вышла из естественного состояния”. Под естественным состоянием в данном случае понимается состояние войны всех против всех и аргументируется такое понимание самым реалистическим образом: “Если вы дадите людям без собственности неограниченные политические права, если они окажутся когда-нибудь в роли законодателей, они станут вызывать или допускать волнения, не боясь их результатов;

они установят или позволят установить гибельные для торговли и земледелия таксы, потому что им нечего ни сознать, ни страшиться их плачевных результатов; и наконец, они повергнут нас в то состояние насильственных потрясений, из которого мы еле вышли". Не стоит и говорить о возможности совпадении классовых интересов: "Можно ли предположить столь полное согласие интересов и воля, чтобы одни и тот же закон мог без опасений быть поставлен на обсуждение всех частей государства? Не ясно ли, что один и тот же закон полезен для одних, но неблагоприятен для других" и т.д. Так что, исходя из предположения о единстве интересов всех граждан, буржуазия Конституанты и Легислативы явно ошибалась. Впрочем, и положение у нее тогда было особое. "О, сколь отлично наше состояние от состояния двух предшествующих собраний! Каковы бы ни были их принципы (!), они принуждены были поощрять энтузиазм, который не знал границ; нам позволено прислушиваться к голосу разума, который не хочет излишеств (!). Они находятся в войне с тронем, который они подкапывают и который им угрожает, они все время заняты уничтожением двух могущественных сословий, богатство и авторитет которых делают их свержение столь же трудным, сколь и опасным, поэтому дух разрушения должен был главенствовать над их системой; нашей системой, наоборот, должен руководить дух организац..."³⁰

В 1795 буржуазии еще не приходилось так стесняться в выражениях, как понадобилось в следующем веке ее потомкам, - классовый смысл приведенных рассуждений расфигуровывается сам собой: "дух разрушения" - это дух революционной диктатуры грудящихся, "дух организации" - это охранительско-буржуазный дух. По отношению к политическому устройству полярную их противоположность можно проследить по всей истории термидорианской реакции, предшествовавшей введению в действие конституции III года. Формально революционное правительство продолжало существовать вплоть до роспуска Конвента, и те изменения, которые внесла в него эта история, должны бы, как будто, заставить призадуматься людей, не видящих в якобинской диктатуре ничего, кроме антидемократической централизации.

Термидорианцы были такими же централистами, как и якобинцы, - им, в самом деле, от нарушения правительственной централизации могло бы с двух сторон солоно прийти. Но, сохраняя из централизации все, что с народной акцией связано непосредственно не было, т.е. именно все внешнее для революционного правительства 1793-4, они разрушают централизованную машину революционного правительства там, где она была непосредственно народной организацией. Может ли быть что характернее, что "институт комиссаров Конвента при департаментах остался почти в том же виде, в каком он был и до 9 термидора и из всех временных учреждений, составлявших революционное правительство, только одно это и не претерпело тогда почти никаких существенных изменений".³¹ Вообще же термидорианцы "удержали централизацию в том виде, в каком она была установлена декретом 14 фримера, то есть местные власти были по-прежнему строго подчинены центральной",³² но характер этого подчинения, классовый смысл централизации стали совсем другими.

Прежде всего, теперь возглавляет государственное управление, действительно, Конвент. Вот исторический факт, достойный всяческого внимания! Казнь 102 робеспьеристов 10 термидора II года стала сигналом для буржуазной контрреволюции, немедленно заполнившей улицы, секции, трибуны собраний. И заполнение улиц буржуазной контрреволюцией немедленно же нашло свое политическое выражение в том факте, что возглавлять общественную жизнь начал действительно парламент! Атака на революционный центр, т.е. на Комитет общественного спасения, началась там на второй же день после гибели робеспьеристов, и меньше чем через месяц после переворота органический закон 7 фрюктидора II года (25 августа 1794) раздробил правительственные функции между тринадцатью постоянно обновляемыми комитетами Конвента. Получилось тринадцать самостоятельных правительств, функции Комитета общественного спасения ограничились руководством военными делами и дипломатией. Позже, правда, эту анархию пришлось посократить и декрет 9 мая 1795 возвратил Комитету общественного спасения некоторые полномочия по объединению правительственной деятельности. Смысл реформы 7 фрюктидора от этого, однако, не изменился: республикой управляет Конвент, т.е. сами болотные жабы, вылезшие на свет божий и не желающие терпеть над собой авторитетов, навязанных откуда-то извне.

С этой же целью постепенно ликвидируется даже "очищенная" и подтасованная после переворота партийная организация революции. Раньше всего законом 16 октября 1794, как мы видели, отсекается ее жизненный нерв - общегосударственная филиация. Меньше чем через месяц, 12 ноября, после кровавых уличных побоищ с бандами Фрерона, декретируется закрытие парижского клуба. В провинции уже давно ставшие мишенью для белого террора, партийные организации после этого закона закрываются сами собой. Воспоминание об их организующем революционном значении, однако, так сильно, оно таким тяжелым кошмаром тяготит умы термидорианцев, что после приарльского восстания Конвент снова возвращается к вопросу об "остатках так называемых народных клубов". Декретом 23 августа 1795 "всякое собрание, известное под именем клуба или народного общества, распускается; поэтому помещения этих собраний должны быть немедленно закрыты, а ключи, протоколы и документы сданы и коммунальные секретариаты".³³ Конституция тремя специальными статьями (360-2), превращающими этот декрет в органический закон, вбивает осиновый кол в могилу революционной партии.

Но важнее всего для характеристики буржуазной демократии III года ее отношение к той муниципальной организации II года, которая, стихийно создавшись в процессе революции, и воплотила в себе народную диктатуру.

Что процесс постепенного разрушения муниципальной организации в течение года от 9 термидора до введения конституции был органически реакционным, глубоко антинародным процессом, это как будто все понимают. Уже закон 7 фрюктидора, усиленный через пять месяцев специальным декретом, фактически ликвидировал революционные комитеты, резко ограничив их численность и их полномочия. Тогда же

ограничены полномочия и всех секционных организаций. Через десять дней после гибели Робеспьера от них отнято управление национальной гвардией; разбитые и обескровленные после восстаний жерминаля и прериала III года, они окончательно теряют свой народный характер. С 29 мая 1795 исключаются из их вооруженных сил “менее состоятельные лица из класса ремесленников, поденщиков и чернорабочих”,³⁴ и секционные организации, ставшие очагом роялистской оппозиции, ждут только неудачи реакционного восстания 13 вандемьера, чтобы 9 октября 1795 прекратить свое существование вовсе. Но ликвидируются не только отдельные муниципальные органы, ликвидируется и сама муниципальная организация власти. После возвращения в Конвент жирондистов, декретом 17 апреля 1795 департаментским директориям возвращены “те права и обязанности, которые возлагались на них законами, предшествовавшими дню 31 мая 1793”.³⁵ Теперь муниципальная организация, помимо номинального подчинения дистриктам, попадает в действительное подчинение чуждой ей организации. Вследствие этого невозможна уже та федерация коммун, которая, как мы видели, нашла свою, - правда, незавершенную и лишь фактическую, - централизацию в связях с коммуной Парижа и которая и вынесла на своих плечах всю революцию. Сейчас эта федерация тем более невозможна, что естественный свой центр она потеряла на другой же день после контрреволюционного переворота. Порядок, создавшийся немедленно, как нечто само собой разумеющееся, и подтвержденный официально через месяц, заключался в том, что “Парижем стало управлять само правительство. Этот город остался столицей, но не был больше коммуной”.³⁶

Достоин удивления, что для демократических историков остался непонятным характер термидорианской конституции в отношении к муниципалитетам. Между тем конституция III года только подводила итог процессу последнего года и ставила точку после разгрома народной организации власти. Отныне муниципальная организация сохраняется только в тех “коммунах” (т.е. селах или городах), население которых превышает 5000 жителей; коммуны с меньшим населением имеют только “муниципального агента”, а кантональное объединение этих агентов образует новую - и вполне искусственную - административную единицу, “кантональный муниципалитет”. Более того, если мелкие коммуны вовсе не имеют организации, то большие города наделены ею с излишней щедростью... вследствие чего результат получается такой же. В коммунах с населением выше 100000 надлежит учредить “по крайней мере три муниципальные администрации”. Каждая из них совершенно самостоятельна и с соседними ни в какой органической связи не состоит; только для предметов, “которые законодательный корпус признает неподдающимися разделению”, существует “центральное бюро” из трех членов, назначаемых департаментом (ст.ст.178-84). Закон 11 октября 1795 ограничил функции, “неподдающиеся разделению”, полицией и продовольствием; по этому же закону Париж оказался обладателем целых двенадцати самостоятельных муниципалитетов.

Смысл реформы как будто совершенно ясен. Бюрократические связи, заменившие муниципальную организацию, не только народного движения не организуют, но прямо предназначены, чтоб ему воспрепятствовать: “кантональный муниципалитет” не объединит движения нескольких коммун, а “по крайней мере три муниципальные администрации” в одной коммуне не дадут сорганизоваться общегородскому движению. Нечего и говорить, что теперь муниципалитеты - это подчиненные органы местной власти, лишённые какого бы то ни было политического значения, целиком зависимые от департаментских управлений, опекаемые агентами центральной власти, загруженные заботами о налогах и пошлинах и имеющие право вступать между собою в связь “только по вопросам о делах, присвоенных им законом, а не по вопросам общих интересов республики” (ст.ст.174, 189-93, 196, 199).

Вульгарнейшие политики из термидорианских жуликов понимали, что они делали, лучше будущих либеральных и даже социалистических профессоров. У последних о смысле термидорианской реформы только и можно узнать, что она была демократична, потому что упразднила коммуны, которые были “слишком мелки, чтобы образовать собой живую административную единицу”;³⁷ или что это была “интересная попытка избежать дробления территорий на бесчисленные коммуны, самая мелкость которых вызывала их бессилие, ибо полезная сила состоит не в мелочной и обманчивой независимости, а в объединении и связи усилий”.³⁸ Как хорош особенно этот докторальный тон социал-демократического гелертера, проглядевшего, что эти самые “мелкие коммуны” только что создали изумительную “связь усилий”, стали из местного самоуправления новой по типу формой политической и истинно народной власти! Неспособный заметить ничего вне парламентской формы власти, он поучает местные органы необходимости “соединения и связи усилий” в бюрократических формах, видимо, для отстаивания “начала децентрализации” - можно ли найти более яркий образец политической слепоты!

Между тем тот же Буасси-Дангла в том же докладе к конституции объяснил достаточно вразумительно, в чем смысл муниципальной реформы. “Мы рассматриваем внутреннюю администрацию республики как непосредственное произведение (emanation) исполнительной власти”. Но при нынешней “бесчисленности администраций” осуществление такой концепции невозможно: “сделать из Франции постоянно заседающий народ - это значит оторвать от земледелия тех, кто должны постоянно им заниматься”. Сорок четыре тысячи коммун - это “в политическом организме источник анархии и смерти. То, как парижская коммуна, они вступали в соперничество с верховной властью; то они объединялись между собой для того, чтобы атаковать или оборонять ту или иную национальную власть”. Не ясно ли, что муниципальная организация власти и есть основная причина, почему термидорианцы считают конституцию 1793 “не чем иным, как формальным сохранением всех элементов беспорядка”. Ведь она создает “поддержание ужасной коммуны, предназначенной для угнетения целой Франции путем парализования ее представителей и для подчинения всех богатств республики бесстыдной прихоти демагогов из некоторых секций”!³⁹

Конституция III года упраздняет коммуны, потому что они были формой самоорганизации трудящихся. Устранение народа от управления государством, - вот мысль, которой проникнута каждая строка термидорианской демократии.

Конституция 1793, которая ведь тоже не обошлась без парламентского представительства, прилагает, по крайней мере, все старания, чтобы гарантировать представляемых от представителей и подчинить депутатов народу; конституция 1795, наоборот, занята подчинением народа парламенту и гарантированием депутатов от народа, - в ней есть даже целый раздел "о гарантиях членов законодательного корпуса". Конституция 1793, сознавая недостаточность всех легальных гарантий, торжественно провозглашает право на революцию как священный долг в случаях крайней необходимости; конституция 1795, продиктованная страхом "отнять у будущего законодательства средства подавления мятежей", дополняет декларацию прав "декларацией обязанностей" граждан по отношению к властям, охраняющим собственность. Идея демократии в конституции 1793 выражена в речи Робеспьера 5 февраля 1794: "демократия - это государство, где суверенный народ все, что может, делает сам, и только то, чего сам не может, - через представителей".⁴⁰ Идея термидорианской демократии выражена в первом же открытом выступлении против конституции 1793, в речи Тибодо 21 марта 1795, встреченной бурным одобрением Конвента: "Понимаете ли вы под демократической конституцией правительство, в котором народ сам осуществлял бы все свои права? Я знаю только одну демократическую конституцию, ту, которая предоставляла бы народу свободу, равенство и мирное пользование своими правами. В этом смысле существующая конституция не является демократической, потому что при ней национальное правительство еще было бы во власти заговорщической коммуны" и т.д.⁴¹

Новая демократия исходит из той основной идеи, что, народ, избрав членов парламента, передоверил им заведование "общим интересом" и сам должен вернуться к "мирному земледельческому труду". Сьейес в прениях о конституции обосновывает эту идею целой теорией о субстанциальном превосходстве представительного правления над прямым ввиду того, что "поручить представлять себя по возможно большему числу дел значит увеличить свою свободу".⁴² Несколько позже он построит сложнейшую конструкцию для доказательства того, что даже выборы представителей народом не являются необходимым признаком представительства, т.е. истинной демократии.

У Сьейеса и в конституции VIII года идея демократии вырождается окончательно в формалистическое барокко, лишенное уже всякого социального смысла, - если не считать таковым надувательство народных масс. Но и сейчас, в конституции III года, игра формально-демократическими принципами меньше всего имеет отношение к обеспечению народовластия. Ни по фактическому своему содержанию, ни по намерению законодателя все эти диспозиции о разделении властей, о взаимном их уравнивании, о двухпалатной системе и о гарантиях осторожности законодательного процесса не нужны народу и не для него устанавливаются. Все они не перестают быть принципами формальной демократии. Даже разделение законодательного корпуса на две палаты целью имеет, конечно, не установление "чудовищной системы наследственного пэрства", - о термидорианском нуворишам нет, действительно, никакого расчета делить власть с только что ограбленной феодальщиной! - оно создано просто как лишняя гарантия законодательной осторожности, необходимой для поддержания собственности.

Формальная демократия III года освящает правовое государство, служащее интересам свободной собственности, то есть капиталистической буржуазии. Массам трудящихся она не нужна, они ее воспринимают теперь как нищету и голод. Бабеф в ноябре 1795 объясняет, почему эту "конституцию богачей" нельзя признать "конституцией французов": она "явно и необходимо базируется на том отвратительно безнравственном положении, что цель общества это - благополучие богачей, интриганов и честолюбцев". Третий год республики стал годом разоблачения элевзинских таинств, некогда заключавшихся для народа в словах "конституция" и "демократия". Какую злую шутку история сыграла с новым классом, победно вступавшим в свой век: год его торжества был и годом начала его гибели! "С самого начала буржуазия уже носила в себе своего будущего противника", - прообраз коммунизма и диктатуры пролетариата родился одновременно с конституцией III года.

3. - Не подлежит сомнению, что движение, известное под именем бабувизма, не было пролетарским движением в нынешнем смысле слова и что исповедуемый им коммунизм сохранял утопический характер коммунистической идеологии XVIII века. "Заговор равных" остался движением небольшой группы идеологов, и если его теорию с чем-нибудь сравнивать, то внешних черт сходства с современной теорией диктатуры пролетариата у нее окажется, пожалуй, значительно меньше, чем с только что разгромленной "народной диктатурой" якобинцев.⁴³ И тем не менее значение бабувизма как первого предвестника пролетарского революционного движения остается неоспоримым, потому что в нем впервые коммунистическая идея проявилась как идея практической политики.

Внутренняя связь бабувизма с якобинской диктатурой бросается в глаза с самого начала. По всему своему строю идеология бабувизма может быть представлена как логическое продолжение якобинской диктатуры. Разрешением вопроса о собственности бабувизм не только переводит ее в новое качество, но как бы завершает ее собственные тенденции и снимает присущие ей противоречия. Если трудно согласиться с утверждением Альбера Матье, будто для самого Бабефа "коммунизм это нечто чисто аксессуарное, что мало интересует его настоящую политику", то уже во всяком случае бесспорно, что "для современников заговор Бабефа был значительно меньше коммунистической попыткой, чем последним усилием террористов вернуть себе власть".⁴⁴

Вследствие разрешения вопроса о собственности, во-первых, революция из случайного феномена, оправдываемого крайностью, становится необходимой предпосылкой общего блага: восстание - это теперь уже не только сведение счетов "народа" с нарушившим его интересы "правительством", это кульминационная точка вечной борьбы бедных с богатыми. Во-вторых, коммунизм как цель, поставленная революции наперед оправдывает методы политической диктатуры, как необходимого и непосредственного продолжения восстания трудящихся: диктатура уже не кажется явлением, независимым от революции и "носящим нечто

постыдное в себе”, о ее будущем установлении предупреждают еще до восстания. Наконец, в-третьих, и это главное, новая цель, поставленная диктатуре, т.е. построение коммунистического общества, объясняет длительность существования диктаторской власти и открывает дальнейшие перспективы не в возврате к формальной демократии, а в растворении функций власти в обществе. Иначе можно ту же мысль выразить так: коммунизм в первом своем практическом проявлении оказался теснейшим образом связанным с якобинской диктатурой и для своего осуществления должен был заимствовать формы, только что созданные мелкобуржуазной революцией. Дальнейшее изложение, т.е. краткий анализ бабувизма с точки зрения его отношений к якобинской диктатуре, должно послужить подтверждением этой мысли.

Здесь нужно оговориться, что утверждение о тесной связи бабувизма с якобинизмом совсем не означает, будто заговор равных был *только* продолжением якобинизма, его “левым флангом”. В бабувизме так же, как это было позже, в первой половине XIX века, коммунистическая и революционная струя (или “социальная” и “политическая”) некоторое время не только не сливались, но даже как бы взаимоотталкивались. В самом деле, ведь Бабеф продолжал оставаться честным демократом и поборником коммунистической идеи даже в течение того полугодия после 9 термидора, когда он, как и большинство искренних революционеров, верил в спасительность “последней революции” и в союзе с гнуснейшими ренегатами и на их счет⁴⁵ вел травлю якобинцев и якобинских методов.

Даже в самом неприятном своем произведении этого периода, в брошюре против Карье, Бабеф не зарекается от коммунизма (или, по крайней мере, от последовательно эгалитаристских воззрений). “Пусть это воззрение покажется сходным с системой Робеспьера”, все-таки Бабеф утверждает, что “земля какого-нибудь государства должна обеспечивать существование всем членам этого государства”. Никакой нормальный социальный порядок без этого невозможен, и “если Робеспьер стремился к этому, то он смотрел как истинный законодатель”. Карье нельзя обвинять ни за налоги на богатей, ни за таксы, ни за наделение неимущих землей эмигрантов.⁴⁶

Другое дело - те политические методы, которыми пользовались для этой цели робеспьеристы. Желая равного наделения всех собственностью и полагая, что продукции территории республики не хватит на всех, они решили истребить избыточную часть населения! Для этого и предназначалось революционное правительство и бесконечная гражданская война, в которой сначала истребляли республиканцев вандейцами, а потом вандейцев республиканцами. Этому служили и “вечные крестовые походы” против королей, учиняемые “с тайным намерением, чтобы никто не вернулся” из армий; для этого предназначалась и вся система террора.⁴⁷

Даже усмотрев в якобинской диктатуре столь близкую ему цель (которой она, впрочем, фактически, конечно, не преследовала), Бабеф все-таки предаёт проклятию якобинцев за эти методы, столь противные природе, которая ведь “всегда справедлива”. Экономическое равенство достижимо средствами простой демократии, революционное же правительство - это тирания, и Бабеф, требуя восстановления конституции 1793, не жалеет выражений по адресу “охвостья Робеспьера”. Начало его публицистической деятельности после Термидора ознаменовывается требованием, “как того хочет Мерлен из Тьонвиля (!), принципов вместо террора, революционных законов, если понадобится, но не революционного правительства, не децемвирата”.⁴⁸ В той же цитированной статье о Карье система революционного правительства именуется не иначе, как “комитетская автократия”, “деспотат”, “свирепый децемвират”, и понятно, почему. “Революционное правительство! - восклицает Бабеф там же, - это ты, да, ты и твои бесчестные изобретатели помешали тому, чтобы революция, начатая мудростью и добродетелью народа, была укреплена теми же элементами”.⁴⁹

Собственная политическая программа Бабефа в этот период сбивчива и неясна. Он стоит за максимум, но против диктатуры, он против буржуазии, но за формальную демократию. Когда он пытается конкретно ставить проблему уравнивания собственности, ему приходится уповать чуть ли не на самих же собственников: “никогда кучка богатей не сможет беззаботно наслаждаться скандальным изобилием рядом с голодной массой. Пусть богачи станут справедливы и откроют глаза на истину, на свой собственный интерес (!): они должны повиноваться сами; иначе природа... прорывает все плотины” и т.д.⁵⁰ Ясно, во всяком случае, что Бабеф пока еще не связал коммунизма с революцией, он, как и некогда якобинцы, не верит в творческие социальные возможности политического насилия, ему приходится верить в социальное всемогущество надклассовой политической демократии, - поэтому же и коммунизм его остается покуда такой же тощей утопической абстракцией, какой он был у всех коммунистических идеологов XVIII века.

В проблему практической политики коммунизм Бабефа превращается несколько позже, примерно с октября 1795, и первым выражением этого превращения является полная переоценка демократии и диктатуры, революционного правительства и переворота 9 термидора. Первая в истории организация коммунистической революции начинается с реабилитации якобинской диктатуры и ее методов, - без такого предварительного условия был бы немислим “заговор равных”. Новая точка зрения в первый раз изложена в газете Бабефа от 6 ноября 1795. До 9 термидора целью французской революции была цель социального союза вообще: общее благо. После 9 термидора “движение началось в обратном направлении, против цели общества, против цели революции, - к общему несчастью и к благу только меньшинства”. С этого именно времени “правительство стало добычей, рабским и подлым орудием гнуснейшей части нации, - покрытого золотом меньшинства, непрерывно ведущего заговор против массы”.⁵¹ Через месяц высокая оценка революционного правительства окончательно утверждена: “контрреволюция стала действительностью после 9 термидора, лучшие друзья народа были умерщвлены в этот роковой день, а до этого дня народ был счастлив и республика торжествовала”.⁵²

Теперь всем бабувистам ясно, что революционное правительство 1793-94 не только не было тиранией и полярной противоположностью народной власти, но, наоборот, было необходимым условием для достижения общего блага. Так как в руках народного правительства была сосредоточена главная масса

национального богатства, так как “продовольствие и торговля уже образовали две большие ветви общественного управления”, то “еще день, и общее благо и свобода были бы обеспечены”. Самая неудача дела общего блага была вызвана непониманием со стороны демократов необходимости революционной диктатуры. Совсем было победило дело человечества, но “к несчастью умы, пропитанные теориями свободного и мирного социального порядка, обычно с трудом усваивали природу чрезвычайной власти, необходимой для того, чтобы нация могла быть введена в полное обладание свободой”,⁵³ - это и вызвало роковой день 9 термидора.

Коммунизм должен был связаться с программой революции и диктатуры, чтобы стать вопросом практической политики. Но с другой стороны, сама эта политика революционной диктатуры получала логическое завершение и освобождалась от своих внутренних противоречий только в программе коммунизма. У бабувистов едва ли не впервые за весь период Великой революции “право на восстание” провозглашается без всякой формалистической конфузливости, без казуистической аргументации от “законности”, без убогих попыток укрыться за спиной “конституционных властей”. И уж во всяком случае впервые провозглашение восстания дополняется открытым провозглашением гражданской войны и народной диктатуры, как необходимого и законного продолжения восстания, как существа революции.

Если, готовя восстание, бабувисты еще заботятся об обосновании его “законности”, то это только из тактических соображений. Термидорианские законодатели, не решаясь еще открыто отказаться от идеи народного суверенитета, не решаются и отрицать прямо “право народа на сопротивление угнетению”. Им приходится с тем большей энергией запрещать “частичные восстания”, и бабувисты наперед знают, что “враги равенства попытаются поднять жителей департаментов против того, что они не преминут назвать нападением парижских разбойников на права суверена”.⁵⁴ Поэтому они заготавливают новую теорию, - вполне рациональную, впрочем, - что “право свергнуть тираническую власть природой вещей возложено на ближайшую к ней часть народа” и в свой официальный “Акт восстания” включают положение, что “вступить в бой с угнетением надлежит группе граждан, наиболее близких к угнетателям”.⁵⁵ На процессе бабувистов обвинение, действительно, охотнее всего оперировало статьей о “частичном восстании” и обвиняемые больше всего настаивали на законности их проекта парижского восстания в пользу всего народа.⁵⁶

Но по существу идеология бабувизма уже достаточно далека от подобной схоластики. Даже на дознании Бабеф на этот счет ограничился разъяснением, что “всякое восстание законно против нынешнего правительств”, а призывая к восстанию после организации тайной директории, в номере от 30 ноября 1795, он заранее предупреждал, “пусть мятеж будет частичным, общим, немедленным, отложенным. Мы в нем равно законны”, как бы ни готовили восстание, “массовое или групповое, тайно или в открытую, в 100000 тайных собраний или в одном, - не важно, лишь бы готовили восстание (pourvu que l'en conspire)”.⁵⁷

Решиться на такие призывы, решиться на открытое проповедование гражданской войны можно было только потому, что революция из эпизодического явления превратилась у коммунистов в необходимое заключительное звено классовой борьбы (или по крайней мере борьбы бедняков с богачами), - мы видели, что и из политических писателей XVIII века до призывов к войне внутри “нации” доходил тоже едва ли не один только Мелье, коммунист.⁵⁸ Если Бабеф говорит о законности “всякого” восстания против существующей власти, это у него не пустая фраза. В 1789 мир вступил в новую (после римских времен) полосу революций, в коммунизме они должны получить свое завершение. “Что такое политическая революция, вообще, и что такое, в частности, французская революция? Это открытая война между патрициями и плебеями, между богатыми и бедными”. “Эта война плебеев и патрициев или бедных и богатых налицо не только с того момента, как она объявлена. Она ведется непрерывно, она начинается с тех пор, как установлены учреждения, направленные к тому, чтобы одни забирали все, а другим ничего не оставалось”, - то есть, с момента возникновения классов, как сказали бы теперь.

На известном этапе такого развития скрытая классовая война неизбежно должна превратиться в войну открытую. “Когда существование большинства стало настолько тяжело, что оно не в состоянии больше терпеть, тогда-то обыкновенно и вспыхивает восстание угнетенных против угнетателей”.⁵⁹ Французская революция и представляет собой как раз такую эпоху, потому, что к 1789 “масса богатства всех оказалась поглощенной некоторыми”.⁶⁰ Как же можно обвинять кого-нибудь в разжигании гражданской войны, когда она все равно и без того существует! “Злодеи и невежды вы кричите, что нужно избегать гражданской войны, что нельзя бросать в народ пламя раздора?.. Но какая же гражданская война более возмутительна, чем та, в которой на одной стороне находятся все убийцы, а на другой их беззащитные жертвы?.. Не лучше ли гражданская война, в которой обе стороны взаимно могут обороняться? Пусть же обвиняют сколько угодно нашу газету в том, что она является факелом раздора. Тем лучше: лучше раздор, чем то ужасное согласие, при котором дают голодом”. Никогда французская революция не видела таких решительных - и таких обоснованных - призывов к восстанию, как те строки, которыми кончается этот номер газеты Бабефа: “Народные страдания достигли последней меры; хуже быть не может! Только всеобщим ниспровержением положение может быть исправлено!” “Пусть же все рухнет! Пусть все стихии возмутятся, столкнутся и смешаются! Пусть все вернется в хаос и из хаоса выйдет новый возрожденный мир!”⁶¹

Освободившиеся от всех добавочных трудностей, привнесенных идеологией в технику восстаний 1792-1794, бабувисты всю энергию могли направить на организацию этого “хаоса”. В противоположность иногда высказываемому мнению⁶² можно утверждать, что с точки зрения технической ни одно из удачных народных восстаний французской революции не было так продуманно и планомерно организовано, как Заговор равных.

Конечно, политический просчет с самого начала был страшный: история разгрома организации и суда показала, что бабувисты действовали в политической пустоте. Задавленные неслыханными лишениями, обескровленные и обезоруженные после трех неудачных восстаний, потерявшие свою секционную организацию, массы парижской бедноты едва ли могли выставить для еще одного восстания те 17000 революционных кадров, на которые рассчитывали заговорщики.⁶³ И все-таки ни путчем, ни сектантским движением эту попытку группы идеологов считать нельзя. Фактически бабувизм остался изолированным движением, ограниченным кругом амнистированных после вандемьерского восстания демократов, бывших агентов революционного правительства 1793-1794. Но по мысли идеологов заговора это был только его актив, его кадры. "Все убеждает нас, - писал Бабеф в инструкции агентам тайной директории, - что народ будет на многое способен, если только он увидит у себя во главе руководителей, вполне достойных его доверия".⁶⁴ По их замыслу революция в пользу равенства должна была быть массовым народным движением, теоретически рассуждая для нее имелись достаточные возможности и техника ее организации была превосходной, совершенно рациональной техникой.

Она не ограничивалась только узко организационной стороной дела. Бабувисты сознательно - и совершенно правильно - организовывали блок нескольких классов, втягивая в восстание всех возможных попутчиков из мелкой буржуазии. Хотя целью восстания является уничтожение частной собственности, - и чем ближе к восстанию, тем яснее становится победа чисто-коммунистического идеала над расплывчатым эгалитаризмом внутри повстанческого руководства, - однако в обращениях к массам о коммунизме, чем ближе к восстанию, тем больше предпочитают умалчивать.

Среди документов процесса сохранилась, например, инструкция к военным агентам заговора, в этой инструкции рекомендуется привлекать солдат не столько коммунизмом, сколько перспективой ограбления богачей. Позже "смотря по обстоятельствам можно будет избежать исполнения обещаний; во всяком случае, не слишком говорить об абсолютном равенстве, потому что шуанское начальство давно уже создало предубеждение против этой системы в умах военных".⁶⁵ Еще яснее эта политика по отношению к массам городской мелкой буржуазии. Последний номер газеты Бабефа заполнен протестами против обвинений в стремлении разрушить трудовую мелкую собственность. "Как будто все средние собственники (*toutes les fortunes ordinaires*) не должны были успокоиться после наших искренних заверений! Как будто мы не говорили всегда, что мы хотим разрушить только огромные состояния и укрепить все остальные!" Бабувисты хотят, наоборот; "оживить, укрепить мелкие лавочки и маленькие хозяйства", поэтому в их движении должны принять участие "большие массы, составленные не только из тех, кто уже ничего не имеет, но еще из всех тех, кто имеет среднее состояние, и из тех, у кого остались только обломки их состояний, разрушенных и разрушаемых каждый день в результате гнусной системы, которая ныне существует".⁶⁶

И организационные формы для этого движения бабувисты использовали полностью все фактически возможные и теоретически мыслимые. Приняв за основу совершенно правильно заговорщическую тактику, базируясь главным образом на нелегальной партии, они ведь, до последней возможности сохраняют легальную партийную организацию! Инсurreкционный комитет существует фактически с ноября 1795, но до самого марта следующего года главной базой его деятельности является общество Пантеона. Это массовая легальная организация, которая создана едва ли не самим правительством, которая по составу почти вполне буржуазна (как некогда и якобинский клуб), и в которой коммунисты оспаривают влияние у сторонников правительства и мелкобуржуазных демократов.⁶⁷ Она окончательно закрыта правительством только 27 февраля 1796. Только после этого, только с конца марта, деятельность бабувистов целиком уходит в подполье.⁶⁸

Приводные ремни от этих кадров революции к ее массам тоже организованы технически едва ли не лучше, чем это было перед 10 августа и 31 мая. Секционной организации трудящихся уже не существует, - бабувисты компенсируют ее сетью тайных, иерархически организованных агентов революционного центра. Учредительный акт тайной директории предусматривает, соответственно с числом парижских округов или "коммун" после введения в действие конституции III года, двенадцать первичных или основных агентов, которые сносятся с центром и друг с другом через агентов-посредников. Их задача - организовать в своем округе "одно или несколько собраний патриотов, поддерживать и направлять там общественное мнение", разоблачать агентов правительства, присматривать дельных патриотов и подбирать революционные кадры.⁶⁹ Инструкция тайной директории к этим агентам очень толково разъясняет им необходимость и правила конспирации.⁷⁰ Напр., методы организации партийных ячеек излагаются так: агенты должны "учреждать, организовывать и направлять желательные нам клубы с таким видом, как будто они ничего не учреждают, не организуют и не направляют; даже... следует не столько стараться порождать новые организации, сколько устанавливать наши ячейки на уже существующих старых базах и из старых элементов. В некоторых округах вы имеете кофейни, где уже обычно собираются патриоты: старайтесь просто привлечь их туда в большем числе и более часто. Тем не менее старайтесь скорее увеличить число этих мест собраний, чем заполнять их массой, слишком значительной, чтобы все могли там знать друг друга"...⁷¹

Пока что дело агентов - не столько возбуждать, сколько удерживать патриотов от преждевременных выступлений. Те же инструкции рекомендуют "принять в соображение, что если настроение народа готово, то у солдат это не так... Нужно время, чтобы раскрыть глаза (*desabuser*) нашим вооруженным братьям".⁷² Несмотря на то, что "патриоты и народная масса рвутся в бой (*demandent a grands cris bataille*)", объясняет новая инструкция уже незадолго до развязки, центр, "окинув взглядом свои ресурсы, убедился, что они недостаточны, так что долг заставляет остановить патриотический порыв, который может стать сигналом для истребления демократов". Эти соображения нисколько, конечно, не противоречат основам революционной тактики: "мы знаем, что в восстании нужно дерзать, что нужно быть, так сказать, более, чем отважным".⁷³

Непредвиденные волнения в “Полицейском легионе”, - военной единице, учрежденной термидорианцами из деревенщины против парижских рабочих-санкюлотов, - заставляют повстанческое руководство спешно организовать сеть “военных агентов” и заняться усиленной пропагандой в войсковых частях. Инструкция к военным агентам указывает искусные приемы возбуждения солдат посредством описания “их интересов применительно к их нынешнему положению и к их будущей судьбе” и обещания “счастливейшей судьбы, полного изобилия на другой день” после восстания.⁷⁴ Пока что и в работе среди солдат “распространение листовок является основным средством, на которое приходится рассчитывать”, - денег у тайной директории мало; она обещает снабдить военных агентов “всеми другими средствами действия (*moyens d'agir et de faire agir*), помимо листовок, когда понадобится”,⁷⁵ а пока намерена довести выпуск специальных прокламаций до одной в день.

Когда подготовка к восстанию будет сочтена законченной, тайная директория торжественно призывает к оружию парижский народ. Заранее заготовленный “Акт восстания” предписывает гражданам при звуке набата и труб собраться “при оружии или, за неимением оружия, со всеми прочими орудиями нападения” в определенных местах и стать под начальство заранее описанных “народных генералов”. Вооруженные кадры восстания должны охранять барьеры и речные переправы, а также стать авангардом иррегулярных масс. Операция рисуется в общих чертах по образцу всех парижских восстаний 1792-1795: от предместий колоннами к Тюильри и сверх того к казначейству, почте и министерствам. Всякого рода съестные припасы будут вынесены на площади для повстанцев, “все булочки будут объявлены под реквизицией для непрерывной выпечки хлеба, который будет бесплатно распределяться среди народа; они будут потом оплачены по их декларациям”.⁷⁶

Целью восстания тот же акт провозглашает “восстановление конституции 1793, свободу, равенство и общее благо”. В чрезвычайном порядке осуществление последнего начинается тут же, в процессе восстания. Немедленно же принадлежащие народу вещи, заложенные в ломбардах, будут ему бесплатно возвращены, немедленно “обездоленные со всей республики” будут вселены в дома контрреволюционеров, а все имущества “эмигрантов, заговорщиков и всех врагов народа безотлагательно распределены между защитниками отечества и обездоленными” и т.п.⁷⁷

Сейчас легко говорить о “бумажном” и “наивном” характере этого восстания,⁷⁸ - особенно, когда знаешь, что оно задавлено было в самом начале. Но ведь и перед 10 августа расклеивались прокламации с подробным описанием движения секционных колонн,⁷⁹ - это ведь еще не сделало свержения монархии бумажным и наивным. Не следует к тому же забывать, что планы бабувистской директории были *первой* попыткой революционной организации в нелегальных условиях, попыткой, на которой учились потом и Бланки, и пролетарские революционеры XIX века. Самое интересное в бабувизме, впрочем, отсюда только и начинается. “Тотчас после свержения тирании, парижский народ должен собраться на площади Революции на общее собрание. Там тайная директория сдаст ему отчет о своей деятельности... напомним ему те выгоды, которые он вправе ожидать от конституции 1793 и предложит одобрить повстанческий акт. Наконец, восставшему народу будет предложено немедленно создать временную власть, уполномоченную завершить революцию и управлять вплоть до введения в действие народных учреждений”.⁸⁰ Хотя лозунгом восстания и является конституция 1793, однако, ни одной минуты бабувисты не думают о немедленном введении ее в действие, ни в одном документе нельзя найти и намека на такую возможность. Для бабувистов их революция не кончается на восстании, скорее наоборот, она от восстания только и начинается, и политическая диктатура как раз представляет собой самую ее суть.

Что такое самое восстание, как не начало применения методов политической диктатуры трудящихся! При господстве свободы, поучает тайная директория своих агентов в первой инструкции, “никто не может предпринимать чего-либо, относящегося к общему интересу, не спросивши мнения всего народа и не получивши его согласия”. Другое дело в условиях тирании. “Тогда справедливо и необходимо, чтобы наиболее смелые, наиболее способные к самопожертвованию... по собственной инициативе облекли себя диктатурой восстания (*d'eux-memes ils s'investissent de la dictature de l'insurrection*) чтобы они овладели инициативой... чтоб они возвели себя в должность магистратов-спасителей своих сограждан”.⁸¹ И как бы там ни было с осуществлением лозунга? восстания, т. е. с введением демократии, - а мы сейчас увидим, что с этим дело обстоит не так просто, - повстанческий комитет в строках, выделенных курсивом, оповещает своих агентов, что он намерен сохранить свои полномочия, “пока весь народ не будет совершенно счастлив и спокоен”.⁸²

Итак, по мысли заговорщиков, демократическая конституция вводится. во всяком случае, не сразу после восстания; ей будет предшествовать период временной революционной власти. Природа этой власти, по-видимому, занимает бабувистов лишь как вопрос тактики. Единоличная диктатура, рекомендовавшаяся бывшим марафонцем Дебоном (или Бедоном, как он именуется анаграммой в первом издании книги Буонарроти) и Дартэ, отвергнута, но, как уже выше было показано, совсем не по принципиальным соображениям. Тайная директория “не то что не признавала истинности мотивов, приводимых в пользу диктатуры”, но просто опасалась связанных с нею технических трудностей, особенно “общего предубеждения, которое казалось невозможным победить”.⁸³

Так же в конце концов отвергнута та организация временной власти, на которой усиленно настаивали якобинские попутчики, - созыв остатков Конвента, т.е. фактически правление 68 бывших монтаньяров, попавших в проскрипцию. Обеспечить себе союзников справа настолько важно для бабувистов, что они очень долго не решаются начисто отказаться от этого проекта. Но когда компромисс все-таки не удается, бабувисты отвергают якобинский проект с формулировкой, показывающей, как хорошо они научились отличать тактические вопросы от программных. Тайная директория решает, что нельзя передоверять руководства подозрительным революционерам только из-за “довольно сомнительной выгоды видимой законности, с помощью которой надеялись смягчить озлобление и победить сопротивление”.⁸⁴

Наиболее естественным, как будто, был бы проект вручения временной диктаторской власти тому органу, который постоянно осуществлял эту функцию в течение предшествующих лет, - парижской коммуне. Такая идея, т. е. идея восстановления остатков эбертистской коммуны, действительно промелькнула в переписке Бабефа с Бодсоном - на нее ссылается редактор второго издания книги Буонарроти А. Ранк.⁸⁵ Но технически осуществить преемственность было едва ли возможно, поэтому бабувисты предпочли создать подобную же организацию власти, только новым путем. Парижский народ, собранный сразу после восстания на самой большой площади, должен был, как мы видели, вручить какому-то учреждению "заботу о завершении революции". Этим учреждением оказывалось "национальное собрание, составленное из демократов, по одному от каждого департамента, которых назначит восставший народ по представлению повстанческого комитета".⁸⁶ Этому-то собранию и будет поручено "самое большее в течение года" (!) "усовершенствовать конституцию 1793, приготовить возможности для ее быстрого осуществления и обеспечить французской республике посредством мудрых институтов неизменное равенство, свободу и благополучие".⁸⁷

Таким образом за всю Францию выборы производит только "парижский народ", т.е. повстанцы, да еще по представлениям повстанческого комитета, который к тому же намерен продолжать свое существование до тех пор, пока "весь народ не будет совершенно счастлив". Все это с формальной точки зрения очень недемократично, но что же делать: заговорщики уверены, что "народ, так странно удаленный от естественного порядка, почти неспособен произвести сам полезные выборы и нуждается в чрезвычайных мерах, чтобы оказаться в таком состоянии, когда он сумеет действительно, а не фиктивно осуществлять полноту суверенитета".⁸⁸ Другими словами, бабувисты намерены продолжить восстание режимом диктатуры, политической формой которой фактически должна стать, "избранная парижским народом повстанческая коммуна, то есть власть, функционировавшая после падения короля".⁸⁹

Итак, революция в пользу равенства не кончается немедленным введением в действие конституции 1793. Более того, можно опасаться, что этой конституции, вообще, не суждено стать "завершением" революции. В самом деле, если конституция 1793 является лозунгом революции бабувистов, то целью ее является коммунизм. Бабувисты знают, что организация общества на коммунистических началах это длительный процесс, и очень похоже, что к тому времени, как собрание 84 департаментских демократов выпустит улучшенное издание политической демократии, ее благами сумеют пользоваться уже только те "граждане", которые не окажутся разжалованными в "иностранцы".

Удельный вес политической демократии вообще значительно снизился, потому что собственные ее блага, без экономического равенства, для бабувистов уже не существуют, а обязательность ее, как переходного периода к коммунизму, тоже находится под сильным сомнением. Лихтанберже вскользь отмечает, что из материалов процесса явствует, будто "Жермен и некоторые другие считали восстановление конституции 1793 достаточным средством для постепенного введения равенства".⁹⁰ Если это и так, то во всяком случае не для всех заговорщиков и не на всех стадиях Заговора. В номере от 30 ноября 1795 Бабеф писал так: "Ошибаются те, кто думает, что я только и стараюсь, что для замены одной конституции другой. Мы гораздо больше нуждаемся в учреждениях, чем в конституциях. Конституция 1793 только потому заслужила одобрение всех благомыслящих людей, что она подготавливает дорогу для учреждений". Вопрос ставится даже так: "оснуем сначала хорошие, плебейские учреждения, и будем уверены, что после этого появится и хорошая конституция".⁹¹

Заговор равных, по замыслу его руководителей, это всерьез коммунистическое движение, оно имеет детально продуманный план коммунистического переустройства общества и историческое его значение в том-то как раз и состоит, что впервые в нем практически была поставлена проблема организации коммунизма. Именно здесь лежит и основное историческое значение якобинской диктатуры: впервые в истории указанные методы практического разрешения проблемы коммунизма были целиком определены опытом якобинской диктатуры.

Влияли на бабувизм и экономическая, и политико-организационная стороны якобинского опыта. Первое влияние было скорее негативным: опыт 1793-1794 убеждал, что фактическое равенство при условии сохранения института частной собственности недостижимо. Уже на первых собраниях у Амара констатировалась эта внутренняя порочность чистого эгалитаризма. Революционное правительство, подчинив себе "жадность и богатства", управляя народным хозяйством посредством такс и реквизиций, сосредоточив в своих руках огромную долю национального дохода, совсем уж, было, стало единственным собственником в стране. Но неупраздненная собственность взяла верх, за спиной у власти богачи продолжали наживаться и, наконец, свергли неподкупного Робеспьера.

Вообще, "реквизиции, таксы, революционные налоги оказывались с пользой употребленными для удовлетворения неотложных нужд момента", не больше. Для уничтожения богатств вообще, они были недостаточны, потому что "сохранение права собственности постоянно снабжает тысячью способов преодолеть все препятствия". И как нормальный порядок они немислимы: "они никогда не смогут стать составной частью привычного (*habituel*) общественного порядка, не подрывая его существования, так как... они повлекли бы за собой серьезное и непоправимое затруднение, именно истощение источников воспроизводства, отнимая у собственников, на которых остаются издержки производства, поощрение пользованием продуктами его".⁹²

Поэтому единственный верный путь для установления "фактического равенства" и общего благополучия это не уравнение собственности, а упразднение собственности. Эгалитаристская и коммунистическая политика, почти не отделявшиеся в идеологии XVIII века, у бабувистов едва ли не впервые оказываются резко противопоставленными. В Манифесте равных Сильвэн Марешаль называет

клеветниками людей, утверждавших, будто бабувисты “только воспроизводят тот аграрный закон, которого не раз требовали и до них”. Он подробно разъясняет им разницу: “Аграрный закон или земельный передел был мимолетным желанием некоторых чуждых принципам солдат, некоторых народностей движимых скорее инстинктом, чем разумом. Мы стремимся к чему-то более возвышенному и более справедливому, к общему благу или общности имуществ (le bien commun ou la commune des biens)! Долой частную собственность на землю, земля ничья! Мы требуем коммунального пользования продуктами земли: продукты принадлежат всем”.⁹³ Бабеф в своей газете тоже подтверждает, что он требует не аграрный закон, а “нечто большее”, потому что против аграрного закона могут с полным основанием возразить, что он “может длиться только один день, что на следующий же день после его установления снова покажется неравенство”.⁹⁴

Итак революция в пользу равенства задачей имеет реорганизацию общества на коммунистических началах. Конкретные методы разрешения этой задачи впервые в истории даны бабувистами: в то время, как, для Морелли и всех вообще предшествующих идеологов коммунизма их дело кончается на общих положениях, для бабувистов оно отсюда, главным образом, только и начинается. Прежде всего им ясно, что коммунистическое переустройство общества - вопрос не одного дня и не декретного порядка. Повстанческий комитет никогда не думал сделать коммунизм “предметом приказа на другой день после победы”, по его намерениям “законодатель должен вести себя таким образом, чтобы определить весь народ по собственной нужде и выгоде к отказу от собственности”.⁹⁵ Для этого нужны особые методы, не укладывающиеся в рамки политического законодательства.

Заимствуя формулы Сен-Жюста и якобинской диктатуры, Бабеф говорит о необходимости “учреждений” независимо от “конституций”. Конституция будет существовать само собой и общество строящегося коммунизма будет по-прежнему иметь парламентскую организацию, на усердие и творение якобинцы потратят довольно много бесплодных усилий. Бабеф так же, как и якобинцы, конечно, принципиальный сторонник прямого народоправства, так же как и якобинцы, он сознает его неосуществимость и так же не видит иной возможности политического общенационального объединения, кроме как в парламенте. Здесь остается прежний порочный круг, и поскольку Бабеф еще последовательнее, чем Робеспьер в требованиях прямой демократии, - ведь он считает, что даже конституция 1793 “не достаточно гарантирует народ от узурпации законодательного корпуса”,⁹⁶ - постольку его проекты политических усовершенствований еще больше пропитаны формалистическим анахронизмом.⁹⁷ Бабувисты, впрочем, сами признавали, что по этой части у них “все оставалось неопределенным, кроме реального страха узурпации центрального собрания”.⁹⁸ Эти политические проекты бабувистов неинтересны еще и потому, что, в противоположность якобинцам, Бабеф совсем не в них усматривает центр тяжести работы законодателя: ведь “с точки зрения повстанческого комитета благо и свобода зависят гораздо больше от поддержания равенства и от привязанности граждан к тем учреждениям, которые его устанавливают, чем от разделения властей”.⁹⁹ Центр тяжести своей работы бабувисты видят не в конституции, а в “учреждениях”, там-то и будет создаваться коммунизм.

Нельзя проще и ярче представить себе, как ставилась проблема коммунистической реорганизации общества в 1796, как сравнив тогдашние условия с условиями строительства социализма в наше время. Та постановка вопроса, которая характеризует научный коммунизм и современную нашу практику, не могла даже в голову придти бабувистам. В 1796 по-прежнему, как и в 1793, не было ни объективных, ни субъективных условий для того, чтобы сосредоточить в руках пролетарского государства легко поддающиеся национализации и экономически решающие отрасли производства, а затем, опираясь на эти командные высоты, вовлечь в орбиту социализма необобществленный сектор хозяйства. Преобразовательный план Бабефа должен был строиться на совсем иных основаниях, и вот тут едва ли не важнейшим из них стал политический опыт якобинской диктатуры, - ее муниципальная организация.

В недрах “политического общества”, организованного по усовершенствованной конституции 1793, должна была по мысли бабувистов существовать, расти и наконец целиком его поглотить независимая социальная организация нового типа. Это и была разросшаяся система “республиканских учреждений” Сен-Жюста и муниципальной организации 1793-4, от которой она заимствует и название: федерированные коммуны революционного правительства превратятся в “национальную коммуну” (la grande commune nationale).

Национальная коммуна учреждается особым актом тотчас после переворота, как организация, располагающая огромными материальными ресурсами, едва ли не крупнейшей частью национального дохода. Проект учредительного акта перечисляет одиннадцать статей ее дохода, из которых достаточно указать на имущества врагов революции, предусмотренных вантозскими декретами и судебными приговорами, национальные имущества, “которые не были проданы до 9 термидора”, и имущества умирающих граждан: права наследования отменены.¹⁰⁰ Членами коммуны немедленно становятся, кроме немощных старцев и питомцев воспитательных домов, “всякий француз, который сдает отечеству все свое имущество и посвятит ему свой труд и свою личность”. Этим на первых порах обеспечивался, как в нашей литературе правильно отмечалось, классово-однородный санкюлотский состав коммуны. Вступать в коммуну станут те, кто немного может потерять, расставшись со своей собственностью, и в общинном производстве получить рассчитывает больше,¹⁰¹ - хотя бы ту “для всех равную и почетную умеренность”, которую коммуна ему обещает.¹⁰²

Нельзя сказать, что национальная коммуна будет иметь пролетарский характер. Повстанческий комитет во всей своей деятельности ориентируется не на пролетариат, а на “бедноту”, и в коммуну он намерен призвать прежде всего “мелких собственников, небогатых торговцев, поденщиков, земледельцев, ремесленников - всех обездоленных, которых наши порочные учреждения осуждают на жизнь, полную забот,

лишений и бедствий”.¹⁰³ Так во всяком случае получится организация антикапиталистических сил, которую робеспьеристы думали создать своим вантозским законодательством; и классовое направление ее политики обеспечивается устранением капиталистического фермента внутри ее самой.

Теперь весь вопрос только в том, как эта организация будет бороться с капитализмом вне ее пределов, как она намерена в рамках конституции 1793 распространить свое влияние на всю страну. Это - основная забота будущего законодательства бабувистов.

Оказывается, они намерены в первой же прокламации после восстания пригласить богатых “добровольно внять властному требованию справедливости, сохранить отечество от раздоров, а себя самих от длинной цепи, злключения и ограничить себя самым необходимым, великодушно сдав свои излишки народу”.¹⁰⁴ Проект экономического декрета также предусматривает приглашение “честных граждан содействовать успеху реформы посредством добровольной сдачи их в коммуну”.¹⁰⁵

Надо очень заметить, что этот призыв к буржуазному великодушию со стороны бабувистов не совсем аналогичен обычным методам воздействия на буржуазию у классиков утопического коммунизма. Повстанческое руководство имеет некоторые реальные основания думать, что буржуазии придется “ограничиться необходимым и великодушно сдать излишки народу”. Опираясь таким могущественным (и экономически, и политически) орудием, как национальная коммуна, бабувисты могут вынудить “великодушие” у буржуазии, которая “не может доставить себе ни удовольствий, ни услуг, которая обременена тяжестью прогрессивного налога, отстранена от общественных дел, лишена всякого влияния, презираема всеми и образует теперь в государстве только подозрительный класс иностранцев”.¹⁰⁶

Строительство коммунизма, в самом деле, предполагает с точки зрения бабувистов ряд не только экономических, но и чисто политических мероприятий, и их-то совокупность и позволяет говорить о периоде строительства коммунизма в концепции Бабефа, как о периоде диктатуры трудящихся. Проект “экономического декрета” повстанческий комитет дополняет проектом “полицейского декрета”, а по этому последнему выходит, что благами чистой демократии будут пользоваться едва ли не только участники “великой национальной коммуны”.

Политическими правами по этому декрету наделяются только те французы, которые “служат отечеству полезным трудом”, главным образом трудом физическим. Все прочие французы объявляются “иностранцами, которым республика оказывает гостеприимство. Бабувисты рассчитывают, что массы этих “иностранцев” будут постепенно, так сказать, вращаться в их коммунистическую организацию, и предусматривают институт “кандидатов на права гражданства для вступающих в национальную коммуну”. Но одновременно они имеют основания и опасаться враждебных действий со стороны нетрудовых элементов, и обеспечивают строящуюся коммуну мерами политической охраны. Этим мерам и посвящен весь “полицейский декрет”, а отчасти и декрет экономический.

Прежде всего, все “граждане” должны быть вооружены, состоять в национальной гвардии, находящейся под непосредственным управлением революционных комитетов, и выделить особые части в постоянные лагеря в двенадцати пунктах республики с целью “поддерживать спокойствие, покровительствовать республиканцам и оказывать содействие реформе”. Наоборот, “иностранцы должны под страхом смертной казни сдать свое оружие революционным комитетам”.¹⁰⁷ Экономический декрет тоже содержит угрозы “суровыми наказаниями”, например, если кто-нибудь из них “будет уличен в предложении денег члену коммуны”.¹⁰⁸

Карательная политика целиком подчинена классовому началу. Полицейский декрет предусматривает превращение пяти изолированных островов в концентрационные лагеря, находящиеся под непосредственным ведением центральной власти: “туда будут ссылаться для принудительных работ подозрительные иностранцы и лица, арестованные в силу прокламации к французам” (т.е. агенты Термидора и Директории).¹⁰⁹

Главный интерес, однако, лежит не в этих карательных мерах против будущих “иностранцев”: эти меры естественно выработались бы сами собой в ходе классовой борьбы и в подробном изложении их заранее можно, пожалуй, действительно усмотреть нечто вроде бумажного педантизма заговорщиков. Гораздо интереснее, что революционное руководство заранее объявляет о лишении политических прав всех нетрудящихся. В самом деле, “доступ в первичные собрания иностранцам запрещен”, они не могут занимать никаких общественных должностей и “находятся под непосредственным наблюдением верховного управления, которое может их выселить за пределы их обычного места жительства”.¹¹⁰

Этот порядок, явно противоречащий “чистой демократии” по редакции 1793, не является, однако, как у нас иногда ошибочно полагают, чисто временной мерой, ограниченной, например, тем годом, в течение которого департаментские демократы должны выработать улучшенное издание конституции. По крайней мере ни одного указания на такое понимание бабувистами классовой политики в сохранившихся документах обнаружить нельзя. Наоборот, есть некоторые указания прямо противоположного характера. С течением времени политические права будут переноситься со всех трудящихся только на членов коммуны, - об этом прямо говорят и полицейский, и экономический декреты. “Особый закон определит эпоху, в которой никто не, сможет осуществлять права гражданства, если он не является членом национальной коммуны”,¹¹¹ и начиная с такой-то даты (дата пока не указана) “никто не может занимать гражданской или военной должности, если он не является членом этой коммуны”.¹¹²

По-видимому, “чистой демократии” в виде конституции 1793 суждено навсегда остаться демократией для господствующей социальной группы, - для членов коммуны. Пока существуют враждебные им группы и, значит, продолжается классовая борьба, распространение благ демократии на всех французов невысказано. Разрешаться же это “ненормальное”, то есть революционное, состояние должно с точки зрения бабувистов

не в “чистой демократии”, а в чистом коммунизме: после образования коммуны “нация стала бы существовать только в членах коммуны, но все заставляло повстанческий комитет думать, что коммуна не замедлила бы слиться со всей нацией”.¹¹³ Тогда проблема демократии, т. е. политическая проблема, оказалась бы, собственно, сама собою решенной, - это ясно из тех же документов бабувистского заговора.

Тут не следует только преувеличивать значения внешности, терминологии эпохи. Люди XVIII века, бабувисты так же не представляли себе “общества” вне “государства”, как верили в естественный порядок национальных границ и как преувеличивали значение идеологии. Манифест равных, сочиненный Сильвэном Марешалем, был ведь забракован тайной директорией не только за упразднение изящных искусств, но и за упразднение “возмутительных разделений на управляющих и управляемых”.¹¹⁴ Упразднение власти у недавнего эбертиста Марешала означало едва ли не будущий мелкобуржуазный “регионализм”, - превращение Франции в совокупность мелких производственно самостоятельных коммун. Бабувисты отвергли манифест, потому что они - сторонники крупного производства “с машинами и способами, облегчающими труд людей”,¹¹⁵ производства, организованного в огромную общенациональную коммуну. Эту коммуну они не мыслят без политических форм. Она имеет и “верховное управление”, совпадающее с государственной властью, и муниципалитеты, и департаменты, и даже новую посредствующую власть над департаментами - округа (regions). Но эта будущая власть национальной коммуны с полной очевидностью принципиально отличается от всех властей, которые были известны Франции до сих пор.

Дело здесь даже не столько в том, что эта власть последовательно демократична, - основана на выборах во всех своих звеньях, постоянно сменяема и получает содержание “равное содержанию всех членов национальной коммуны”.¹¹⁶ Дело заключается больше в другом. Эта власть, во-первых, не только не противостоит больше обществу, как самостоятельная сила, но почти без остатка растворилась в обществе, - “великая национальная коммуна управляется местными уполномоченными (par des magistrats locaux) по выбору ее членов”.¹¹⁷ И, во-вторых, функции этой власти почти целиком переместились из управления людьми в управление вещами.

Карательная деятельность коммунальной власти - функция преходящая, она прекратится, пожалуй, еще раньше, чем национальная коммуна окончательно “сольется со всей нацией”, пожалуй уже тогда, когда “счастливая перемена воззрений” скажется в результате существования коммуны. И тогда, - если отвлечься от управления вооруженными силами, которые придется сохранять едва ли не постоянно, - у “государства” коммуны вовсе не остается принудительных функций. Это должны были заметить сами бабувисты, когда перечисляли предметы его занятий речь приходится все вести о техническом наблюдении за процессами производства, о связях между разными районами производства, об обмене продукцией, об организации внешней торговли и т.п.¹¹⁸ Вместо государства, управляющего обществом, здесь речь идет об обществе, управляющем своим производством

Такую картину коммунизма и его организации можно представить по немногим сохранившимся документам заговора равных, главным образом по фрагментам экономического и полицейского декретов Конечно, все это только проекты и отрывки проектов, но на их основании картина создается достаточно цельная и, при всей своей архаичности, не утерявшая свежести до сих пор Бабувисты имели продуманный и достаточно стройный план коммунистического переустройства общества Трудно понять, чем руководился А.Матье, определяя этот план, как “поспешную постройку, нечто в роде импровизированной мозаики” или как “заимствования торопящегося журналиста, приготовленные под монтаньярским соусом - с казармой в виде идеала и террором в виде средства осуществления”.¹¹⁹ Гораздо ближе к действительности был старый либерал, который, считая, что теория коммунизма, изложенная в 1828 у Буонарроти, в 1796 еще “не достигла несомненно ясности и определенности”, при этом прибавлял: “Все-таки несомненно, что основные положения и принципы были уже тогда определены в подобном духе, это - первый систематический коммунизм, пытавшийся осуществить себя в жизненной практике, последний систематический вывод из эгалитарного принципа”.¹²⁰

Для нас важно, что именно в этой “торопливой постройке”, оставшейся на бумаге, величественное здание якобинской диктатуры, существовавшее в действительности, получило свое естественное завершение. Бабувизм указал пути разрешения безвыходных внутренних противоречий мелкобуржуазной диктатуры и только через бабувизм якобинские методы, преобразованные в методы пролетарской диктатуры, сохраняют значение до сих пор. На заре рабочей революции в России было, ведь, даже сказано, что пролетарский революционер это и есть “якобинец, неразрывно связанный с организацией пролетариата, сознавшего свои классовые интересы”.

1 Moniteur du 4 mai 1793, № 124; t.XVI, p.289

2 Цит. у A.Lichtenberger, Le socialisme et la Revolution francaise, 1899, p.122.

3 Societe des Jacobins, t.V, pp.633, 613.

4 Ibid., p.633-4.

5 Ibid, pp.612, 630.

6 J.Jaures, Histoire socialiste de la Revolution francaise, 1923, t.V, pp.14, 103, 139.

7 Moniteur, t.XIX, pp.631, 683.

- 8 Fragments sur les institutions republicaines; Oeuvres de Saint-Just, 1908, t.II, pp.498. 508, 529-30.
- 9 *J.G.Fichte*, Der Geschlossene Handelstaat; Werke, Bd.III, SS.34, 35, 47, 59, 67, 90, 96-8, 122-3.
- 10 *J.Michelet*, Histoire de la Revolution francaise (pub. J.Rouff, s.d.) t.III, p.1720.
- 11 *A.Mathiez*, La reorganisation du gouvernement revolutionnaire; Annales historiques de la Revolution francaise, 1927, № 19, p.60-1.
- 12 Oeuvres de Saint-Just, t.II, pp.494, 508.
- 13 Projet de constitution pour la Corse; Oeuvres et correspondances inedites de J.- J.Rousseau publiees par Streckeisen-Moultou, 1861, p.113.
- 14 *L.Stein*, Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich, 1921, Bd.I, S.364.
- 15 *Ф.Энгельс*, Праздник народов в Лондоне; Соч. Маркса и Энгельса, т.V, с.41
- 16 *А.Лабриола*, Реформизм и синдикализм, р.п. 1907, с.41.
- 17 Срв. *Ленин*, Соб.соч. 1923-5, т.XIV, ч. II, сс.354, 367, 369; т.XV, сс.457, 450, 480, 609-10; XVII, с.353 др.
- 18 Речь Сен-Жюста 15 мая 1793; Moniteur, t.XVI, p.396,
- 19 Доклад Эро-Сешеля 10 июня 1793; Moniteur, t.XVI, p.617.
- 20 Moniteur, t.XVIII, p.475.
- 21 Societe des Jacobins, t.V, p.248.
- 22 *Ph.Buonarroti*, Conspiration pour l'egalite dite de Babeuf, 1828, t.I, pp.28, 90-1; ср. *V.Advielle*, Histoire de Gracchus Babeuf et du Babouvisme. 1884, t.I, p.173.
- 23 Moniteur du 30 juin 1795, № 282; t.XXV. p.92.
- 24 *A.Mathiez*, La Reaction thermidorienne, 1929. p.282.
- 25 Срв. *A.Lichtenberger*, Le socialisme et la Revolution francaise, 1899, pp.69-71. 76, 79.
- 26 *A.Aulard*, Histoire politique de la Revolution francaise, 1913, p.28; ср. *A.Mathiez*, La Revolution francaise, 1925, t.I, pp.114, 123.
- 27 Срв. *Е.В.Тарле*, Рабочий класс во Франции в эпоху революции, 1909 I, с.с. 214, 224, 246; *J.Jaures*, Histoire socialiste de la Revolution francaise, 1923-4, t.VI, pp.16, 64, 123; t.VII, pp.334-5; *A.Mathiez*, La vie chere et le mouvement social sous la Terreur, 1927, pp.218 -19, 287-8.
- 28 Moniteur, t.XXV, p.632.
- 29 Moniteur, t.XXV, p.93.
- 30 Moniteur, t.XXV, pp.84, 91, 92,
- 31 *A.Aulard*, Histoire politique de la Revolution francaise, 1913, p.514.
- 32 Ibid., p.511.
- 33 Moniteur du 11 fructidor l'an III, № 341; t.XXV, p.581.
- 34 Moniteur du 2 juin 1795, № 254: t.XXIV, p.578.
- 35 Moniteur du 30 germinal l'an III, № 210; t.XXIV, p.237.
- 36 *A.Aulard*, Histoire politique de la Revolution francaise, 1913, p.517; ср. *A.Mathiez*, La Reaction thermidorienne, 1929, p.81.
- 37 *A.Aulard*, Histoire politique de la Revolution francaise, p.567.
- 38 *G.Deville*, Thermidor et Directoire. Histoire socialiste (pub. J.Rouff. s.d.), t.V, p.132.
- 39 Moniteur, t.XXV. p.p.101, 91, 106, 90-1; Moniteur, t.XIX, p.402.
- 40 Moniteur du 4 germinal l'an III, № 184; t.XXIV, p.3?.
- 41 Moniteur du 7 thermidor l'an III, № 307; t.XXV, p.292.
- 42 Le Tribun du peuple du 15 brumaire l'an IV, № 34, p.46.
- 43 Срв. *G.Deville*, Thermidor et Directoire (s.d.), pp.304, 315; *Е.В.Тарле*. Рабочий класс во Франции в эпоху революции, 1911, II, сс.503. 507, 517, 523; *П.П.Щеголев*, Бабеф и заговор равных, 1927, с.201; *A Mathiez*, Le Directoire. - Revue des cours et conferences 1929, № 13, p.453.
- 44 *A.Mathiez*, Le Directoire; Revue des cours et conferences 1929, № 13, p.453, № 15, p.620.
- 45 Срв. *A.Mathiez*, La Reaction thermidorienne, 1920, pp.89, 91, 96
- 46 *G.Babeuf*, Du systeme de depopulation ou la vie et les crimes de Carrier etc., Paris 1'an III, pp.32-3, 161.
- 47 Ibid., pp.25-31, 103-8, 175.
- 48 Journal de la liberte de la presse du 26 fructidor 1'an II. № 5, p.4.
- 49 Du systeme de depopulation etc, pp.12, 110.
- 50 Ibid., p.33.
- 51 Le Tribun du peuple du 15 brumaire 1'an IV, .№ 34, pp.14, 17.
- 52 Le Tribun du peuple s.d. № 38, p.163.

- 53 *Ph.Buonarroti*, Conspiration pour l'egalite dite de Babeuf, 1828, t.I, p.41-2
- 54 *Ibid.*, t.I, p.137.
- 55 *Ibid.*, t.I, p.138, t.II, p.247.
- 56 Срв. Defense general de Gracchus Babeuf; *V.Advielle*, Histoire de G.Babeuf et du babouvisme, 1884, t.II, pp.143-4, 226; *Buonarroti*, op.cit., t.II. pp.39, 42.
- 57 *Le Tribun du peuple*, № 35, p.107.
- 58 *Jean Meslier*, Testament, 1864, t.I, pp.18-19, t.III, pp.314, 377, 387, passim.
- 59 *Le Tribun du peuple*, № 34, pp.11, 13.
- 60 *Le Tribun du peuple*, № 35, p.84-5.
- 61 *Ibid.*, pp.106, 117.
- 62 Срв. *A.Mathiez*, Le Directoire; *Revue des cours et conferences*, 1929, № 15, p.609.
- 63 *Buonarroti*, op.cit, t.1, p.189.
- 64 *Ibid.*, t.II, p.115.
- 65 Цит. у *A.Lichtenberger*, op.cit., p.141.
- 66 *Le Tribun du peuple* du 5 floreal 1'an IV, № 43, pp.302, 304.
- 67 Срв. *A.Mathiez*, Le Dircoctoire; *Revue des cours et conferences*, 1929 № 11, pp.197, 199, 201; № 13, pp.458, 466.
- 68 *Buonarroti*, op.cit.t.I, pp.107, 114.
- 69 *Ibid.*, t.II, pp.109, 111, 112.
- 70 *Ibid.*, t.II, 116-17.
- 71 *Ibid.*, pp.124-5.
- 72 *Ibid.*, pp.127, 163-4.
- 73 *Ibid.*, p.264-5.
- 74 *Ibid.*, pp.166-71, 172.
- 75 *Ibid.*, p.162-3.
- 76 Acte d'insurrection; *ibid.*, pp.249-51.
- 77 *Ibid* , pp.218. 252-3.
- 78 *A.Mathiez*, Le Dircoctoire; *Revue des cours et conferences*, 1929, № 15, p.609.
- 79 См. *F.Braesch*, La Commune du Dix aout, 1911, pp.182, 192.
- 80 *Buonarroti*, op.cit, t.I, p.156.
- 81 *Ibid.*, t.II. pp.113-14.
- 82 *Ibid* , p.268.
- 83 *Ibid.*, t.I. p.140; cp.Defense generate de G.Babeuf - *V.Advielle*. Histoire de G.Babeuf et du babouvisme. 1884, t.II. pp.120-4.
- 84 *Ibid.*, t.I, pp.136, 92-3, 171-7, 182-3; t.II, pp.266-9, 271.
- 85 Les grands proces politiques. - G.Babeuf et la conjuration des Egaux par *Ph.Buonarroti*, 1869, p.53 note.
- 86 *Buonarroti*, op.cit, t.I, p.157-8.
- 87 *Ibid*, t.I. p.157-8,
- 88 *Ibid.*, p.133.
- 89 *A.Mathiez*. Le Directoire; *Revue des cours et conferences*. 1929, № 11, p.206.
- 90 *A.Lichtenberger*, op.cit., p.141 note.
- 91 *Le Tribun du peuple*, № 35, p.84.
- 92 *Buonarroti*, op.cit, t.I, p.86.
- 93 Manifeste des Egaux; *ibid* . t.II, p.132-3.
- 94 *Le Tribun du peuple*, № 35, p.42.
- 95 *Buonarroti*, op.cit.. t.I, p.309-10.
- 96 *Ibid*, p.40; cp. *A.Mathiez*. Le Directoire. - *Revue des cours et conferences*, 1929, № 11, p.207, № 13 p.454-5.
- 97 Ср. *Buonarroti*, op.cit., t.I, pp.263-70.
- 98 *Ibid.*, p.267.
- 99 *Ibid.*, p.269-70.
- 100 Fragment d'un projet de decret economique; *ibid.*, t.II, p.305-6.
- 101 *В.П.Волгин*, Идейное наследие бабувизма; *Вестник Соц. академии*, 1922, № 1, с.77.

102 Fragment d'un projet de decret economique; *Buonarroti*, op.cit., t.II pp.306, 307, 311.

103 Ibid., t.I. p.311.

104 Ibid., p.303.

105 Ibid., t.II, p. 3-7.

106 Ibid., t.I, p.310-11.

107 Fragment d'un projet de decret de police; *ibid.*, t.II. pp.301-3.

108 Ibid., p.318.

109 Ibid., p.304, 285-6.

110 Ibid., p.302.

111 Ibid., p.302.

112 Ibid., p.307.

113 Ibid, t.I, p.312.

114 Ibid., t.I, p.115; t II, p.133.

115 Ibid., t.II. p.309.

116 Ibid., pp.307. 308,311, 313.

117 Ibid., p.307.

118 Ibid., p.308, 313-16.

119 *A.Mathiez*, Le Directoire, Revue des cours et conferences, 1929, № 13, pp.459, 461.

120 *L.Stein*, Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich, 1921, Bd.I, S.305.